

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А  
Ш Е С Т А Я  
И Ю Н Ъ

---

М О С К В А  
4 . 9 . 3 . 1



## СОДЕРЖАНИЕ:

	<i>Стр.</i>
1. М. ЗЕНКЕВИЧ. — Машинная страда, части поэмы . . . . .	5
2. Леонид ЗАВАДОВСКИЙ. — Мамка, рассказ . . . . .	9
3. Александр ЯКОВЛЕВ. — Повороты, главы из 2-й части романа . . . . .	22
4. Ник. ТАРУССКИЙ. — Два стихотворения . . . . .	38
5. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. — Рассказы о походе «Седова» . . . . .	39
6. Алексей ТОЛСТОЙ. — Черное золото, роман, продолжение . . . . .	53
7. С. ЛЕВМАН. — Три рассказа . . . . .	66
8. Вера ИНБЕР. — Два стихотворения . . . . .	80
9. Н. А. ВАЛЬДЕН. — В польском плену, записки, окончание . . . . .	82

### ЛЮДИ И ФАКТЫ:

10. Альберт Рис ВИЛЬЯМС. — Из наблюдений иностранца . . . . .	93
11. Глеб ГЛИНКА. — Преобразователи жизни . . . . .	103
12. Н. ИЗГОЕВ. — На озере Ханка . . . . .	112
13. В. КОЗИН. — Деталь совхоза . . . . .	121
14. АДАЛИС. — Записки о казакских колхозах . . . . .	134

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

15. Вяч. ПОЛОНСКИЙ — Проблемы марксистского литературоведения. Сознание и творчество. Статья вторая . . . . .	140
16. Д. БЛАГОЙ. — Социология творчества Тютчева . . . . .	162
17. Э. МУР. — Пацифисты . . . . .	174

### НАУКА И ТЕХНИКА:

18. Г. ЛОМОВ. — О генплане элетрификации . . . . .	180
--	-----

## **ЗА РУБЕЖОМ:**

19. С. ГАЛЬПЕРИН. — Английский тупик . . . . . 188  
20. ИБРАГИМ. — Астро-германское соглашение и Европа . . . . . 197

## **КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:**

- И. ПОСТУПАЛЬСКИЙ. — Геннадий Фиш «Дело за мной» . . . . . 205  
Т. НИКОЛАЕВА. — Лев Остроумов «Фабрика разговоров» . . . . . 206  
Борис АНИБАЛ. — Д. Оськин «Записки прапорщика» . . . . . 206  
Д. ФИБИХ. — Вл. Лидин «Путина» . . . . . 207  
А. СМИРНОВ-КУТАЧЕСКИЙ. — П. А. Ойунский «Красный шаман» . . . 207  
Н. ПРЯНИШНИКОВ. — В. Г. Короленко «Письма к П. С. Ивановской». 208
-

# Машинная страда

Части поэмы

МИХ. ЗЕНКЕВИЧ

## НА ЗАПРАВКЕ

Тракторный табор,  
 черный стан.  
 В ряд построен  
 за танком танк.  
 А поодаль,  
 стройны и плавны,  
 Ждут однокрылые  
 аэропланы.  
 Для них огневая  
 завеса зари  
 Наступенье откроет  
 только в три.  
 Тоже и за чугунной скотиной  
 Нужен уход. Не работает даром.  
 Задавай ей корм —  
 лигроин с солидолом,  
 Чтоб отхватывала  
 гектар за гектаром,  
 Десятину за десятиной.  
 Свежей воды подлить в радиатор.  
 Вместо овса —  
 в бак горючего.  
 И машина, работе рада,  
 Знай себе гусеницы накручивает...  
 Тут не только нашему брату,  
 Тоже и им нелегко достается...  
 «Катерпиллер» —  
 по-нашему «катер».  
 «Итер» значит «Интернационал»...  
 Все вытер,  
 прошприцевал,  
 Машина теперь  
 стоит и смеется!

## КОЛОННА КОМБАЙНОВ

Мотор за мотором,  
 взрываясь, ревет.  
 Что это — целая эскадрилья  
 Рвет и мечет,  
 мечет и рвет,

Волоча по пшенице  
 подбитые крылья?  
 За аэропланом  
 аэроплан  
 Бежит чудовищной трясогузкой,  
 Силясь стряхнуть  
 тяготенья плен  
 С его приземливающей нагрузкой.  
 Вея мякинные дымки,  
 Попыхивая выхлопной трубою,  
 Дредноуты жатвенные  
 (легки  
 С зарей на помине)  
 готовятся к бою.  
 Восемь вымпелов грозы  
 Уборочной,  
 построясь в кильватер,  
 Зарываются в пшеничную зыбь,  
 Охлестываясь волной желтоватой.  
 Затопал, заржал, заголосил  
 Целый табун лошадиных сил  
 В цилиндровой упряжке рабочей.  
 С прохладцей по холодку налегке,  
 Нагнетая камеры предсердий,  
 Катерпиллер «Thirty»  
 Буксирует комбайн на крюке.  
 Тракторист, не дремли, ворочай  
 Неповоротливым тяжким увальнем!  
 Штурвальный,  
 Выше хедер держи!  
 Попортишь ножи...  
 Пшеница усатый колос склонила,  
 Бойтся осыпаться: пора.  
 Сама подминается под мотовило,  
 Лезет в режущий аппарат.  
 Зерночерпалка! Вот так конвейер!  
 Молотилка и жнейка, — подобно  
 Сразу и жнет, и молотит, и веет,  
 И в бак наверху ссыпает зерно!  
 Промывка пластов соломенных. Точно

Гектары в центнеры переводя,  
 Из сортировки трубой зерносточной  
 Бьет золотая струя дождя.  
 И силится поскорее сравняться  
 Уровнем с чертой показной  
 С верхней предельной цифрой — 18.  
 Засыпать бак полевой казной.

## ЗАПРАВЩИК МАРЫН

Клонит ко сну. Огневые мошки  
 Толкутся в глазах, — не протолочь!  
 С кем прогулял, проиграл на гар-  
 мошке

В степи непутевую лунную ночь?  
 Убаюкивает тракторный гул,  
 Кисеёй нависает синее марево...  
 В куче мешков у зерна прикурнул  
 Заправщик Марын.

Как будто ночует,  
 прикрылся мешком.

Уснул и не чувствует  
 катящийся гром.

Не слышит, как в ухо  
 вливаться стал,

Вспышками уха,  
 гулкий металл.

В первозданной дикости,  
 как носорог.

Катерпиллер «Sixty»  
 прет без дорог.

Плиты разинув,  
 стальной тропой

Ползет за бензином  
 на водопой.

Танком, припертым  
 к окопу, повис,

Словно над мертвым...  
 Остановись!

Руками машет,  
 кричит киргиз.

Тракторист не слышит,  
 не смотрит вниз.

Как щебень и мусор,  
 как гравий, песок,

Трамбует и мясо,  
 и кости каток.

Не дал переехать,  
 дернул рычаг, —

Катерпиллер нехотя  
 отвалил, рыча...

\*\*\*

Сегодня будни,  
 чать, не выходной..

Разлегся полудничать...  
 гулял с одной...

Эх, саратовскую  
 гармонист

Лихо отхватывал...  
 Угомонись!

Надежда: «Я сплю еще»  
 в зрачках живет...

Бедро расплющено,  
 вдавлен живот.

Судорожно пальцы  
 мешки теребят...

До смерти заспался...  
 Скликай ребят!

Грузовик порожний  
 с поля зови...

Подымай осторожней...  
 Руки — в крови...

Стонет: «Предайте  
 смерти скорей...»

Кровь, как вода,  
 изо рта, из ушей...

«Думал об'еду,  
 поворочу...»

Время к обеду...  
 Гони к врачу...

Врачиха в больницу  
 к себе не берет.

Подала напиток,  
 влила что-то в рот.

Везите в город  
 в приемный покой...

Четвертая скорость...  
 Везти далеко...

\*\*\*

Морфий иль опий —  
 забвенья тебе,

И стон не торопит  
 пыльный бег.

Боль тупая,  
 и, распалась,

В ширь расступаясь,  
 летят поля.

Снится... Что снится?  
 Под тракторный гул

У моря пшеницы  
 на зное заснул.

Быть может, на пляже  
 зернистом уснешь

Так крепко, что ляжешь  
 без стона под нож...

Полдень гнетущий  
 дымясь горячо,

Двигается тучей  
на Пугачев.  
Колес с бесконечной  
цепи не отнять.  
Моторных кузнечиков  
трещит стрекотня.  
Кровянится в мареве  
флажок, полощась...  
Заправщик Марьин,  
прощай! Прощай!

## ВОЛЧИХА ВОЕТ НА ЛУНУ.

Здесь даже полночь не тиха.  
Здесь не бывает тихо.  
Бензинный дым не прочихать.  
Ощерилась волчиха...

В зерносовхозе на крыльце  
Директорском собакой  
Цепной лежать и дергать цепь,  
Чтоб измывался всякий...

Волчиха морду подняла,  
А в небе высокó  
Блестит луна, кругла, бела —  
Обглоданная кость.

Железом громыкает цепь.  
Луна почти что на щипце...  
Волчиха воет на луну:  
Уу...  
Уу...  
Уу...

Нет не уснуть. И сон прошел.  
Ах, это волчье соло!  
Луна, серебряный мосол,  
Скорей бы что ли села!

Вот спавший вместе со щенком  
И к детям прирученный,  
От горла отрыгнувши ком,  
Стал подвывать волченочек.

Не волчье соло, а дуэт.  
Как воет сволчиха!  
На первый голос тон дает  
И учит выть волчиха.  
Вдвоем завывли на луну:  
Уу...  
Уу...  
Уу...

Иль в самом деле ей луну  
Так хочется сглонуть?

А, может, волчья есть тоска  
Такая ж,  
как  
людская?

Такая же, как у тебя,  
А ночью ласка чья-то  
Чтобы, сосцами теребя,  
Зарылись в шерсть волчата,  
Чтоб, заметаясь, ковыли  
Ее на волю увели,  
И чтобы от версты к версте  
Пшеничная бежала степь...

Чтоб я стихами на луну  
Ей подвывал:  
Уу...  
Уу...

## КАТЕРПИЛЛЕР № 8

Что ж, коль не уснуть никак  
В саманной мазанке, коль велят  
Отозваться, шальным стихом шала,—  
Чутьем остроноженного косяка  
Вдыхай прогорклый дымок кизяка,  
Шляйся по шляхам,  
По ковылю ковыляй...  
Американка, воском натерта,  
К луне протягивается грот-мачтой,  
А сбоку выбленки от тракторов.  
Не бойся сорваться. Какого чорта,  
Коль от стихов не совсем здоров,  
Вскарабкайся на луну, помечтай!

До луны не добраться: далековато.  
А на станцию можно, на эlevator...

Смотри, как ломится в степь напролом,  
Вырубая выбленки, катерпиллер.  
Ревет от натуги. Ему прицепили  
Платформ с излишком. И поделом!

Стальными шпорами гусениц цепок,  
Тащит, чтоб сдать в эlevator сполна,  
Целый поезд, девять прицепок —  
Девятьсот пудов зерна.

Знай себе прет напрямик упрямо,  
Об убийстве утреннем ни гу-гу,  
Sixty № 8, тот самый,  
Приплюснувший Марьина душегуб.

Впрочем разве он так уж виновен?  
Плиты натерты землей добела.  
Не распознаешь запекшейся крови,  
Не найдешь и пятнышка, где была.

Платформы проплыли...

И вот издалека  
Доносится, так странно знаком,  
Скрежещущей трелью вольный клекот  
Лебедей по-над Волгой осенним день-  
ком.

Им зачарованный, слушай и стой,  
Не зная — к песне какой обяжет  
Перелетом пшеницы золотой  
Катерпиллера скрежет лебяжий!

### С ЗЕРНОМ ГАЗУЕТ НОЧЬЮ

Шофер попался озорной.  
Газует как... Газуй!  
Лежу в пшенице и грызу  
Янтарное зерно.

И ночь, как будто бы в Крыму.  
Как будто у Байдар  
Летим мы в голубом дыму  
Куда-то вниз... Куда?

Американка — точно трэк.  
А чернозем — гудрон.  
«Полегче заноси... Смотри:  
Канавы с двух сторон!»

И батареей световой  
Навстречу грузовик  
Мигает, и тревожный вой  
Взывает: отзовись!

И колесо об колесо  
(Замедлив ход, свет притушив)  
Разминулись, на волосок  
От смерти... Снова ни души...

«В конторе вывешен приказ.  
Ты не слыхал про то,  
Чтоб тридцать километров в час  
Не превышал никто?»

«Ты думаешь, я пьян? Ни-ни.  
Нет, ни в одном глазу.  
Пусть оштрафуют, — знай, гони!  
Уволят пусть, — газуй!»

Зазнался мистер чересчур.  
Расхвастался, хамит...  
Ну и газует ловко чорт  
Американец Смит!

Ну, да и мне очка не дашь.  
Могу держать пари.  
С пятнадцатого года стаж,  
Что там ни говори.

Прошли лишь годы, не века...  
Как сон все... ночь... вокзал...  
Ведь с моего броневика  
Сам Ленин речь держал...

Зерно бы только с поля сдать.  
Устроим гонки здесь.  
Посмотрим, мистер, чья езда  
Утрет нос чьей езде!..»

Газуй, шофер, во всю газуй!  
(Под'ем крутой берем легко)  
Конвейер ваш таков:  
Ремнем дорога мчит вниз  
С пшеницей полный ковш!

И как разбитый клавишин,  
Откуда ни возмись  
(Скорее мимо пронеси!)  
Бьет клавишами мост.

Луна, как длинный линь в тазу,  
Плескается в пруду...  
Газуй, шофер, во всю газуй!  
И полным ходом дуй!

Как в Иллинойсе месяц желт.  
Сейчас он грузно спит,  
Инструктор по комбайнам Холт  
Американец Смит.

Ему про гонки невдомек,  
И вот часам к пяти  
На радиаторе чаек  
Ему мы вскипятим!

...Зерна завалы — как карьер.  
Сребрай лопатами с досок.  
И при луне, как гравий, сер  
Пшеничный золотой песок.  
И слез шофер с грузовика.  
«Закурим что-ль. Езда на ять.  
Что скажешь? (подмигнул). Ну, как?  
Догнать и перегнать...»



# Мамка

Рассказ

ЛЕОНИД ЗАВАДОВСКИЙ

1

Дни стояли такие жаркие и горячие, что странно было видеть листву зеленой, казалось — она должна бы сыпаться с деревьев, свернутая в трубку. Пекло солнце, поджаривала плита, в воздухе волновалось знойное марево и раздавалось шипение. Раскрасневшаяся Поля в самый полдень прибрала перед зеркальцем, висящим в бараке над семейной кроватью, растрепавшиеся стриженные волосы, не замедляя проворных движений, в последний раз блестящими глазами окинула стол, сделала последние поправки, чтобы он выглядел опрятнее и красивее, и, схватив палку, ударила в разбитый котел, подвешенный к лиственнице. По узкой долине пронесся старческий кашель, над которым смеялись, но слушали который с удовольствием.

— Старичок Пахомыч зовет, бросай, ребята, — засуетились на бурах и в шурфах, спрыгивая с площадок, карабкаясь из ям, и спешили к ручью или к ведрам вымыть руки и освежить лицо.

Все население разведочной партии жило на базе, хотя один бур продвинулся уже довольно далеко по ключу. Пока что могла готовить обед и ужин для всех Поля, не было необходимости разбиваться на группы и выделять особых людей длястряпни. Да и не хотелось уходить от базы. Все двадцать пять человек, не признаваясь, а может быть, и не сознавая сами того, привыкли к молодой, всегда приедетой, бойкой мамке, жене завхоза. Приходили, как домой, садились за стол, покрытый бе-

лой клеенкой без единого пятнышка, на котором играла бликами никелевая посуда, и получали вкусный обед и ужин, приправленный ласковым вниманием.

Обедали под навесом. Хребты, будто покрытые зеленым каракулем, до половины обрезывались брезентом, натянутым на колья. Знойного спящего неба не было видно, — глаза отдыхали. Загорелые лица с вылинявшими и подпаленными бородами становились мягче за столом от тени, а может быть, и от чего другого, о чем не говорили из уважения к широкому и грузному завхозу, похожему на отца большого семейства. Облитая солнцем, взволнованная Поля — не шутка накормить такую артель — сидящим в прохладной тени казалась усыпанной золотым песком, хотя всего-то-навсего на ней были серьги и два кольца на пальце. Горькая мисок мгновенно таяла в ее руках. Уже бежит с судками, наполненными манной кашей и, исчезнув, появляется с горкой блюдца для сахарного песка.

— Ну и мамка. На крестинах так не угощают!

— На крестинах! А где же это мой Алешка?

Поля привалилась упругим плечом к стойке под брезентом и раскрыла губы, чтобы закричать, но парень, которого все звали Мишкой, дернул ее за рукав.

— Не трудись. Он с Варыпаевым, сейчас придут.

Издали донесся детский голосок. Поля обратилась к мужу:

— Ты бы сказал ему. Что это в самом деле. Товарища себе нашел. Тас-

кает мальчишку в такую жару!

— Сказать, отчего не сказать, только Алешка такую «октябрьскую» поднимет, не рад будешь...

Мать поставила возле прибора отца мисочку сына и вся раскраснелась навстречу мальчугану, выехавшему из-под деревьев верхом на палке. Жадно поцеловала потный с прилипшими волосами лоб и заботливо вытерла полотенцем. Как зверок, Алешка шнырял глазами от миски на своего коня и вдруг ввалил его на стол. Завхоз убрал палку и, поглаживая ее, сказал, что лошади надо отдохнуть. Мальчуган скроил было рожицу, но передумал.

— Пусть тоже покушает. На травку положи, — приказал он, — вон туда.

Раздался дружный смех.

— Верно, Алеша, если ездил, надо покормить!

Мать не спускала с сына блестящего взгляда. В глазах ее была радость, повторяющаяся каждую минуту четыре года под ряд, не остывающая, словно огонь, вспыхнувший в тоннеле, питаемый горой.

— На крестинах! — воскликнула она. — Вы спросите у людей, какие были крестины с октябринами. Весь Незаметный знает. Недельную достачу за три дня усадили. Мы старались тогда на Верхнем. Достача, сами, небось, слышали, какая была: фунтили каждый день. В три дня усадили. Ведь он, мошенник, у нас первый.

Поля стиснула зубы и с понятной только матерям жадностью, захватив щеку мальчишки, сдавила как резиновый раскрашенный мяч.

— Бывало, в двадцать четвертом сидишь в бараке или в палатке — ни души кругом. Тоска загрызет...

Она принимается наполовину вспоминать, наполовину рассказывать известную всем на базе историю своего одиночества в тайге, еще не покоренной человеком. Лишь немногие уголки звучали человеческими голосами. Ни дорог, ни троп не было от крошечных оазисов друг к другу. Неистовые пурги выли по неделе, как медведи на падали. Деревья, словно в белое половодье, стояли погруженные до половины, хоть плыви. Любила подробно рассказывать о том времени, потому что оно минова-

ло навсегда, потому что, вспоминая, чувствовала себя еще счастливей. Узенькая тропочка вьется к шурфану, а дальше — нетронутый белый саван, под которым лежит жуткий мертвец: мерзлая тайга с переломанными ребрами навальника и камня. Хотелось услышать голос ребенка, казалось, с ума можно сойти или пуститься во все тяжкие со всей артелью сразу. Особенно выделяла она место, как однажды старший рабочий прибежал в барак и, схватив винтовку, убежал в тайгу. Явился — в поводу олень, на олене — мальчуган-ороченок. «Думал, дикий наследил, мерзну, жду за деревом, глядь — важный гражданин советский едет. Принимай, мамка, гостя». Будто потолки поднялись выше, а в окошко вместо ситца вставилось стекло. Орочонок сидел на лавке, сверкал черными глазами и разглядывал каждую вещичку. Ел сахар, компот, забавно прятал в рукавичку белые сухари. Ему было жарко, из-под треугола лился пот, но он терпел, пока не наелся и не нагладился. И никакие угощения больше не могли удержать его. Вскочил, сам открыл дверь, забрался на оленя, звонко крикнул и скрылся, как во сне. Со слезами рассталась она с таежной находкой.

— Лучше бы не приводил, — сказала Поля и вздохнула.

— А по-моему, было бы хуже... — улыбнулся завхоз.

Все на базе знали, что старший рабочий, приводивший ороchonка в гости к мамке, сделался ее мужем, и они вместе нажили Алешку. Рябой бурмастер отложил ложку и вытер рот.

— Не тужи, мамка, он и этот у тебя на тунгусенка похож. Мазтью только не вышел, а по тайге ходит — так же ноги поднимает.

Мать подложила сыну каши. Вдруг лицо ее изменилось, точно она свернула сильную пружину материнского чувства. Пожилой уже инженер в первый раз заметил такую перемену в мамке при появлении чернорабочего Варыпаева, всегда запаздывающего к столу. Дернул плечом, вытер рот платком и потянул себя за правый ус. Нелепо было представить чистую и аккуратную Полю рядом с отёрханным, мрачным беспризорником, но что-то глубоко скрытое от глаз просвечивало в их отношениях.

Гмыкнул и снова потянул ус. Несмотря на правило уходить после обеда сейчас же в палатку, он остался за столом и внимательно приглядывался к лицам Поли и Варыпаева. Варыпаев ел торопливо, неряшливо, пачкал усы и бороду, но с вилкой и ножом обращался умело, чего нет даже у квалифицированного рабочего. Мамка подавала ему торопливо и, казалось, избегала взглянуть на оборванца.

С обедом Варыпаев покончил по обыкновению быстро и поднялся. Ему глядели вслед. Узкая спина в грязной защитной рубашке, от широченных рваных ватных штанов зад казался слишком толстым, бабьим. Мотня висела чуть не до колен. Из тряпья сверкало голое тело. Ни в одной паре глаз не мелькнуло сочувствия к странному человеку, появившемуся на базе в первые еще дни постройки барака, когда здесь работали только три плотника.

— Какой-то не нашего бога, — сказал бурмастер, соннув трубкой. — Как глубокая скважина, — не возьмешь правильной пробы.

— Как ящик в глухую заделан, — добавил плотник.

Завхоз взял из рук жены полотенце и, сияя добродушными щеками, пошутил:

— В тайге всех богов перемешали. Может быть, он фокусы ходил показывал нам дуракам, а тут ж Мишке в подручные попал. Будешь сердитым.

## 2

Низенький барак, срубленный на скорую руку из неошкуренного леса, и такие же два склада были похожи на камни, скатившиеся с гольцов, опоясывающих сопки суровыми веригами. В беспорядке нагромодившиеся хребты напоминали неведомых первобытных чудовищ, погибших когда-то и так и окаменевших. До последней минуты непримиримо щетинились горбатые спины и скалились темные от времени бивни...

Поля уложила раскапризничавшегося Алешку, накрыла тюлевой сеткой от вездесущих комаров и, напевая вполголоса, принялась раскатывать на столе тесто для пирожков. Засученные до локтей круглые руки тискали и шлепали,

играя крепкими мускулами и переливами света на загорелой коже с золотистым пушком. Отрывалась на мгновение, чтобы кинуть взгляд в топку под плитой, и снова раскатывала, подсыпая муки. Она не замечала суровости пейзажа, окружающего ее много уже лет, но часто, оставшись одна, как сейчас, при виде взволнованной цепи беспредельных гольцов и хребтов, мутной зелени тайги и неяркого неба испытывала состояние, которое можно назвать гордостью. Разве след ее ботинок и черков из года в год, шесть лет под ряд, не был первым следом и на Томмоте, и на Ортосале, и на Селигдаре, и на Куронахе! Она как бы со стороны видела свою красную козынку, ярким, живым огнем вспыхивающую то там, то здесь в каменной пустыне. Поэтому и труд свой считала значительным, хотя всего-навсего была мамкой, поэтому и мускулы под кожей на руках играли весело и бойко. От этого светились синие глаза под выбившимися льняными волосами. И беззаботная песенка была от уверенности, что свое-то дело она сделает как надо и во-время.

Она внезапно смолкла. С усердием тискала и скручивала в жгут тесто. Из-за барака со штангой в руке вышел Варыпаев. Внимательно рассматривала оттиски пальцев на муке и делала новые. Этот нищий по внешности чернорабочий вызывал в ней сострадание неуменем залатать себе штаны, неловкостью в работе, и лишь недавно она заметила его черные, напряженные глаза. В глаза его не хотелось заглядывать, как не хочется глядеть в глубокий колодезь с неподвижной черной водой. Заметила и его умышленные, неурочные приходы с работ к бараку.

— Ты что, пришел помочь катать тесто? Послала небось за делом, а он путается возле бабы!

На нее глядели глубокие глаза с непонятным и настойчивым вниманием.

— Отваливай-ка, молодчик!

Сжался, точно ее грубость осквернила чистые мысли. Пожал плечами и повернулся, чтобы уйти, но из барака выбежал Алешка.

— Дядя Варыпаев, я сейчас проснусь и пойду с тобой!

Рубашонка вспыхнула на солнце. На бегу продолвал ручонки в рукава. Мать

попыталась поймать его, но он ускользнул от ее рук, как вьюн.

— Алешенька, ведь скоро звонить будем на обед.

Варыпаев стоял и ждал. Хотела грубо запретить сыну итти с ним, но неожиданная жалость к оборванцу сжала сердце.

— Ну, беги, только к обеду чтоб был здесь!

Алешка нырнул в тень под лиственницы, по белой рубашонке заструились узоры и оранжевые солнечные пятна. Тропа извивалась, делала повороты от павшего дерева, закутанного серебристым мохом, как огромная куколка, от камня, испестренного мозаикой цветных лишайников или от чащобы, в которую, кажется, и ладонь мальчугана просунуть. Дядя уже объяснял мальчугану, отчего больны деревья в почве с вечной мерзлотой, отчего получают шишки, похожие на зобы, но многое еще было непонятно-го в тайге.

— А для чего деревья растут? — спросил Алешка, хитро сузив глаза. Не получив удовлетворительного ответа, торжественно заявил: — А я знаю. Для домиков.

— Ну, это положим. Не только для домиков.

— А камни для чего растут?

— Камни не растут. Они были большие, большие, а дождь и ветер грызут их и грызут. Они делаются меньше.

— Нет, растут. Есть маленькие, а есть и большие.

Долговязый человек вдруг схватил на руки мальчика, прижал к груди, жадно глядел в лицо и спрашивал:

— А ты вот скажи, почему глаза у тебя такие же, как у матери? Вот ты что мне скажи?

Алешка пыхтел, топорщился, упирался локотками в бороду. Спустил его с рук и медленно шел следом, чему-то улыбаясь одними усами. Глаза не отрывались от белых волнистых волос ребенка, закрученных на затылке вихром, таким же, как у матери. Из-под волос выглядывали розовые мочки ушей. Казалось — в них поблескивают золотые сережки... Досадливо пожал плечами, обогнал Алешку и зашагал впереди. Через несколько минут раздалась жалоба:

— Дядя Варыпаев, я устал!..

Бросил штангу и, сидя на мху, недружелюбно скосил глаза на сторону. Мальчуган притих, сидел в сторонке, украдкой поглядывая на сердитого дядю.

— Никогда с тобой не пойду, ты злойчий какой!..

Длинная, худая рука притянула Алешку, черные обломанные ногти прятались в мягких золотистых волосах, гладили ласково, долго.

— Это мама тебе сказала, что я злой, или ты сам выдумал?

Мальчик наморщил лоб: сознаться, что выдумал сам, было страшно, он предпочел свалить на отсутствующую мать.

— Мама сказала!..

Варыпаев вскочил на колени.

— Нет, она не знает. Ничего она не знает, твоя мама!

Борода вздрагивала, лохмотья шевелились. Вдруг подпер подбородок так, что борода выставилась вперед, напоминающая веник, и уставился, не мигая, на руки Алешки, выдергивающие мшинки.

— Что за подлая штука!.. — пробормотал он. Показалось, что жизнь, как эти мшинки, растрепана и раздергана чьей-то бестолковой и жестокой рукой. — Что за подлая штука!..

Маршевая рота, бегство от немецкой артиллерии, большевики... Белая колчакская армия. Снова бегство. У Пепеляева — полковник игрушечного полка в двести штыков... Накануне похода в Якутию бежал с денщиком, уральским казаком, бросив отряд на произвол красных партизан. По очереди грелись одним полушубком и одной парой валенок. Мороз догрызался до костей. Казаку хотелось увидеть семью, но и он ведь не из трусости бежал от похода. Казак не хотел снимать полушубка, но винтовка, тоже единственная на двоих, оказалась не в его руках. Разделся и брел по сугробам со слезой на рябой щеке, пока не отстал!..

— Дело не в этом!.. — вслух произнес оборванец. — Все равно!..

Дело было в том, что та, для которой опозорил имя, уже не жила в Хабаровске. Год назад уехала с эшелонем красных. Не удалось узнать, куда уехала, с кем. Началась бесцельная бродяжья жизнь. Как волк, боялся встречи с людьми. С опиумом дошел до Тырканды

вслед за хунхузами. Вновь приближался к городам, опускал письма в почтовые ящики, умолял откликнуться. Казалось ему, любой ценой должен вернуть ее, как однажды сопку, на которой развевался красный флажок. Не было смысла ни стратегического, ни политического возиться с ней, но не мог спокойно видеть клочок кумача, казалось, он разрастается в огромное полотнище. Половина отряда легла на крутых склонах, но флажок перестал развеиваться... В потере невесты виделась гибель всей прежней жизни. Потеря разрасталась в огромное несчастье, в манию преследования...

— Она не знает, Алеша!.. — пробормотал Варыпаев.

Под скулами двигались мускулы и шевелили бороду.

— Давай играть, — сказал Алешка, которому показалось, будто дядя улыбается.

— Отстань!..

Тайга, накаленная зноем, дышала густыми ароматами гниющих деревьев, увядшими мхами, прелью хвои и особенным запахом, какой издают камни, прокаленные солнцем. Варыпаев воспаленными глазами смотрел на Алешку, увлеченного новым делом: собиранием разноцветных мхов.

— Давай, Алеша, настоящих цветов соберем. Ты их отнесешь маме. Скажешь, — мы вместе с тобой набирали. Мама ведь любит меня?

— Нет, не любит. Она не велит ходить с тобой на бур.

— Что ты врешь. А кто же отпустил тебя сейчас. Она или не она?

— Папа тебя любит, а мама нет, — упрямо высказал свое убеждение Алешка.

— Какой ведь упрямый, дрянной мальчишка, — сверкнул глазами оборванец. — Ну, вставай живо, пойдём!

Приятель молча двинулся по тропе. Скоро послышался однообразный стук ручного бура, а через несколько минут завиднелся буровой треножник. Рабочие, стоя под треножником, то опускали руки, то поднимали. Алешке представлялось — они целыми днями играют в интересную игру. Он взвизгнул и со всех ног побежал вперед.

## 3

Поля работала в тени барака, часто отрывалась и плескала на лицо из ведра прохладную воду. Необыкновенной духотой объясняла и слабость, и тоску, охватившие ее с раннего утра. «Хоть бы дождь пошел что ли» — думала она и нехотя отжимала коренья, вынимая из кастрюли. В голбву лезли воспоминания, тревожно постукивало сердце. Она никогда не жаловалась на жизнь, смотрела на нее, как на нечто слишком огромное, чтобы осмелиться негодовать и объяснить себе ее. Пропал жених на фронте — не вернешь. Полюбила другого, совсем не похожего на первого, коммуниста. Пила его мысли, новые и, кажется, совсем нечужие и необыкновенно хорошие, но недолго. Оставил любимый муж... Что можно сделать? Лишь осталось горькое недоумение: разве по своей воле выбирала она себе родителей. Да, скрывала свое происхождение, но не потому, что считала себя преступницей, а единственно из боязни потерять его. И потеряла... Брошенная в чужом городе, продала любимые безделушки, к которым питала слабость: браслетки, сережки, ожерелья, проела и принялась за работу. Стирала, мыла полы, бегала курьером, устроилась кухаркой. Бабушка из Благовещенска предложила отправиться вместе на Алдан. Незнакомую даже по книгам жизнь, трудности, жадных до женского тела приискателей поняла и приняла, как жизнь, а не несчастье. Привыкла к подмаргиваниям, свидания под елями на берегах шумливых речек были тоже жизнью, а не приключениями. Это потом появилось сознание своего маленького места в сложной жизни, а тогда прости нравились таежные люди, здоровые, сильные, отборные, просеянные, как зерно для сева в каменистый суровый грунт. Тусклее и туманнее становилась начатая в Хабаровске игрушечная жизнь с папой и мамой. Первое увлечение — поручика Чермезова — почти не вспоминала. Остался в памяти высокий молодой человек с желтыми ремнями через оба плеча и вокруг тонкой талии. Помнится, очень хотела спросить, для чего такая упряжь. И поскрипывали все эти ремни, когда идешь с ним, словно едешь в новом седле...

Даже имя этого поручика иногда не могла припомнить...

И вот в этой последней разведке почему-то чаще и чаще вспоминалось бледное лицо с черными усиками, подстриженными квадратиками, и черные глаза.

— На кой шут он мне сдался, — подумала она. — Что он привязался ко мне. Удивительно!

Руки ее двигались медленно, глаза задумчиво глядели на кастрюлю. Схватилась и проворно принялась разводить плиту: часы показывали девять. Запоздать или сделать наспех для людей, работающих с раннего утра, — с ней этого не бывало.

Появление Варыпаева испугало ее. Взволнованная, с бьющимся сердцем, она в первый раз подумала, как удивительно похожи глаза оборванца на глаза... и вдруг вспомнила: Владиславом звали поручика. Недомоганье и тревога связались в узел с черными пытливыми глазами, преследующими ее.

— Опять привалил...

Варыпаев молча любовался Полей. Она еще ни разу не надевала так идущее к белокурым волосам и голубым глазам красное, как спелая рябина, ожерелье. Поля подняла голову, стараясь не видеть черных глаз. Ей становилось холодно. Чтобы избавиться от непонятного страха, она грубо крикнула:

— Что ты караулишь меня, как лисица куропатку. Я на собрании заявлю!

— Разве я тебя трогаю, Поля?

— У бабы ребенок сосунок почти, а он лезет. Если вы все так полезете, каменную печку и ту разворотите! — еще развязней отпала она, хотя чувствовала, что он не так совсем лезет, как лезут обычно к бабе.

Варыпаев стоял и глядел. Голова кружилась от нелепости. С радостью усомнился бы: не она — эта мамка с засученными рукавами возле плиты, но с очевидностью спорить было невозможно. Вместе с радостью от такой невероятной встречи изо дня в день два месяца в сердце накупала злоба на нее за то, что нашла себе воздух и пищу в жизни, раздавившей его. Давал себе слово уйти с разведки, молчать, похоронить все надежды, но, видимо, напрасно.

— Иди, Варыпаев, от греха!

Не слышал крика. Тяжело дышал и

медленно, точно через силу, приблизился на шаг.

— Поля... — глухо сказал он.

— Поля — тридцать лет. Отваливай, пока цел!

Может быть, совладал бы с собой, но, боясь снова услышать непереносимую грубую брань, торопливо, дрожащими руками прикрыл бороду и усы.

— Поля, видишь, какой я стал...

Сопки покачнулись и поползли в сторону. Поля схватилась за грудь, лицо начало быстро белеть, будто в ее теле открылась рана, через которую хлынула ручьем кровь. Вот так же однажды снежный ураган ворвался в палатку и, сорвав с прикольева, унес в падь. Убранные постели и столики, с приготовленным ужином, остались под воющим небом жалкие, ненужные. Ясно представилось: узнает муж, отнимет ребенка — и снова одна в белой пустыне, как тогда, в двадцать четвертом.

Поля жадно схватила подвернувшегося Алешку и прижала к себе, ища спасения от надвинувшегося несчастья. Заметив скривившийся рот Варыпаева, с отчаяньем прошептала:

— Если бы не этот ребенок, Варыпаев!

— Я вижу, ты прячешься от меня в окопы. И не Вырыпаев, а Чермезов, Поля. Тебе неприятно называть меня настоящим именем?

Он вдруг махнул рукой, повернулся и медленно пошел прочь, протянув вперед руку, как слепой. Глаза часто моргали. По серой с рыжими клочьями бороде ползли слезы.

## 4

— Я тебе что сказала. Вернись сию минуту!

Алешка отступал от матери к Варыпаеву, от крика сморщил лоб и готов был зареветь от обиды. Поля видела упрямый и настойчивый взгляд черных глаз. Было возмутительно, что орудием борьбы этот человек избрал невинного ребенка. Чего он хочет? Измучить наверное хочет, отомстить за то, что жила своею жизнью, нашла себе близких среди людей, которых он считает врагами.

Алешка заплакал.

— Я хочу с дядей купаться на ключ! — И бросился к Варыпаеву. Тот

поднял его на руки и пошел, не оглядываясь, по тропинке. Поглаживал вздрагивающую спину мальчугана и бормотал:

— Замолчи. Сейчас я тебя плавать научу. Замолчи. Хочешь плавать? Нырять с головой, как утка. Хочешь?

Алешка притих, заболтал ногами и уперся локтями в бороду.

— Пусти, я сам пойду.

Равнодушный к наивным заговариваниям, Варыпаев задумчиво брел позади маленького приятеля. Борода и усы приметно шевелились от напряженной игры мускулов под щеками. У ключа сидел на камне и продолжал думать о невыносимом несчастье потерять навсегда долгую и единственную надежду. Испуг Поля, который проглядывал в каждом ее движении, в каждом слове, вызывал злобу и отчаяние. Она предалась не только этому толсторожему завхозу, — это было бы полбеды, — но и всем своим новым друзьям. Смотрит их глазами, думает их мыслями. Считает врагом. Это и есть наверное то, что называют «товарищи» классовым чутьем. Классовый враг! Мысли топтались тяжелой поступью и упирались в тупик. Нашла себе мирную пристань, приобрела покой в ребенке. Семейное счастье и у них, оказывается, существует. И «товарищи» непрочь от этой радости!

— Алешка, — вдруг крикнул он, — не клади грязных камешков в карман!

Мальчишка, расшалившийся после слез, отбежал подальше и, поглядывая на дядю, положил еще несколько камней. Брови Варыпаева нащетинились. Неожиданное бешенство подняло его на ноги. Схватил круглый голыш и взмахнул длинной рукой, словно метал гранату в окопы неприятеля. Едва удержался. Отвернулся, бормоча ругательства, и опустился на траву. Через минуту тихо и ласково позвал:

— Алеша, иди я тебя раздену. Надо купаться, а то дома нас ругать будут.

Мальчишка доверчиво стоял спиной к нему и помахивал руками, отгоняя комаров. Грязные пальцы с обломанными черными ногтями копошились в застежках на лифчике. Золотистый пушок струился по тонкой шейке вниз и исчезал между лопаток, похожих на крылышки. Темные длинные пальцы при-

клеились к впадине под горлом. Стоит сжать — и будет уничтожено единственное препятствие. Невероятно, чтобы у нее была привязанность к завхозу. Все ее симпатии к этим курносым молодцам разлетятся, как брызги. Все это выдуманно.

— Не трогай за шею, щекотно, — зажился Алешка и беспомощно глотал воздух. На испуганных глазах появились слезинки.

Вдруг послышались торопливые шаги по тропе. Завхоз, посланный матерью за сыном, появился у ручья. Широкое лицо собралось в морщины, глаза бежали зверками, как у Алешки, когда он сердится. И в этом, как и в полных скулах, было сходство у сына с отцом.

— Что это ты, братец, придумал. Тебе не приказано брать мальчишку, а ты по-своему гнешь через колено. Смотри у меня!

Алешка любил отца наверное за то, что тот редко ласкал его и обращался бесхитростно, как со взрослым. Кинулся к нему, вскарабкался как на могучее дерево и, сидя, полуголый на плече, показал язык дяде.

Певуче-монотонно журчал ручей по камням, глубокие тени от густых кустов лежали, как пролитые чернила. Варыпаев сидел, уставясь перед собой, ничего не видя. Не слышал кашля Пахомыча, опоздал к столу и отказался от подогретых щей.

— Не надо, Поля. Я сам виноват, что не пришел вовремя. — И, улучив мгновение, шепнул: — Надо поговорить. Завтра у Головы. В девять часов.

Поля вздрогнула и не ответила.

## 5

Камень был похож на голову, срубленную с плеч великана. Он лежал среди зарослей, недалеко от тропинки, ведущей к ключу. Стоило свернуть вправо и продраться через поросль лиственницы. Целый час Варыпаев поджидал Полю, сидя в тени шершавого обомшелого камня, и нетерпеливо дергал травинки из земли. Казалось, Поля поймет его, опомнится наконец, и можно будет говорить с ней как с близким человеком. Злые мысли чередовались с кроткими и нежными. Надежда чередовалась с отчаянием. Он решил было больше не ждать.

— Думает отделаться так легко. Не пришла, думает, и — конец. Как же!

Поля явилась торопливая и, тяжело поднимая грудь, сказала:

— Там на плите как бы не пригорело второе. Пожалуйста, если можно, говорите поскорее.

— Боишься выговор получить или, как по-ихнему, — на черную доску. А кроме, тебя ничто не тревожит?

— О чем вы говорите, Варыпаев?

— Не Варыпаев, а Чермезов. Ну, ладно... Я все о том же. Ты знаешь, о чем мы должны говорить. Я ведь не жил, Поля, с тех пор, как мы расстались. Помнишь, я чуть не упал с подножки вагона, когда ты передавала мне цветы на ходу. Половина букета рассыпалась и упала прямо под колеса. Я писал тебе об этом.

Поля молчала. Ждала конца, чтобы уйти. В ее случайной позе виделась готовность каждую секунду повернуться спиной. Варыпаев сощурил глаза.

— Ты боишься меня, словно гранаты. Неужели я такой страшный?

Она молчала.

— Ты стала настоящей мамкой. И наверное тебе нравится, как тебя хватают за углом эти молодцы, сынки. Видно, большая нужда заставила взять такого утюга, как завхоз...

— Оставьте его. Он ничего плохого вам не сделал!

— Ого. Наконец-то ты заговорила. Оказывается, нельзя прикасаться к священной особе. Ну, не буду: он ведь отец твоего ребенка, а остальные — кумовья. Невероятно, но, как говорится, факт. Тебе не кажется, что Алешка будет ходить с такими же толстыми скулами и будет утирать нос пятерней, как твои сынки?

— За что вы их всех ненавидите? У вас ничего не отняли, вы не были богатым человеком!

— У меня отняли все, что можно отнять у человека. Да, я не был помещиком и фабрикантом, совершенно верно, но у меня отняли всю жизнь, все внутренности отколотили у меня эти твои друзья-товарищи. С меня содрали погоны, отняли тебя. Неужели ты не видишь, что они сделали с тобой!

— Я не хочу никакой другой жизни, Варыпаев...

— Чермезов, Чермезов, Поля,— раздраженно напомнил он. — Ты, кажется, гордишься своей ролью кухарки у этих хамов?

— Кухарка — тоже человек.

— Ну да, как унтер-офицер — офицер...

Видя ее умоляющие глаза, он вдруг смягчился. Несвязно, торопливо заговорил о своей надежде найти ее и начать новую жизнь. Глаза не отрывались от ее лица. Она молчала снова.

— Полюшка, — говорил он. — Прости меня за грубость. Выслушай меня. Ты боишься за ребенка больше всего. Но ведь он не наш с тобой. Он чужой. Мы уедем из проклятой тайги в город. Ты ведь просто от нужды бросилась к ним в руки. Многие теперь делают так, я знаю... Не испытывай меня. Может быть, ты думаешь — я негодяй, нет, это неправда: я не хуже их. Меня загнали в тайгу, но я вырвусь и вынесу тебя на руках. Это от бороды я кажусь тебе чужим и неприятным. Ты ведь тоже очень изменилась... Ты считаешь меня врагом?

— Нет, я совсем не считаю... Только Алешеньку я прошу не водить с собой...

— Почему? Разве я могу ему сделать что-либо плохое?

— Совсем не поэтому. Не надо водить...

— А отчего ты не смотришь в глаза, Поля? Ты говоришь не то, что думаешь. Скажи правду: если бы не было Алешки, ты рассталась бы с этим завхозом? Ты в прошлый раз сказала, что тебя связывает только ребенок.

Он взял руку Поля и тянул к себе.

— Не знаю, — тихо сказала она, боясь сказать нет. — Разве можно об этом думать...

Она упиралась нерешительно и не поднимала глаз. Ненавидела себя за трусость. Надо было бы отрубить узел, но при мысли о последствиях еще ниже клонилась голова. Ведь каждое ее слово, какое бы она ни произнесла, кроме решительного согласия, вызовет новую вспышку злобы и мстительности. Руку пожимала противная рука, едва владела собой, чтобы не вырвать ее. Он жадно глядел на полуотвернувшееся склоненное лицо и вдруг вообразил далекое прошлое: яркий день за городом, первое



объяснение. Точно также были опущены ресницы и вздрагивали. Он держал уже за локоть ее руку, словно поощряя к смелой откровенности, как тогда, тринадцать лет назад.

На тропе за чашей раздался голос Алешки:

— Мама, тебя папа зовет!

Поля выхватила руку у Варыпаева и повернулась к нему спиной.

— Ау, сынок, — закричала она. — Беги сюда, я здесь!

— Опять не дает покоя милое племя!

— Ведь он мой ребенок, странно вы рассуждаете.

— Довольно разыгрывать из меня дурака. Все понятно.

Поля возле сына позабыла все. Не существовало ни опасений, ни тревоги. Чмокнула его в щеку и подхватила на руки. Варыпаев, отрезвленный, прищурил глаза.

— Алеша, а разве ты не пойдешь со мной за кислицей? — спросил он и в упор глядел на мать неподвижными злыми глазами. — Кислицы многого. Сладкая, вкусная кислица...

Алешка рванулся было, но Поля крепко прижала его к себе, словно дорогую добычу, и, не оглядываясь, пошла по чаще. Позади, словно погоня, раздавалось:

— Алеша! Алеша!

В крике была щемящая тревога, берущая за сердце. Мальчик вырывался, пытался отозваться, но мать дрожавшими губами закрывала его капризный рот.

## 6

День ото дня зной и духота становились невыносимее. Узкая долина, до сих пор зеленая и уютная, казалась Поле ямой с отвесными стенами, по которым не выбраться. Обычно угрюмый и молчаливый, Варыпаев вдруг сделался невероятно болтливым, как пьяный. Прекрасно знает, что она следит за каждым его словом, за каждым темным намеком. Из безрассудной сумасшедшей мстительности может выболтать всё и потопить вместе с собой. Ему все равно. Проклинала прошлое, упавшее на голову еще раз. Муж не простит обмана, как тот коммунист. Придумывала всевозможные доказательства в свое

оправдание, точно готовилась давать показания перед суровым судом. Ведь не скрой она этого прошлого, не отнеслись бы к ней, так просто, как к своей. Никакими уверениями и клятвами не смогла бы заставить поверить ей, дочери полковника. Какое им дело, что отец был в отставке, имел большую семью, подметал полы, топил печь, чинил калоши всей семье, всем шести дочерям. И правы они, — и отец не был другом ее новой семье. Хорошо запомнились слова, сказанные им однажды за чаем, когда Колчак начал отступать от Челябинска: «Нет, видно из гуся не сделаешь орла». Говорилось это с досадой на адмирала, не сумевшего удержаться против красных.

С тревогой каждый день ожидала время обеда. С испугом вскидывала глаза на часы, и Пахомыч, как совсем дряхлый старик, сквозь кашель кричал в долину, созывая людей к столу.

Рабочие появлялись из тайги изнуренные, лениво присаживались под навес, будто не собирались есть. Они с трудом дотягивали до перерыва, задыхаясь в густых сетках от гнуса. Ко всему появился овод и в таком количестве, что Мишка, любитель побаловаться и подурить, ударом рукавицы по колену убивал около тридцати штук этих воздушных бандитов. Пастухи-орочоны давно не показывались на базе, видимо, олени, спасаясь от гнуса, шли ходом по чащам, ни на минуту не останавливаясь.

Однажды Поля устроила сюрприз. Когда все уселись за стол, достала из ямки в мерзлой земле бутылку с квасом. Все вскочили, торопливо подставляли стаканы под коричневую булькающую струю и с кряканьем вытирали пену с губ.

— Вот за это — на красную доску!

— Так-то так, а с обедом опять запоздала стряпка, и посуда плоховато вымыта, — лениво пошутил завхоз. — Совсем от рук стала отбиваться мамка. Квасом нас, брат, не подкупишь...

— А мне ложку не подала, — сказал Мишка.

— И мне! И мне! — раздался голоса.

Оказалось, ложек нет и половины. Пока Поля искала ложки, мыла и перетирала, борщ стыл на столе.

— А где же у тебя, мать, Алешка? — спросил отец.

Поля необыкновенно заволновалась. Лицо ее пошло пятнами. За стряпней и за своими думами не помнила, давно ли мальчуган был возле или, может быть, с утра, как вскочил, умчался куда-нибудь. Убеждая себя и оправдываясь перед мужем, она воскликнула:

— Ведь сейчас вертелся под руками. В одну минуту провалился.

Она принялась кричать во всех направлениях, торопливо и тревожно. Грудь высоко поднималась. Присаживалась на скамью и прислушивалась к болтовне Варыпаева за столом. Словно между исчезновением Алешки и этой болтовней крылась какая-то связь. Разбила блюдце, уронив на него ложку.

Обед кончился, но Алешки не было. Отец насупил брови.

— Оставить его без обеда, будет знать время.

Варыпаев, поднимаясь, возразил:

— Это в прежнее время у военных были такие порядки: под часы столбом, а теперь так не воспитывают.

— Ты откуда знаешь? Какой, оказывается, образованный. — Завхоз снисходительно улыбнулся.

— У одного полковника в оставке денщиком был. Сыновей у него не было, так он дочерей ставил на караул.

Разошлись все по палаткам, лишь Поля металась по полянке да инженер, встревоженный, остался за столом. Катал из хлеба шарики, раскладывал, точно разбивал линии для скважин, доставал платок, вытирал рот, затем тянул себя за ус, кривя рот на сторону.

— Гм, Поля, в чем дело?

Она не ответила.

Инженер поставил еще два шарика, закончил разбивку и медленно поднялся. В ближней палатке разбудил трех рабочих и велел осмотреть место купания — неглубокий резервуар, выдолбленные водой в граните.

На илистом подходе никаких признаков мальчика не оказалось.

— Мать, — сказал один из вернувшихся, — надо сына-то искать.

Поля остановившимися глазами глядела на первого вестника несчастья, которое наконец свалилось на нее. Все видели, как она с косынкой в руке, буд-

то со спущенным флагом, бежала впереди завхоза и скрылась в тайге.

Вечером на полянке царил беспорядок и тревога. Мишка раздувал плиту, рябой бурмастер без толку ходил с кастрюлей и не мог разыскать крупы. По тайге шел шелест и раздавались крики рабочих, — все до одного приняли участие в поисках пропавшего Алешки. На фоне розового заката колыхалось темное облако: гнус резвился в нагретом неподвижном воздухе. Трудно было представить, как Алешка проведет ночь в одной рубашонке...

Постепенно начали возвращаться с поисков. Одетые в брезенты, в черных сетках, словно в шлемах с опущенным забралом, рабочие молча присаживались к дыму. Поля с мужем вернулись совсем поздно. Как автоматы, помогали бурмастеру готовить стол к ужину; не обмолвились словом. Лица их были бледны, глаза воспалены.

Завхозу подвернулась мисочка сына. Он взял ее в руки, подержал и, закрыв лицо ладонями, с рыданьем скрылся в бараке. Отчаяние сильного мужчины отнимало последние силы. Поля, как в столбняке, глядела мужу вслед. Подошедшего Варыпаева вдруг схватила за руку.

— Владислав, верните мне Алешу. Верните ради нашего прошлого!

Он вглядывался в её лицо, искал в нем что-то новое для себя.

— Все обыскали, Полюшка... Не убивайся. Никто не застрахован от несчастья...

— Отдайте Алешу, — сжимала руку Поля.

— Ты, Поля, осталась одна в проклятой тайге, как и я. Никто не поймет тебя. А я не могу подойти к тебе и помочь. Ты — кухарка, я — бродяга. Оба — лишние карты в колоде...

Поля пыталась отшвырнуть его руку, но он крепко держался за нее. Стиснула зубы:

— Пустите руку. Я закричу!

— Даже в такую минуту не можешь по-человечески сказать слово. Ты готова погубить себя из ненависти ко мне. Опомнись, Поля. — Он громко в отчаянии воскликнул: — Ну, клянусь, ни одной мысли оскорбительной нет у меня!

С силой, так, что Варыпаев качнулся, вырвала руку и пошла прочь. Он пригнул голову в плечи и долго стоял неподвижно один на поляне.

## 7

Следующий день не принес ничего утешительного. На базе ходили с опущенными глазами, точно каждый боялся встретить упрек в случившемся. Казалось невероятным, как Поля находит в себе силы двигаться без единой минуты сна. Никто не видел ее за двое суток присевшей на минуту.

— Хоть бы найти, — шептались рабочие. — Все-таки — конец.

По мере того, как у всех складывалось убеждение в гибели Алешки, в глазах матери как будто все возрастала надежда. Было жутко, словно сошла с ума...

С утра на третий день половина рабочих встала на работы. То тут, то там слышались крики Поли, похожие на вопли неведомой птицы. Завхоза совсем не видели: он приходил ночью и уходил ночью. К обеду сошлись все. Говорили шепотом.

— Грош нам цена. Жрать садимся...

— А что сделаешь, чужак ты какой...

В конце скромного обеда к инженеру бурмастер подвел за рукав Мишку, облизал половник и тихонько сказал:

— Вот послушай, Виктор Петрович, что парень толкует.

— Гм, что же он может толковать. Ну, хорошо, расскажи, в чем дело.

Мишка выразительно заглянул инженеру в глаза и пошел в лес.

— Остановишься ты когда-нибудь или нет! Гм. Куда ты прешься?

Парень оглянулся и остановился. Вид его был серьезен. Кажется, он никогда в жизни не произносил ничего связного своими толстыми губами, но сейчас толково и коротко рассказал свои сложные предположения и догадки. Утром Варыпаев, посланный на базу, явился на бур не с тропы, а с противоположной стороны, из тайги.

— Вся запятая в том: долго ходил и пришел не так. Пускай поведет нас искать. Обязательно станет отводить от места. Был такой случай. Пропал у нас лесник. Взяли тоже такого подо-

зрительного. Он и пошел путлять. Куда он не хочет, туда и шли ему на злобу дня. Нашли...

Инженер молча тащил себя за ус. Поражала уверенность, непоколебимая и жестокая, к которой этот простоватый, парень пришел своими наблюдениями, крепкими и прямыми, как гранитная дорога.

До бура, откуда было решено пойти в новые поиски, Варыпаев шел широким шагом, непринужденно болтал и развязно размахивал длинными руками, отбивая шаг. Но когда двинулись от бура, он возразил:

— Товарищ начальник, какой смысл искать там, где уже искали и не один раз. Лучше поискать бы в другом месте...

— По-твоему, не стоит сюда ходить? — почти радостно спросил инженер.

Мишка вытаращил глаза и опустил голову. Задуманный план начинал удаваться. Он осторожно толкнул плечом инженера, когда проводник сделал уклон, воспользовавшись колодой, преградившей путь.

— Нет, давай, сюда подержимся, — поправил инженер. — Хоть ты эти места лучше нас знаешь, но мне кажется, надо левее держать. Гм. Мне кажется, надо именно левее держаться. Делай так, как тебе приказывают.

Варыпаев торопливо согласился. Может быть, на сотую долю секунды торопливее, чем надо, но даже непосвященные столпились и переглянулись. Произошла заминка.

— Тут вода сейчас начнется, — высоким голосом сказал Варыпаев.

— Ничего, не зима!

Затрещал сухой ерник и прошлогодняя малина. Казалось, спина в рваной защитной рубахе сжимается и мечется в стороны. Из зарослей взлетел ворон и, свистя крыльями, сделав круг, уселся на сухом дереве. Все дышали часто, на лицах выступил пот.

— Мошкара гудет! — вдруг громко крикнул один.

Варыпаев остановился поправить обувь. Нетерпеливо поджидали, глядя на медленные бесцельные движения рук. Узкая спина горбом выпячивалась в середине круга. Наконец выпрямился.

— Ребята, у кого есть закурить?

— Гм, потом покурим... — Инженер часто мигал глазами и непрерывно дергал плечом.

Варыпаев не двигался с места. Все сразу увидели, как он начал дрожать, точно в ознобе.

Через минуту стояли возле мертвого Алешки, усыпанного гнусом. Было очевидно, — задушенный три дня назад, мальчик был перенесен сюда, в более надежное место, только сегодня утром.

## 8

Солнце завалилось за сопки и, отражаясь в облаке, бросало лучи в долину. Деревья стояли тяжелые, словно отлитые из бронзы. После жутких похорон рабочие скрылись в палатки. Поля и завхоз сидели на земле, держась за руку друг друга, точно боялись упасть куда-то в пропасть. Темнело. Завхоз поднялся и направился в барак. Возле двери покачнулся и ударился плечом. Поля осталась одна. Она вдруг вспомнила, что не укладывала еще Алешу. Вскочила, но вскрикнула и повалилась снова на землю.

На западе вспыхивали зарницы — редкие гости в хребтах. Беззвучные вспышки обозначали щетины сопки. Тишина давила свинцовой тяжестью. Звон ключа, знакомого, из которого брали воду, странно рвался, словно умирал раздавленный. Тишина вселяла невероятный ужас. Прошлое, простое и невинное прошлое, из которого сделали преступление, разбило однажды жизнь, раздавило сына и теперь раздавит ее до конца. Ни капельки не сомневалась, — Чермезов расскажет все, ему приятно будет погибнуть с ней вместе. Поля шептала:

— Ребятунки, голубчики, я боялась, вы не поймете меня...

Но в палатках была такая же тишина, как и на поляне. Вся напряженная, наклонилась вперед, продолжала слушать то самое страшное, о чем говорила тишина. Слух приобретал необыкновенную остроту. Казалось, слышит ворчанье далеких речек, грызущих камень, урчанье зверя в чаще, шорохи листьев в непроходимых дебрях под осторожной ногой. Доплывали тяжкие вздохи, колеблющие болота густыми волнами.

Теплый камень, на который опиралась рука, был единственным близким существом.

С шумом прошелся ветер по деревьям. Рванулась с головы косынка и забила концами. Брызнул дождь. Крепко привязала косынку. Привычное движение привело в себя. Поднялась с земли. Готова была сопротивляться нахлынувшему ужасу. Бросилась к столу. Нашарила нож. Проворно прокралась к складу, привычным нажимом выкинула клин. Дверь скрипнула.

— Вы спите, Чермезов?

Нашарила связанные за худой спиной руки и разрешила веревки. Пораженный внезапным посещением, ожидая удара, он не шевелился.

— Освободите себе ноги.

В тесноте обдавали друг друга прерывистым дыханием. Варыпаев чуял кроющийся за взволнованным шопотом обман, но не мог понять, в чем он.

— Уходите немедленно, Чермезов!

Он не верил. Нащупывал западню и медлил. Попытался понять ее замысел, но не мог, все мчалось прочь, кроме одного: уйти, спастись от личка товарищей. Лежа в амбаре, он слышал решение: не отрывать от работ людей, — так как отправка займет весь остаток лета, — судить в тайге своим судом. Оба огромным напряжением воли заставляли себя стоять друг возле друга, касаться и шептать, не вздрагивая.

Варыпаев осторожно взял Полю за руку и нащупал кольца.

— Они не снимаются уже давно. Оставьте!

— Ты хочешь уморить меня голодом. Я не куплю себе куска хлеба у орочон на советские бумажки.

— Нет же, нет. Если хотите, я принесу сейчас золото.

Весь напряженный вышел вслед из барака и ждал, прислушиваясь, крепко стиснув рукоять ножа. Узелок долго прощупывал вздрагивающими пальцами.

— Что это такое?

— Алешины самородочки. Артель подарила на крестины. Уходите. Нас могут застать!

Поля протянула руку, но его уже не было. Он утонул в шумной черной ночи, как в реке. Собрала веревки в

складе и бросила в плиту на тлеющие угли. Едва сдерживалась, чтобы не захохотать торжествующим хохотом.

Дождь усиливался, превращался в ливень. Косые струи больно хлестали по лицу.

---

Искать беглеца было невысказано. Надо было хорошо знать тайгу, чтобы рискнуть углубиться в дебри. Вызванные пастухи-орочоны прятали глаза в

прикладах своих кремневых ружей и переминались.

— Туда пошел, сюда пошел — марь. Туда пошел, сюда пошел — речка. Тунгус — двести, триста берст, — далеко...

Они считали человека, бежавшего в летнюю пору после ливня без пищи и оружия, безумным. По их верованию, безумец почитался священным существом. Поднять на него руку они не смели, представляя самой тайге сделать за них это дело.

---

# Повороты<sup>1)</sup>

Главы из 2-ой части романа

Александр ЯКОВЛЕВ

## XXI. Ветер

**Б**ывает: лежит сухой лист у дороги — и месяцы и год лежит на одном месте, моют его дожди, сушит его солнышко, укутывает снег. А лист лежит недвижно. Потом разом ветер, буря, — лист взвевается выше леса, помчит неведомо куда.

Так Старостин.

Весть о революции взвихрила его, — забегал он, заговорил, точно рукой сняло его хмурь и молчаливость, волчком закрутился.

Когда из Верх-Исетска в город пошла первая демонстрация, тем же бульваром, которым два с половиной года назад ходили патриоты, в переднем ряду с большим красным флагом в руках шел огромный мужчина — на голову выше других, упорный, с лицом горячим, как открытая печка, — Старостин.

У памятника Александру второму уже бушевали толпы, а над головами везде пылали красные флаги. Возле ограды стояла телега, с телеги говорили ораторы. Над толпой Старостин встал, как столбище, рот открылся черным западком, будто орала та самая кондовая Россия, что каменно молчала тысячу лет.

— Оковы... разбиты! Товарищи! Свобода! Ура! Царь этот... как мы шли девятого января к нему с просьбами... Свинцовыми пулями нас тогда он встретил. Дочь убил мою... четырех лет!

Отдельными выкриками вылетали его раскаленные слова, похожие на те пули, что стрелял царь девятого января. И

толпа откликнулась оглушительно на каждое слово:

— Ура! Верно! Браво!

И больше не слова волновали толпу, а вот: наш говорит, в прокопченном пальтишке, человек с лицом, изборожденным морщинами, что кладет труд и голод. В толпе шел говор:

— Вот это мужичище!

— Молотобоец, поди. Гляди, кулаки, как гири.

— Это верхисетский рабочий, я его знаю.

— Дочь убили? Врёт, поди.

— Може, врёт, а може, он говорит про всех рабочих. У кого не было в семье несчастья из-за царя с его войной?

Отречемся от старого мира,  
Отряхнем его прах с наших ног.

Буйная песня зародилась где-то там, возле памятника, где погуще стояли красные флаги. Зародилась и кругами разлилась по толпе. Пели вразброд, то перегоняя друг друга, то отставая, и не все знали песню, — ловили отдельные слова, выкрикивали их, и лишь припев звучал все уверенней и сильнее:

Вставай, поднимайся, рабочий народ!

Вставай на борьбу, брат голодный!

А с телеги уже кто-то новый кричал какие-то слова, махал руками так, точно у него их было не две, а шесть. И в толпе опять поднялся ворчливо-радостный говор:

— Тоже рабочий!

— Этот поменьше. Гляди, в роде пиголицы. У того, как труба, а этот в роде полицейского свистка.

Вечером с одеревяневшими ногами, охрипший Старостин пошел к Карташе-

<sup>1)</sup> См. «Новый мир», кн.кн 1, 2, 3, 4 и 5 с.г.

ву, — не в силах был вернуться домой, к обыденности. У Карташева в перепрокуранных комнатах бродило десятка три рабочих в потертых пиджаках и синих рубахах, между ними люди в тужурках с блестящими пуговицами, четыре бойких девицы. Горячо разговаривали, что-то писали у столов, в одной комнате нервно стрекотала пишущая машина. Карташев, замученный, с прилипшими ко лбу волосами, встретил Старостина бурно:

— Наконец-то! Где вы пропадали? Чорт возьми, вас с собаками не сыщешь. Мы выбрали вас в комитет.

Старостин удивленно посмотрел на Карташева: он никогда не видел, чтобы этот всегда спокойный человек мог таким волчком вертеться. Вчера вечером он был куда спокойней, правда и людей вчера вечером в этих комнатах почти не было. А ныне вот как... Карташев подхватил Старостина под руку, потащил в соседнюю комнату. И множество глаз (так показалось) впились в Старостина со всех сторон, он услышал шопот:

— Старостин, Старостин, вот он.

— Товарищ Наташа! — крикнул Карташев кому-то за соседний столик. — Вот он, Старостин-то. Ему, как председателю комитета, вы будете делать доклады обо всех делах.

Девушка со вздыбленными волосами, буйно поднятыми надо лбом, цепко взглянула Старостину прямо в глаза.

— Ага. Хорошо. Пожалуйте к этому столу, я расскажу.

Он пошел за ней, не чувствуя под собой пола. Он слушал упорно, стараясь не проронить ни слова, и капельки пота засветились у него на лбу и на носу от напряжения. А кругом бурно спорили, говорили словами, каких прежде Старостин не слышал. Студент в новенькой тужурке с золотыми наплечниками что-то громко читал по бумажке.

Ветер понес быстрее, быстрее, Старостин испытывал некоторое чувство оглушенности, так много дел сразу свалилось на него. Его тащили на митинги, на заседания, спрашивали у него совета и разрешения, заставляли говорить. Он, еще неделю тому назад никому, казалось, ненужный, вдруг стал необходимым столь многим. И это о нем было напи-

сано в газете, первой революционной газете, что вышла в Екатеринбурге, о нем как о герое, побывавшем в тюрьме и ссылке за свои убеждения.

Первые дни он мало бывал дома. Он стал быстр необычно, озабочен, заговорил громче, торопливей. Марина смотрела на него с тревогой и вместе со скрытой радостью:

— Тебя будто подменили. Новый ты.

— А что? Хуже стал?

— Да вот суетишься, кричишь, распоряжаешься.

— А ты как думала? Ждали, готовились. Теперь пришла наша пора.

— Смотри, опять не сорвись, в тюрьму не попади.

— Теперь это прошло. Теперь царю капут, полиции капут.

— Полиции, может, и капут, а царь — всё царь. Когда опять в силу взойдет, он вас прищемит.

— Не прищемит. Не ныне, завтра его в тюрьму отправят, как мы отправили своего полицмейстера.

— Далеко до царя.

— Далеко, а доберемся. Теперь близко.

И правда, будто напророчил: на другой день к вечеру прибежал домой с газетой в руке и уже на пороге закричал:

— Арестовали!

Марина даже качнулась от испуга, так необычен был веселый вид ее мужа и этот громкий крик: арестовали!

— Кого арестовали?

— Царя. Вчера только с тобой об этом разговаривали. Смотри!

Он сунул газету к самому носу Марины. Марина осторожно закорелыми руками взяла газету и, шевеля губами, прочла крупный заголовок:

«Арест бывшего царя и его семьи».

— Ну, слава богу, царица небесная, — сказала она и перекрестилась, — к добру ли только?

— А как же не к добру? — загорчился Старостин. — Обязательно к добру. Ты гляди-ка, чудно как. Все от царя отвернулись. Хоть бы один приближенный или сродственник застрелился с горя, или бы позащитал его кто. А то сразу все убежали от него, ровно от чумного. Значит, насолил всем.

Он сумрачно улыбнулся, прошел по комнате, и вид у него был такой довольный: не только один он, Старостин, ненавидел царя, но и вообще все, даже приближенные и родственники.

— Смотри-ка, что пишут в газетах, — продолжал он самодовольно. — Как только поезд с арестованным царем пришел в Царское село, так генералы и князья, точно груши с дерева, посыпались на платформу и бросились бежать в разные стороны. Ой вы, резвы ноженьки, унесите мою ж...ку. Боялись, что их тоже арестуют.

Марина хмуро глянула на пол, задумалась:

— Покинули, значит?

— Выходит, покинули. Я и говорю: ни один близкий не заступился, ни один не загоревал. Только об себе думали.

— Чать, всё-таки кто и пожалел?

— Да кто же пожалел? Никто. Продажность свою сразу все обнаружили. Когда царь в силе был, пятки ему лизали. А лишился силы, — бежать от него. Стервы! Им бы только чины ловить.

Он помолчал.

— А правильно умные люди говорят: «Власть развращает людей». Вот эти генералы и князья только и жили царем, а теперь его же предали, можно сказать. Ни стыда, ни совести.

Большой, кряжистый, упорный, он задумался, уставился глазами в блюдо, а в блюде стыла картошка в масле. Марина озабоченно взглянула на него раз, другой, он все сидел, молчал, неподвижный.

— Что ж не ешь? Будет думать-то. Бросили и бросили, бог им судья. А ты... остаток ума потеряешь в думах.

Старостин будто проснулся:

— Задумаешься. Графы эти, князья, генералы, офицеры, бывало, на службе... говорят про царя — в лепешку расшибаются. А ныне никого за царя. Чего уж, сродственник его, и тот вместе с солдатами в думу пришел изъявлять покорность революционному народу. А я-то, дурак, думал: устроим революцию, — вот крови прольется! Ан как сухой жолудь, — подул ветер, он и стряхнулся прочь.

— Ешь скорей, масло застынет.

— А, да. Поем да бежать. Ныне

поезд придет из Сибири со ссыльными. Едут по домам.

— Они-то по домам едут, а когда вот вы будете дома? Я ни тебя, ни Гришку не вижу по целым дням. И поговорить-то не с кем. С коровой да с курицами разве?

— Подожди, увидишь, поговоришь. Дай срок, сперва все наладится, взойдем в норму и мы.

Весь март прошел, а Старостин все так же кипел-горел, работая в комитетах и комиссиях, и так же поздно приходил домой, скупно и устало говорил с Мариной. И если говорил, то все про политику, никогда о хозяйстве, никогда о своем, малом, но столь дорогом Маринину сердцу. Соседки судачили:

— И-и, Маринушка, завистная твоя участь. Твой-то муженек ныне в роде начальник стал. Жалованье поди большее получает? И в цеху он, и на заводе он, и в городе он. Везде только про него говор.

Льстивые речи чье сердце не тронут? В ответ Марина рассказывала соседкам, какую горсть пришлось им переносить прежде; и про Наташкину смерть, и про Павлову ссылку, и про нищету, что тогда костлявой рукой схватила за горло:

— Полгода только картошкой да хлебом питались. Думала, погибать нам.

Разговоры будили в ней бодрость: вот он какой, Павел-то.

«Что ж, пускай там поговорит, покричит, раз так надо. Пока я и одна посижу. Воротится скоро. И Гришка-то по его дороге, похоже, пошел».

И уже не спорила больше с мужем, старалась угодить ему чем можно, когда он приходил домой. Только вот однажды вышел у них разговор, что царапнул Марину за сердце:

— Слышь, Марина, вот что в газете-то пишут.

И уверенный, что Марине интересно все, что бы он ни сообщил, он начал читать чуть повышенным, напряженным голосом:

«По обычаю, два революционных офицера явились в столовую дворца в тот момент, когда арестованная царская семья завтракала. Такая явка установлена для того, чтобы лучше вести контроль над арестованными. Когда революционные офицеры вошли в столовую,



бывший царь подошел к ним и, здороваясь, подал руку. Офицер Ярынич спрятал свою руку за спину, не приняв руки царской. Бывший царь взял его за плечи, спросил:

— Голубчик, за что?

— Офицер ответил:

— Я из народа. Когда народ протягивал вам руку, вы не приняли ее. Теперь я не подам вам руки».

Старостин отодвинул от себя газету, сказал лику:

— Вот здóрово! Вот это по-нашему! Это ему за нашу Наташку. И за всех. Ты помнишь, Марина? Шли мы, как к богу, портреты тогда тащили, иконы. А нас свинцовым дождичком взбрызнули. Теперь вот кушайте, ваше императорское величество! Ты подумай-ка, Марина, сам царь протягивает руку, а ему: «На-ка, выкуси!» Загорелся поди со стыда. И эта ведьма, царица-то, надо полагать, здесь была. И девки тоже. Вот срам-то им! Отливаются кошке мышкены слезки.

Марина сидела, опустив голову.

— А хорошо ли это? — наконец спросила она.

— Чего хорошо ли? — вскинулся Павел.

— А вот... руку не принял. Ты и сам когда-то говорил: лежачего не бьют.

Старостин сразу насулился:

— Тыфу, дура! Голова-то у тебя, как тыква. Царь всю жизнь вешал да убивал, моря слез через него пролились. В какой семье от него не плакали? Помнишь Филиппа-то? Молили, просили, телеграмму посылали: «Не вешай!» И все ж повесил. А ты — «лежачего не бьют». Какой он лежачий? Выпусти его теперь, так он всю Россию кровью зальет. Этого офицера он бы у себя под окнами поставил да дробинками стал расстреливать три года под ряд. «Лежачий!» Он тебе покажет лежачего. Убить бы его поскорее, как бешеную кусочую собаку, а там чего-то тутушкают-ся. Вырвется на волю, быть беде.

— Чего-то у меня не лежит сердце к этому офицеру. Не надо бы так измываться.

— Ну, пошла! Баба ты была, бабой и останешься. Тебя хоть колом по голове лупи, а потом дай вздохнуть, ты всю

обиду сразу забудешь. «Опять меня бейте!»

— Зря ты не говори, Павел! Где обиду забыть? Не таковский я человек, не святая. А только измываться не надо. Посадили в тюрьму и пусть сидит.

— Лафа такая прошла. Надо с корнем все выкорчевывать, чтоб духа званья не осталось. Вот ты огород садила. Помнишь, сколько раз про огород ты жаловалась: только срежешь сорную траву, а она опять растет. Почему? Потому что корень остался. А надо все дóчиста выкорчевать.

— Выкорчевать-то вы выкорчуете, да посмотрим, чем засеете. Не хуже ли будет?

— Ну, бестолочь, говорить с тобой — песок пересыпать.

Марина обидчиво поджала губы, посмотрела на мужа враждебно:

— Ишь ты, в начальники полез, стал человеческий язык забывать. Чего лашешься-то?

Он опомнился, сказал примирительно:

— Да ведь как не лаяться? Ты как была рабой, так и осталась.

— Рабой-то я не была, положим, а вот измываться не надо, это всегда буду говорить, хоть ты еще сто раз со мной поругайся. Хоть он и царь, а все ж хоть сколько-нибудь в нем и человек есть. Человека пожалеть надо.

Разговор этот поселил сумрачную тень между ними, и Марина уже не так рьяно гордилась, что ее муж «лезет в начальники». А тут вскоре как-то случилось еще: пришла к ней жена рабочего Лупихина, — молодая, толстенькая, кругленькая, — прежде не приходила никогда, а на этот раз пришла умильная, очестливая:

— Я к тебе, Маринушка, по секрету пришла. Как мой муж с твоим в одну дудку дуют, вместе их ругать стали шпиёнами, то вот... приносит что ли твой муж деньги-то домой?

— Какие деньги?

— А германские? Все в один голос говорят про них, что они получили германские деньги и стали против войны говорить. А мой-то ни разу денег не приносил. Уж не сударке ли какой носит их?

— Аль есть у него сударка?

— Да нешто мужику при деньгах долго завести?

Марина усмехнулась:

— Про деньги ничего не знаю, мой не приносит. А вот про шпийство это, по-моему, зря. У нас дома был разговор против войны. Кому она нужна? Хотя я вот и не получаю денег ни от кого, а прямо скажу: война не нужна бедным людям.

— Бабам-то, может, за это и не платят, — мы всё равно против войны всегда, а мужикам поди платят. Все накриком кричат. А дым без огня не бывает. Гляди, сами получают, а нам не дают. Узнать бы, по каким числам получку-то им выдают да где, я бы сама в контору сходила, я бы его заставила домой деньги приносить.

Она ушла сердитая, и по ее глазам Марина видела: она не поверила ей. «Как это не приносит деньги домой? Должен приносить. Он не вертопрах какой».

А Марина раздумалась: «Эге, вот он Павел-то — шпийн, деньги за шпийство получает». И затаенно, недоброжелательно она стала присматриваться к мужу.

Еще в те дни, когда пришла весть о революции и потом весть об аресте царя, все на заводе и в городе поверили: скоро конец войне. «Война — дело царское». А раз царь арестован, зачем же воевать? Но месяцы шли за месяцами, длинные, как годы, конца войне не было. И нетерпение рекой полилось по народу все шире, шире. На площадях, базарах, на улицах и заводах рабочие и мещане заговорили сердито:

— Кому нужна война? Помещикам и фабрикантам.

Вот они, наши правители-то, хотят царя с семьей за границу отправить. А царь там с немцами стакнется, опять придет на престол. Что тогда будет?

— Нет правды на свете!

— Как нет? Вот подождите, мы скоро добудем свою правду, настоящую, рабочую.

— Правительство ни к чорту. В министрах сидят одни аблакаты. Им бы только с воров деньги получать.

— Известно, адвокат—продажная совесть. Продались союзникам. Сколько взяли с них?

И яростней всех против войны и против правительства ратовал Старостин. Это его обругали в местной газете, в той самой, в которой четыре месяца тому назад его называли героем...

В конце июля однажды ночью — уже было близко к рассвету — Старостин, спавший на сушилах, услышал: к крыльцу его квартиры подошли люди, много, в темноте показалось, будто целая толпа. В тишине слышны были приглушенные голоса:

— Где его квартира?

— Вот эта дверь.

— Что ж, стучите! Встаньте кто-нибудь у окон. Если выпрыгнет, хватай.

— Стрелять, пожалуй, будет. Он таковой.

— Ну, мы ему покажем стрельбу!

Два кулака забарабанили в дверь. Сонный голос Марины спросил из-за двери:

— Ты что ли, Паша?

— Отворите именем закона революции.

— Да кто там?

— Отворите, вам говорят! Нам нужно Павла Старостина.

Марина заахала, но двери не отворила:

— Его дома нет.

— Все равно, отворяйте.

Старостин в два счета оделся, бесшумно вылез на крышу, перелез через конек, прыгнул в огород и огородом вышел на берег пруда. Окна в его квартире ярко засветились. От пруда он вышел на линию железной дороги и по шпалам зашагал прочь от Верх-Исетска. На разезде он свернул по горной ветке и на рассвете уже стучал в ворота переездной будки.

— Я к тебе, Степан Петрович! Спасай. Меня ищут, хотят арестовать, аблакаты проклятушие!

## XXII. Темный лес

Степан боялся: узнают в городе, где скрывается Старостин, придут сюда с обыском и тогда пожалуй уволят с железной дороги. Он напрямки сказал об этом в тот же час Старостину:

— Я так полагаю, Павел Егорыч, тебе надо поселиться в лесу. Пойдем сейчас, построим шалаш, проживешь за

милую душу. Продукты пока у меня будешь брать.

Старостин в первый момент обиделся было: вот он старается для людей, а его гонят в трудную минуту. Потом прикинул сразу: в лесу будет лучше.

— О продуктах ты не толкуй, продукты мне доставят. Только вот отнеси записку Марине.

Они быстро собрались и от переезда пошли Коптяковской дорогой. Лес был полон птичьего гама: Степан заткнул топор за пояс, шагал не торопясь, любовно поглядывая кругом.

— Смотрю я на тебя, Павел Егорыч, и диву даюсь: хороший ты человек, а в политику вяжешься, беспокойство чинишь и себе и семье. Зачем?

Старостин угрюмо усмехнулся, через плечо поглядывая на Степана.

— И чудак же ты, Степан Петрович! Ежели все будут так рассуждать, то когда же хорошая жизнь наступит? Жили мы рабами и будем жить рабами. Власть в руках царя была, — нешто нам хорошо жилось? Теперь власть у адвокатов. Адвокат — купленная совесть. Не ныне-завтра они выпустят царя, ты знаешь, чем это пахнет?

Степан помолчал, заговорил раздумывая:

— А я вот, мне бы только не трогал меня никто, и слава богу. Заготовил я теперь четыре пуда муравьиных яиц, до зимы продержу, по рублю за фунт продам, куплю вторую корову, лучше царя заживу. Что мне еще надо? Да ничего. Лес здесь, птицы здесь. Выйдешь из избы на зорьке, всякая букашка хвалу поет!

Он любовными глазами посмотрел кругом, он был доволен. В нем было что-то ребячье. Старостин сказал назидательно:

— Вот, Степан Петрович, мы и хотим, чтобы всем жилось так же хорошо, как тебе. За это можно муку претерпеть.

— Выйдет ли дело-то ваше?

— Дело выйдет. И оно не только наше, но и ваше.

— А ты вспомни-ка, Павел, как мы с тобой здесь ходили на охоту. Нешто кто нам мешал? А вот пришла революция: ты ни разу и не был на охоте. Беглецом только прибежал сюда.

Они дошли до Четырех Братьев. Две сосны из четырех были срублены. Свежие щепки валялись на самой дороге. Степан с сожалением покачал головой: — Видишь? Вот тебе революция. Срубили деревья в самом соку. Мужички жадюги пожадничали. Испортили самое приметное место. Ай-ай!

Старостин не обмолвился ни словом, только хмуро смотрел на пни. С Коптяковской дороги они повернули к шахте. На лесной тропе трава стояла до пояса, и было видать: здесь никто не ходил.

— Тут тебя ни один дьявол не найдет, — успокоительно сказал Степан. — Место такое, — целый полк спрячешь, не только одного человека.

Они вышли на поляну. Вода в пруду стояла вровень с берегами и была зеленая, как яшма. По ней бегали водяные тараканы.

— Вот где я убил тогда лебедя, — указал Старостин на прудок. — Еще ты обиделся, когда я заговорил про царя. Помнишь?

— Царь... Да. Теперь царь в тюрьме. Будет ему что или нет? У нас говорили, что его судить будут.

— Судить обязательно, если адвокаты его не выпустят.

— Кто же будет судить? У кого язык повернется?

— Я бы первый пошел говорить против него. Он у меня дочь убил. Он у меня сердце вынул. Был я самый ему верный подданный, а теперь, кроме злости, нет у меня ничего про него. Так бы зубом заел.

— Ну-ну, не больно зубаться. Тебя вот прижали, как ужа вилами, в лес пришлось убежать. Гляди, в тюрьму опять угодишь. Выбирай место, где шалаш-то поставить.

В молодом ельнике, на полянке величиной в ладонь, они умяли траву, быстро нарубили молодых елок и лапнику, и через полчаса шалаш был готов. Недалеко от открытой шахты стояла плакучая береза, Старостин обрубил все ее нижние ветки, устелил ими в шалаше землю.

Степан вполз в шалаш, полежал на ветках, сказал:

— Прямо, как царь, будешь спать.

— Дался тебе этот царь. Живешь ты, как царь. Я буду спать, как царь. Иных слов у тебя нет?

— Хе-хе. Привычка, брат! Все хорошее было у царя.

— Притащить бы царя сюда да поговорить с ним как следует.

Степан высунул голову из шалаша, снизу вверх посмотрел на Старостина:

— А как бы ты с ним поговорил? Это интересно. Я бы послушал.

Старостин процедил сквозь зубы:

— Тут я с одним царем поговорил уже, с лебедем-то. Таким бы манером и с этим тоже...

— Ой-ой, какой ты страшный! — смеясь, прокричал Степан, вылезая из шалаша. — Ну, будет глупости говорить. Устраивайся. Вот тебе мой теплый пеньжак, вот топор, спички, хлеб. Гнуса тебе будет сильно тревожить. Да нам, охотникам, он не страшен. Обтерпешься.

И по его веселому виду, его шуткам было видать: он очень рад, что сбыл с шеи такого беспокойного жильца. Старостин деловито обошел шалаш со всех сторон, потрогал все скрепы, сказал:

— Живет дело!

Он рад был, когда Степан наконец ушел. Утомленный бессонной ночью, он забрался в шалаш, укрылся с головой пиджаком, закрыл глаза. Он слышал, как деревья над шалашом тихонько шумели.

...Так бежать, бежать шумной улицей и с разбегу сразу вскочить в тихую комнату, где нет никого и тихо так, что в ушах звенит, — вот именно такое состояние пережил Старостин. Еще вчера он кипел, горел, орал. А ныне — все тихо. Серые дрозды встречали его беспокойным цирканьем, улетали прочь, опять возвращались, пели в ближних кустах. Семья поползней, чирикавая, лазила по коре ближних елей и сосен. Зяблики громко пели. Совсем недалеко в траве квохтала тетерка и попискивали молодые тетеревята. Порой над поляною пролетала, цвивикая, стайка щеглов. Старостин бесшумно ходил по поляне, смотрел, слушал, думал. То, что ему пришлось бежать сюда, его возмущало до колик в икрах. Он перебирал в памяти свои последние схватки в совете с эсерами и меньшевиками, вспоминал адвоката Березина, своего самого яркого противника. — попадись ему этот адвокат, он бы его зубом заел, — и ему казалось, что жизнь в городе и во всей стране опять

пошла набекрень. Он затомился, заунывал, сутки показались ему годом.

На другой день он с утра пошел к Четырём Братьям, надеясь, что к нему кто-нибудь придет. Он сел на пень, ждал долго. Лес был тих в этот день. Вдали послышались шаги, Старостин отошел с дороги в сторону, высматривая, кто идет. Показался Гришка, отец узнал его фуражку с кантом и кинулся навстречу, закричал еще издали:

— Ну, как там?

Гриша засмеялся:

— А ты-то, папаша, даже не поздоровался с сыном, прямо тебе новости дайвай.

Он посмотрел на отца насмешливо. Отец нахмурился:

— Ты не балагурь, не время.

Гриша не спеша снял со спины ружье, мешок, плотно набитый чем-то, поставил корзину рядом, из корзины вынул газеты:

— Вот тут все новости. В городе все ругают власть. Дороговизна растет. Мама на все жалуется, хочет к тебе притти. Ругаться должно будет.

— Не вели приходить.

— Да нешто она меня послушает? Уж придется тебе потерпеть... во имя идеи.

Он опять засмеялся, — большой, вольный. Отец быстро оглядел его с головы до ног, засмеялся сам.

— Ну, ин потерплю. Рассказывай, как там.

Гриша пробыл до вечера, упросил отца, чтобы он встретил завтра мать на поляне у переезда.

Марина пришла суровая, осуждающая.

— Здравствуй, здравствуй, муженек, — еще издали запела она, едва увидела мужа на поляне. Она смотрела сердито, в'едливо, долгим взглядом, будто хотела прочесть на его лице раскаяние...

— Здравствуй, — сурово буркнул Старостин.

— Ишь какое местечко выбрал для жительства. Много ли волков с тобой живут? На двадцать верст от людей убежал.

— Ты что, за ругней пришла?

— Я не за ругней пришла, а спросить пришла: скоро ли эта наша собачья жизнь кончится? Подумай-ка, кто хуже

нас живет? Тыщи рабочих живут, как люди, один ты по лесам скрываешься.

— Ты-то чего хочешь от меня?

— Поди, покорись начальству, не бунтуй. Скажи, что больше не будешь против правительства итти.

Старостин злобно плюнул:

— Тыфу, дура-баба! Ты теперь за войну что ли?

— Не за войну я. Кто теперь за войну стоит? А только надо же нам когда-нибудь по-человечьи жить.

Они препирались долго, всю дорогу, пока шли от переезда до Ганиной ямы. Наконец Марина, разомлевшая за дорогу, сдалась, спросила мирно:

— Где у тебя тут причандалы-то? Чай что ли скипятить? До смерти пить хочу. Пёрла, пёрла, аж ноги гудут.

И когда чай скипел на костре, она уже улыбалась:

— Слава тебе, господи. Впервой в жизни на дачу выехала. Барыней стала.

Ночью в те хорошие минуты, которые у давно женатых супругов только и бывают по ночам, она сказала:

— Ты не думай, Паша, что я злоблюсь на тебя. Я вижу, ты не к худу гнешь. Весь народ то же говорит, что ты. А только завистно мне на других: живут тихо-мирно, а у нас то обыски, то ссылка, то вот тебя сюда загнали. И болит сердце. Умом-то я сознаю: хорошие дела всегда страданий требовали. Про святых думаю: что им-то терпеть приходилось! И вот ведь, Паша, против царей не восставали. На смерть идут, царей не ругают. А ты, как дело коснется царя, то прямо на стенку лезешь.

Старостину хотелось сказать злое про мучеников (он не любил теперь все, что напоминало попов), но не захотел обидеть Марину и откликнулся мирно:

— То другое время было. Теперь ты сама видишь, терпеть невозможно. Народ вырос, свободы ищет, а цари да офицеры, да фабриканты с адвокатами лежат на пути колодой. Сбросить надо. Гляди, скоро все цари во всем мире полетят с престолов, как груши с дерева.

Утром, прощаясь с мужем уже на Коптяковской дороге, она слегка всплакнула:

— Опять я одна останусь, как камень на лугу. Гришка тоже все по какому-то делам пропадает.

Марина пошла по дороге и все оглядывалась, и лицо у ней сморщилось, и глаза влажнели от слез, и по всей ее фигуре было видно: она одинока и несчастна. Старостин сел на пень, что остался от одного из Четырех Братьев, и сидел долго раздумывая. «Может, я не прав? И Карташев не прав? Покориться надо?» Он прикинул в уме, что знал, как примеривал и прикидывал множество раз прежде, подумал о царе, о Гапоне, адвокатах, войне, унижениях. И, поднявшись решительно, сказал вслух:

— Ну, нет, огнем жгите, не поддамся!

А неделю спустя Гриша приехал к нему на чем-то чужом велосипеде до крайности взволнованный и еще издали закричал:

— Папа, новости!

У него фуражка была сдвинута на затылок, лицо горячее и от быстрой езды, и от той волнующей новости, которой он был захвачен:

— Позавчера ночью через Екатеринбург провезли царя с семьей.

Старостин отступил на шаг ошеломленно, будто кто его толкнул в грудь.

— Как? Здесь? По этой дороге?

Он показал на лес позади себя, именно там проходила линия Пермской железной дороги.

— Ну да, по этой самой дороге. Два поезда под японскими флагами. На каждом вагоне надпись: «Японская миссия Красного креста». Всю публику со станции удалили, из города были вызваны войска, оцепили вокзал, даже служащих некоторых и то со станции выпроводили.

— Так значит его на Дальний Восток везут?—взревел Старостин.— Спасают! Опять к нам на престол посадят? У, гады! Перехитрили нас!

— Кто перехитрил?

— А эти адвокатишки. Увезут его во Владивосток, а там за границу. Надели мы себе камень на шею!

— Да нет же, папа, его повезли на Тюмень. Везут будто в Тобольск в ссылку. Все рабочие волнуются. Тебя хотят повидать. Вот я записку привез.

Нетерпеливо он вырвал записку, прочитал, заторопился. Вдвоем они вытащили из шалаша топор, котелок, чай-

ник, мешок с хлебом, спрятали в кусты, вход в шалаш закрыли ветками и на легке двинули к Екатеринбург. В дни, проведенные в лесу, Старостин оброс щетинистой бородой, потемнел от загара и копоты, глаза ввалились, горели жарко, он был, точно лесная дикая сила.

В комитете лощеный Прохоров, только-что выпущенный из тюрьмы, встретил его смехом.

— Ну, теперь беда соглашателям. Вон ты какой стал, того и гляди все разобьешь! Идем-ка сейчас на митинг. Ребята так шумят, как никогда не шумели. Ты поговори с ними, они тебя послушают хорошо.

— О чем же им сказать?

— Ну, скажешь... реакция подняла голову, эсеры спасают царя, везут его в безопасные места.

Старостин сразу оживился:

— Про царя? Ага, понимаю.

Митинг был в лесу, за городом, на берегу длинного верхисетского пруда. Уже закатывалось солнце, было безветрено, рабочие развели пять костров, клали в них сырую траву и ветки, чтобы дым отгонял комаров, дым закрывал землю и лес, и казалось: в лесу многое множество народа, та сила, что может сокрушить все. Неясные подходы из дыма люди к Старостину, здоровались:

— Здорово, товарищ! Где ты пропал?

— Ну что ж, начнем? Все в сборе.

— Злоказовские еще не пришли.

— Пришли. Вон они сидят. Текстиля — краса и гордость большевизма.

— Будет зря говорить. Краса и гордость — металлисты.

— Просим товарища Старостина сказать насчет царя, как он сам был девятого января и сам пострадавший.

Из дыму множество голосов прокричало:

— Просим.

Прохоров взял Старостина за рукав:

— Скажешь?

Старостин кашлянул в кулак, ответил:

— Скажу.

У него безумно билось сердце.

Прохоров во весь голос крикнул:

— Товарищи! Слово имеет товарищ Старостин по вопросу о проезде через Екатеринбург царской семьи.

Старостин поднялся на носки, опустил. Дым густо полз от костров, закрывал стволы деревьев и сидевших на земле людей. Он надоедливо лез в глаза. Он создавал полумрак, Старостин, не видя лиц, чуял себя вольнее:

— Товарищи! — протрубил он голосом грубым, напористым и сильным, — товарищи! Реакция окончательно подняла голову. Это, так сказать, змея, которая вытянула шею. По шее по этой надо ударить топором. А по какому случаю надо ударить? Вот позавчера провезли царя куда-то на восток. Говорят вам—повезли в Тобольск. Для чего же в Тобольск? Спрятать его от гнева рабочих? Так не спрячешь! Мы везде найдем! У нас везде глаза, потому что везде есть рабочий класс, тот самый класс, который находился под пятой царя в течение многих и многих десятков лет.

Он с трудом подбирал слова, хватался за фразы, которые он когда-то вычитал из книжек и которые память теперь ему судорожно подсовывала.

— Довольно мы терпели обиды от царя и его приспешников. Зачем до сих пор не кончают войну? Почему не созывают учредительное собрание? Власть в руках богатых, в руках офицеров. Товарищи! До каких это пор будет? Аль мы не хозяева своей жизни?

Облака дыма то закрывали его совсем, голос гремел из мрака, то дым падал, Старостин являлся весь, размахивающий сжатыми руками, бородатый, страшный своим ростом, своей силой, своим голосом. И голоса отвечали ему из дымной тьмы:

— Верно! Так их — та-та! Долой правительство!

Сперва один подошел поближе к Старостину, потом другой, третий, плотной стеной встали...

— Итак, товарищи, долой временное правительство! Смерть кровавому царю!

И будто лес и дым откликнулись:

— Долой! Смерть!

Задорные молодые голоса запели:

Вставай, проклятем заклейменный,  
Весь мир голодных и рабов!

Пели неуверенно: песня была нова. И пело немного голосов. Но в них глядели неукротимое буйство и сила.

### XXIII. Болячка

Весь сентябрь и весь октябрь прошли в неудержимом крутяге. Работа на заводах, в городе и, казалось, во всей стране сразу разладилась: «Как можно работать, если продолжается война?»

Везде появилось множество солдат, бежавших с фронта. Они поджигали каждый митинг:

— Эй, оратор, ты сперва скажи, ты до победного конца?

И если оратор говорил: войну надо продолжать, — сотни глоток, как луженые трубы, орали:

— Долой его! Вон!

Слушали только тех, кто начинал речь словами:

— Войну надо кончить.

В Москве и Петрограде октябрьская борьба за власть только еще развертывалась, а Урал уже был готов: весь во власти тех, кто против войны.

В новом совете города Екатеринбурга больше всех получил голосов Павел Старостин — «наш, настоящий». Упорный и настойчивый, он всюду — в совете, на заводах, на митингах — говорил только об одном:

— Товарищи! Уничтожим царизм! Долой империалистическую войну!

И похоже было: царизм ему чудился во всем: в недовольстве рабочих, в разрухе, в восстаниях белогвардейцев, в бандитизме. Офицеров, фабрикантов, интеллигенцию он называл царскими лакеями. Он думал, что все они так же обожают царя, как он сам обожал когда-то. На заводах голодные рабочие начали волноваться, совет посылал его разговаривать с ними, и Старостин каждый раз громоздно спрашивал:

— Вы что? Хотите, чтобы к вам вернулся царь? Опять захотели нагайки и войны?

И в его словах звучали и воля, и упорство, и угроза, и никто не решался вступить с ним в спор. Он — огромный, трубногласый, с револьвером у пояса — устрашал всех, как злая сила.

В январе пришла весть о разгоне учредительного собрания. Весть смутила Старостина: столько готовились к нему, столько говорили, а теперь сразу вон его...

На одном митинге оратор-интеллигент сказал фразу:

— Семьдесят миллионов русского народа избрали учредительное собрание, а семьдесят матросов-большевиков его разогнали.

Фраза понравилась Старостину, он в ней почувствовал всю силу факта. И впервые за много месяцев не нашелся, что сказать.

Прямо с митинга — сердитый, как оса, — он помчался в исполком к Прохорову, налетел на него ястребом:

— Как же так? Семьдесят миллионов выбирали, а семьдесят матросов разогнали.

Прохоров смотрел прямо в рот Старостину, пока тот говорил:

— Я этого дела не понимаю.

— Ага? Не понимаешь? А ты знаешь, чье большинство в учредилке? Эсеров и меньшевиков... соглашателей. Они будут продолжать войну. Они против нас. Они уведут страну от социализма. Они будут истекать в разговорах, когда надо дело делать.

Старостин, присевший было на стул против Прохорова, разом вскочил, будто подкинутый пружиной:

— А ведь правда!

Свет засиял в его голове: раз учредительное собрание за войну, так как же беречь его? И, усмехаясь, он наклонился над столом, свое лицо приблизил к лицу Прохорова и протянул презрительно:

— Так значит, учредилка?

Прохоров кивнул головой:

— Вот именно: учредилка.

— И больше никаких?

— И больше никаких.

И успокоенный, будто он нашел новую истину, с обычным напором и убежденностью заговорил презрительно: учредилка.

В конце зимы недовольство в крае выросло горой, — всюду появились шайки бандитов, под Оренбургом опять восстали казаки, по городу и по заводам пошли слухи:

— Не ныне-завтра большевики падут. Скоро царь освободится, опять в стране наступит порядок.

О всех таких слухах и разговорах Старостин теперь узнавал только одним путем: через Марину. Он уходил все

выше и выше на командные высоты, уже меньше становилось народу, кто говорил бы с ним просто, по-человечески. Только Марина в каждый его приход домой бубнила недовольно о дороговизне, об убийствах, что бывали в городе. Как-то она таинственно сказала мужу:

— Слышал? Царя-то скоро освободят.

— Кто тебе говорил?

— А все говорят. Ждут, когда порядок настоящий установится. Никто вам не верит.

Марина вполголоса, как заговорщица, рассказала мужу, что слышала на базаре, на улице:

— Офицеры поехали освобождать царя. Повезут его на лошадях прямо за границу. А там иностранные цари ему подмогут опять сесть на прародительский престол.

Старостин слушал молча, потом злобно пристукнул кулаком по столу:

— А, черт! Долго ли мы будем терпеть эту болячку?

Он забегал, зашумел, везде настойчиво доказывая:

— Надо принять меры.

И настоял: на все дороги, что вели от Тобольска, были посланы тайные отряды людей, верных революции, чтобы в случае бегства царя задержать его, вернуть. И в Березов, и в Тюмень. А в Тобольск послали Григория Старостина и старика-рабочего Вавилова разведать, как живет царь.

Трудный вечер вышел у Старостинных — последний вечер перед отездом Григория. Отец сурово сказал:

— Все разнохай и отпиши нам сюда немедленно. Да смотри, будь осторожен.

Марина, услышав эти слова: «будь осторожен», ударилась в слезы:

— Куда ты посылаешь мальчишку на смерть?

Старостин остановил ее строго:

— Молчи, баба, все мы под смертью ходим. А наш Григорий... какой же он мальчишка? Погляди-ка на него. Герой! Мне надо бы самому на такое дело поехать, а раз некогда, посылаю его. Не выдаст, не обманет, свой глазок-смотрок.

— Убить его могут.

Тут и сам Григорий вмешался:

— Ну, мама, кто меня тронет? Мы поедем скрытно. Будто торговцы. Я за сына, а Вавилов за отца. Никто и знать не будет.

— Все ж вы старайтесь пробраться в самый дом, поглядите. Там теперь есть и наш народ, к ним письма повезете.

И три недели было целое море беспокорства: три недели Григорий молчал. Наконец пришло от него письмо большое, как газета:

«В городе много переодетых офицеров. Кружатся вокруг губернаторского дома. Я сам слышал, как двое тихонько пели: «Кто любит свою королеву, тот молча идет умирать». Надо полагать, что это поют про царицу. А до бывшего царя нам добраться было трудно, к нему никого не пускают. И все-таки один вечер мы были в караульном помещении, видали его, а также бывших царевен и царевича. Живут они роскошно. Царь для собственного удовольствия пилит дрова, а царевича поваренок при нас назвал «ваше высочество». Вечером царь читал книжку караульным солдатам, и были разговоры. Солдаты спорили с царем, и царь с ними спорил. Потом караульный начальник сказал: «Ну, Николай Александрович, давай наверх, уже десять часов». И царь попрощался со всеми за руку, и с нами тоже. И пошел к себе наверх. И еще мы узнали, что царю каждый день передают письма с воли. И в церквях открыто служат о его здравии».

С письмом Старостин обошел всех исполкомщиков:

— Глядите, как дела-то там делают. Вот-вот царя увезут.

— Куда же его увезут? На дороге замерзнет.

— Теперь-то, знамо, некуда, зима. А с весной начнется вареву.

И именно он настоял: областной комитет партии послал в Москву делегата с требованием принять меры к суровой охране царя.

Зима уже надломилась. Старостин, как и все, ждал: с весной по всему краю опять почнет заворощка, было много подходящих признаков: и недостатки во всем, и неустроенность везде, та самая неустроенность, когда лишь вскрыты



ямы для фундамента, еще свозится кирпич и бревна, а какой дом будет, еще никому неизвестно. И скольких-скольких потянуло в эту зиму назад, к былому, к привычному.

И, думая об этих признаках, Старостин про себя решал:

— Царя захотели? Ну, с этим мы покончим. Царя не будет.

Он уже привык думать о себе, как о человеке, которому дана власть перестраивать жизнь и который видит ход ее, и жизнь должна ему покориться.

Однажды в городе появился отряд солдат — эвакуировался с фронта — отряд с винтовками, бомбами, с дисциплиной. С неделю он прожил мирно в опустевших было казармах, их представители являлись то в совет, то в облисполком, кричали нивесть что, требовали невозможного. Старостину показалось: здесь пахнет заговором, бунтом. Он сам вызвался поехать в казармы, поговорить с солдатами. С ним поехал председатель областного исполнительного комитета Белопухов. Этот молодой, бурный парень нравился Старостину. Он его одобрял и как-то раз среди своих немногих похвалил:

— Хоть и конторщик он, а голова золотая. Наш. Стоит крепко.

Кто-то, смеясь, сказал:

— Если конторщик, так дело дрянь?

— Дрянь не дрянь, а конторщик всегда без пяти минут лакей.

Он всё еще помнил того конторщика, что говорил с ним на Путиловском заводе, — отказался принять на работу.

— Ты ничего... не боишься? — спросил Старостин, когда они выходили из совета, чтобы сесть в автомобиль и ехать в казармы. — Нас убить могут. На штыки поднимают.

Белопухов лихо сдвинул шапку на затылок, хлопнул себя по карману:

— А шпалер на что? Даром не дам.

В казарме их встретили злыми взглядами. И слышны были выкрики:

— Вот они, узурпаторы! Прилетели вороны. Мы им сейчас покажем!

В какой-то роте (окна выходили на юг, солнце било столбами, густой мажорный дым медленно крутился) собралось несколько сот шумно дышащих,

злых, недовольных. Весь воздух был уже полон злого жужжания, пересмехов и перекриков, хоть и не было еще сказано ни слова. Старостин почуял: легкий морозец пробежал по всему телу, будто его опускали в холодную воду. Долго выбирали президиум, бестолково выкрикивая имена. Наконец на возвышении у стола появился Белопухов, шапка теперь у него сдвинулась низко на лоб:

— Что вы, товарищи, от нас хотите? — выкрикнул он.

И замолчал. И сразу во всей казарме на минуту встала дикая тишина. Будто все ночью наскочили лбом на столб. Что хотят? Каждый что-нибудь хотел. Но что? Сразу не сообразишь. Перегляд начался. И ворчанье. Потом бестолково взметнулись крики:

— Хлеба нет!

— Сахару нет!

— А где говядина?

— А где свободы?

— При царе лучше было.

— Зачем разогнали учредительное собрание?

И шум становился больше, громче, оглушительней. Там и здесь поднялись над головами кулаки. В задних рядах мелькнули штыки винтовок.

— Долой большевиков! Смерть узурпаторам! Бей Белопухова!

Голоса загремели громоносно. И толпа задвигалась. Солдат в расстегнутой гимнастерке вскочил на возвышение, плечом оттер Белопухова, замахал руками, закричал, а что закричал, в гаме не разобрать. Винтовки из задних рядов плыли медленно, но верно к возвышению. Все лица — ближние и дальние — кривились в злобе. Вот одна и другая винтовка закачались уже у самого возвышения, еще момент, они влезут на возвышение... Что тогда? Белопухов стоял бледный, рука в кармане. Лицо у него заблестело от пота. Старостин заметил этот блеск и испугался. Решительная минута настала. Он раздвинул беснующихся солдат, шагнул к краю эстрады, разом встал над толпой — огромный, с саженными машущими руками, выпятив грудь, похожую на забор, во всю глотку, что было силы, заорал:

— То-ва-ри-щи!

Ор прокатился по головам толпы, как тяжелое чугунное ядро. И каждого крепко стукнул в лоб, заставил замолчать. Тишина настала страшная. Штыки винтовок недвижно замерли.

— Что ж вы, товарищи, царя захотели? — понизив голос ехидно спросил Старостин и нагнулся вперед, будто собирался прыгнуть на того врага, который хочет царя.

Лицо у него было жуткое, с пылающими глазами. Тишина стала смертной.

И, может быть, целую вечность стояла. Старостин, переждав смертную вечность, выпрямился, заговорил несокрушимо:

— Ежели вы пошли со штыками против своей рабоче-крестьянской власти, так это вы к чему гнете? Опять к старому? Опять к царю? Опять к войне? Опять захотели пойти отсюда в гнилые окопы, где царская власть и Керенский держали вас три года?

Смущенье мелькнуло на лицах. Пошли дальше, дальше. Голос гремел властнее, непоколебимей.

— Мы договоримся во всем, кроме одного: царя вам не будет. И знайте, кто за царя, тот враг наш, заявляю открыто, тому от нас не будет пощады, сам застрелю на месте. Выберите делегатов, человек двадцать, самых толковых и честных, пусть они нынче вечером придут к нам в совет, мы договоримся.

И среди смущенного виноватого молчания Белопухов и Старостин — оба прямые, ни на кого не глядя, прошли к выходу, к автомобилю. Уже подезжая к совету, Белопухов сказал:

— Была бы нам баня, если бы не ты. Старостин чуть улыбнулся углами глаз, ничего не сказал.

— А зачем ты так много потребовал делегатов? Двадцать.

— Пусть выберут самых крикливых. Мы их захватим у нас в совете, арестуем. А тем временем пошлем своих ребят в казармы. Там тоже всех арестуем. Надо действовать решительно.

Белопухов усмехнулся:

— Дело! Люблю за хорошую выдумку.

Вдвоем они весь день созванивались с заводами, вызывали отряды красной гвардии. А поздно вечером делегаты от

солдат были арестованы в совете, отряд разоружен в казармах без выстрела, безоружные солдаты разбежались на другой же день кто куда.

Однако этот случай испугал Старостина. Он чаще стал говорить о царе, — вся беда от царя. Как ребенок, ушибившийся о печку, причиной всех своих бед считает печку, так и Старостин всю беду видел в царе, — о царе говорил упрямно и настойчиво:

— Покончить надо!

Однажды в совете заговорили: хорошо бы над царем устроить показательный суд, на суде можно сказать народу о всех ужасах, что посеял царь. Старостин всех яростней уцепился за эту мысль.

— Что Москва медлит? Делать так делать. А то подойдет весна, птичка улетит.

И когда из Москвы пришла наконец весть, что в Тобольск едет особо назначенный комиссар Яковлев, повезет царя в Москву на суд, Старостин успокоился: дело наконец пошло в ход, теперь скоро конец, скоро успокоение. В суе очередной работы — в совете, в комитетах, в комиссариатах — он все время помнил: теперь скоро, и напряженно следил за поездкой Яковлева. Перевоз царя держался в тайне, по телеграфу об этом передавались телеграммы, строго зашифрованные, о перевозке знали только очень немногие из совета и областного комитета. И Старостин уже умел ценить эту тайну: большие дела делаются без шума. И до испуга, до злости он был удивлен, когда однажды в совете машинистка Нехлюдова, — всегда франтоватая, наотмашь курящая, спросила его таинственно:

— Скажите, товарищ Старостин, правда, будто царскую семью везут в Москву?

Вопрос был неожиданный, он был задан среди других деловых вопросов, но Старостин успел сделать удивленное лицо, сказал лениво:

— Зачем перевозят? Царю в Тобольске хорошо. А откуда вы слышали об этом? Кто распространяет такие злостные слухи?

И, не дав ей ответить, он оборвал разговор: он был уверен, — она все равно не ответит ему честно, потому что

она принадлежала к тем чистеньким вылощенным буржуйам, на которых рабочему человеку плоха надежда.

«Буржуи уже всё знают! Могут всю обедню испортить».

Он представил долгий путь от Тобольска до Москвы, всё может случиться на этом пути. Банды могут напасть на поезд, отбить царя...

В тот же вечер он побывал у своего приятеля—военного комиссара Горлова.

— Слыхал? О перевозе царя уже в городе говорят. У меня ныне спросила об этом машинистка.

Горлов — бритый, с пронзительными черными глазами — нахмурился и почему-то поправил револьвер, висевший у него на поясе.

— Надо допросить, откуда у ней такие новости. Впрочем, все равно, раз знают, из их голов не вытравишь. Вот напрасно так далеко везут. Лучше бы здесь оставить и судить. Цари так много беды сделали Уралу. Обвинителей тут тьма.

— Почему же только Уралу? Любой край назови, везде от царя беда и беда.

— А не задержать ли царя у нас? Вот было бы дело. Надо об этом подумать.

Апрель был уже в переломе, дни стояли солнечные, по оврагам ревели ручьи. Надо было ждать: не сегодня-завтра рухнут зимние дороги, а рухнут дороги, царя не увезти до весны.

Наконец комиссар Яковлев приехал со своим отрядом. Яковлев был похож на прапорщика — галифе, франтовый френч, блестящие сапоги, высокомерный, громкий говор.

— Я сделаю все быстро, — ответил он, когда Старостин высказал ему свои опасения насчет дорог. — Думаю, через неделю уже буду в Москве.

— А мы собирались оставить царя у нас, судить его здесь, — простодушно сказал Старостин.

Яковлев нахмурился.

— Это еще что? Я имею мандат везти царя в Москву.

— Не все ли равно, в Москве или здесь кончить с ним? Здесь лучше, рабочих здесь больше, и терпели они от царей муку мученические.

— Я сделаю, как мне приказано, — резко сказал Яковлев.

«Ого, да ты конь с норовом» — подумал Старостин и сразу стал холоден и строг, уверенный, что Яковлев за царя.

— Делайте, как надо, только скорей.

И, проводив поезд, прямо с вокзала помчался в совет, оттуда в областной комитет, потом к военному комиссару, всех, кого надо, обежал с вестью: за царем поехал подозрительный человек.

— Смотрите, он наделает делов, после не расхлебаете. Он увезет его к казакам...

Он был донельзя взволнован, никто из товарищей не видел его таким, над ним посмеивались все, а военный комиссар даже сказал:

— Можно подумать, что ты лично заинтересован в судьбе царя.

Старостин возмутился:

— Позволь, товарищ, раз я рабочий, я должен быть заинтересован. Царь наш исконный враг.

Он посмотрел на белые тонкие руки комиссара и сказал жестко:

— Хорошо вам, интеллигентам, отцы ваши служили царю и за страх, и за совесть.

Комиссар обиделся:

— А вы-то не служили?

Старостин разинул было рот, чтобы возразить и заспорить, но вдруг вспомнил тот день своей жизни, которым он так долго гордился и который так хотел бы он забыть теперь. Он растерянно усмехнулся:

— Да, пожалуй, служили. Это верно. Вот теперь надо потребовать плату за нашу службу.

И пошел из комитета, будто связанный.

Все дни потом он напряженно следил, что происходит с царем. Из Тобольска по телеграфу сообщали о всех переменах. Царь собирается. Царь выехал. Царь переправился через Иртыш. Царь в Тюмени садится в поезд. С ним едут царица и дочь Мария.

Когда была получена весть, что царь уже выехал из Тюмени поездом, Старостин успокоился: «Теперь скоро!»

Через каждые три часа он звонил на станцию, справлялся. Ему отвечали: поезд идет по расписанию. В эту ночь Старостин остался в совете. Он спал на узком деревянном диванчике в насквозь прокуренной комнате. Под утро он опять

позвонил. И взволнованный голос ему ответил:

— Поезд исчез.

Старостин подумал: это веселая шутка веселого железнодорожника, и разразился ругательствами.

— Какого дьявола вы, товарищ...

Но нетерпеливый голос перебил его крикливо:

— Да нет же, поезд действительно исчез.

— Куда же он мог исчезнуть? — заревел в телефон Старостин.

— Вероятно пошел по ветке на Омск.

— Это куда же? На Дальний Восток? За границу?

Он заметался, как бешеный. Он поднял моментально всех на ноги. В Москву полетели телеграммы, на станции готовился экстренный поезд, чтобы скакать вдогонку за убегающим царем... Через час пришла телеграмма:

«Объявить комиссара Яковлева вне закона. Поезд задержать на первой же станции и вернуть в Екатеринбург».

А еще через полсутки с вокзала сообщили: «Поезд идет на Екатеринбург».

Если когда-нибудь Старостин испытывал зверское нетерпение, то именно в эти часы. То ему уже казалось, что комиссар Яковлев послан приспешниками царя, он теперь спасет его. То казалось, что сам царь подкупил этого франта в широченных галифе... «Может быть, дочь за него выдаст. Всякому прапорщику лестно жениться на царской дочери». Успокоился он, когда царский поезд стоял уже на вокзале Екатеринбурга, а тысячные толпы рабочих, еще накануне взволнованные вестью о похищении царя, стояли теперь у вокзала. «Не уйдет!»

Еще за несколько дней до этого, дожидаясь, что, может быть, придется оставить царя в Екатеринбурге, областной исполнительный комитет постановил приготовить для него помещение. Два товарища предложили просто поместить царя в тюрьму.

— Пусть хоть раз в жизни испытает, каково сидеть в тюрьмах, которые он строил.

Но большинство отвергло такую меру:

— На нас сейчас смотрит весь мир.

Из царя могут сделать мученика. Это нам невыгодно.

И решено было приготовить для царя какой-нибудь поместительный дом. На Вознесенском проспекте, на углу Вознесенского переулка, в самой возвышенной части города, откуда Екатеринбург виден весь, как на ладони, стоит двухэтажный дом инженера Ипатьева. Дом весь массивный, строенный прочно, навек. За домом большой двор и старый сад. Выбор пал на этот дом; в один день инженер Ипатьев был выселен, и дом приготовлен для царя. И к тому часу, когда у вокзала стояла бурно настроенная толпа, в доме шли последние приготовления: домывались полы, выносились из верхних комнат в нижний этаж лишние вещи.

Сквозь шумливую, взволнованную толпу, Старостин пошел через площадь в вокзал и на платформу. Красногвардейцы, вооруженные винтовками, едва сдерживали напор толпы. Поезд стоял у платформы. На площадках вагонов маячили часовые с винтовками и бомбами у пояса. В окна глядели чьи-то лица. Возле военного комиссара собрались члены исполкома.

— Если везти прямо отсюда, может случиться, что толпа нападет и растерзает царя, — сказал комиссар.

— Или освободит, — усмехнулся кто-то, стоявший позади Старостина.

— Ну, сейчас не до свободы. Слышите, как шумят?

— Что ж ты предлагаешь? — спросил Старостин.

— Я предлагаю отвести поезд от станции и высадить всех прямо на пути поближе к дому.

— Вот дело! Идет! Надо приказать, чтобы все приготовились к высадке. Чтоб в одну минуту...

— А толпе можно сказать, что высадка будет на товарной станции.

Всё делалось быстро, будто всех носил вихрь. Экипажи помчались от вокзала, путаясь в улицах, чтобы отвлечь и запутать толпу. А толпа напрямиком ринулась к товарной станции. Старостин забрался на паровоз, чтобы указать машинисту место, где остановиться. Два автомобиля и экипажи уже стояли близ насыпи в назначенном месте, на окраине города, возле маленьких

домишек. Широкая цепь красногвардейцев окружала место высадки. И только поезд остановился, на подножках уже повисли люди, вылезавшие из вагонов. Старостин слез с паровоза и, увязая в песке насыпи, торопливо пошел к вагону, где был царь. С подножек прыгнули часовые, за ними — военный комиссар Горлов, за Горловым — бородатый солдат в защитной гимнастерке и защитных брюках. Солдат уцепился левой рукой за поручень, а правую подал пожилой барыне в сером платье и серой шляпе, что медленно спускалась по подножке. Старостин присмотрелся: в бороде солдата и в этой пожилой барыне он узнал царя и царицу, их лица были всё те же, что на миллионах портретов, лишь постарели и расплылись эти лица! В руке у царицы был черный ридикюль. Она грузно прыгнула в песок насыпи. За ней легко и быстро прыгнула молодая девушка — царица Мария, одетая так же, как мать. Председатель Чека, усатый сумрачный человек, и военный комиссар быстро подошли к ним, а вслед за ними Белопухов и Яковлев. Белопухов показал рукой на экипажи, что-то сказал. Царица и царица пошли с насыпи вниз. Царь на момент задержался. Он обернулся к Яковлеву и бубукающим, глухим голосом сказал:

— А наши вещи?

— О вещах не беспокойтесь, — громко, отчетливо ответил Белопухов.

Все пошли с насыпи к экипажам. Последними шли Яковлев и Старостин. Они шли и переглядывались. Яковлев был на голову ниже Старостина, и Старостин смотрел на него сверху.

— Что, не удалось? — спросил он, торжествуя.

Яковлев вскинул на него глаза:

— Что не удалось?

— А увезти-то царя. Поди старался, аж рубаха взмокла. Награды ждал.

Яковлев молча осмотрел его с головы до ног, сердито:

— Об этом мы, товарищ, поговорим где следует, — сказал он угрожающе.

— Да уж поговорить придется, — также угрожающе пообещал Старостин.

Бритый, сухонький старичок, камердинер царя, тащивший перекинутую через руку шинель, перегнал их и поглядел на них искоса. Автомобили и экипажи подехали ближе. Царь, царица и царица быстро сели в первый автомобиль. В автомобиле еще было место, кому-то нужно было сесть. Белопухов крикнул старику:

— Садитесь!

Старик засуетился перед автомобилем, не решаясь сесть рядом с царицей.

— Садитесь же скорее! — опять крикнул Белопухов.

Старичок ринулся к экипажу, что стоял позади автомобиля, вскочил в него, уселся.

— Лакей даже теперь боится сесть рядом с царем! — ехидно сказал чей-то голос.

— Ну, кто здесь поедет? — спросил Белопухов.

Старостин молча влез на место рядом с шофером. Доктор Боткин — высокий, плотный, в пенсне — что-то сказал царю на чужом языке, отошел к экипажу, где уже сидел лакей.

Автомобиль фыркнул, двинулся, переваливаясь на неровностях. Экипажи быстро мчали за ним. А вокруг скакали конные милиционеры и красногвардейцы. Кучки народа стояли молча на улицах.

Кортеж быстро въехал на холм к дому Ипатьева, остановился у парадного крыльца. Царь и Старостин одновременно вышли из автомобиля. Царь подал руку жене, дочери, высадил. Они, мельком оглядывая дом и разговаривая бодро на языке незнакомом, пошли по лестнице. «Птичка в крепкой клетке» — подумал Старостин, когда за царем закрылась дверь.

(Продолжение следует)

# Два стихотворения

НИК. ТАРУССКИЙ.

1.

В могилу тех, кто не слышит гула ми-  
ров,  
Открыли ветры старую мира дверь  
И с петель сорвали. О, если ты не готов  
Быть с ветром в согласьи, ты — нежи-  
вой, поверь!

Земля, как заряд из орудия, мчится  
в бой,—  
Неотвратно, бесслезно и ты — за ней.  
И в этом полете нельзя захватить с со-  
бой,  
Пускай материнских, но мертвых, как  
осень, дней.

На братственном пире проснувшихся но-  
вых стран

Осенние листья навеки стряхнет земля,  
И южное тихое солнце на ураган  
Дохнет миротворно, дождавшихся ве-  
селя.

О, трудные годы, какие и гордость, и  
честь  
Весной дожидаться единственных лет-  
них гостей...  
И в двери столетий войдет человек, как  
он есть,  
Не в силах понять наших бед и любви,  
и смерти.

24.XII.30

Пенджикент.

2.

Прочь, старость! Зачем нам стареть, за-  
чем  
Голосом, заикающимся и шепелявым,  
Жизнь отрицать и бранить для поэм.  
От которых ни чести, ни славы!

Трудно с болью и с кровью сдирать с  
себя  
Привычное каноническое убранство.  
В лед бессониц, тоскуя, томясь, любя,  
Лечь на рельсы безлюдных станций.

И — опомниться. Опоздал состав —  
Не дождешься. Мгла. Дождь. Зеленый  
Огонек семафора, как сердце трав  
И весны, возник отдалённо.

А, надежда? Да — жить! Да — жить!  
Да — жить!

И уж умер тот. Навсегда. Не встанет.  
Жизнь стбит за плечом. Горят этажи

Станционных зданий в тумане.  
Ну, крепись! Мы в суровое время  
сквозь  
Голод, мрак, смерть, ад, ветер, пули  
Пронесли свою жизнь, любовь и злость  
Не затем, чтоб они уснули.

Не жале! Не раздумывай, что не ты,  
Что не тот из оврагов детства,  
С рельс поднявшись, уходит из темно-  
ты,

Позабыв про свое наследство.

Там намчало. Там поездом напролом  
Режет мрак, дождливый и строгий.  
Время, век мой, дай рывку, пойдём, пой-  
дем:

Нам с тобой по одной дороге!

13.IV.31. Москва.

# Рассказы о походе „Седова“

И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ

## Проводы

Я сижу в каютке, загруженной ящиками и чемоданами моего спутника и будущего сожителя, предназначенными для ботанических сборов на берегах неисследованных земель и островов, которые нам предстоит посетить. Я сижу у стола, кое-как уместившись на ящике с бумагой для сушки растений. За дощатой стенкой каюты, покрытой непросохшей краской, вздыхает машина. В открытом иллюминаторе плывут заваленные лесом, маслянисто-желтыми штабелями досок берега Двины, краснеют высокие борта пароходов-купцов. До выхода в море нас провожают два катера, переполненные молодежью. Иногда катеры равняются с «Седовым», стоящие в них машут шапками и кричат враз:

— Сча-стли-во-го...

И ветер слышнее доносит последнее слово:

— ...воз-вра-ще-ни-я!..

Проводы были торжественными. На Красную пристань, где догружался «Седов», к часу отхода собралась большая толпа. На палубе, заваленной экспедиционным снаряжением, на спардеке, на каменной набережной толклось множество знакомых и незнакомых людей. Последними прибыли собаки. Их веди по городу на сворках. Архангельский серый денек собакам показывался невыносимо жарким. Они бежали с высунутыми языками, тесно сомкнувшись, трясая свалявшейся в комки шерстью. На палубу их перекидывал промышленник Журавлев. Он хватал их за косматые холки и, как баранов, бросал на руки стоявшему у сходни матросу.

С великим трудом я продрался сквозь густую толпу, теснившуюся к сходням. Похожий на старинного гимназического учителя маленький старичок с круглыми очками на носу, стоя на разбитой бочке с цементом, остановил меня и, осторожно взявши за локоть, смотря мне в лицо поверх очков, спросил:

— Позвольте у вас узнать, вы не боитесь отправляться в столь рискованное путешествие?

Я посмотрел на осторожного старичка, глядевшего на меня с самым искренним сожалением.

— Не бойтесь? — многозначительно повторил старичок.— Вот если бы вам «Красина» или «Малыгина» дали, тогда—дело другое... А «Седов» для такого похода не годится, его, знаете, непременно раздавит во льдах...

Я успокоил заботливого старичка тем, во что продолжал верить во вся времена: погибнуть можно отлично, лежа дома на боку в постели. К тому же «Седов» не настолько плохая машина и в прошлом году отлично выдержал большой и трудный поход...

Меня не испугало мрачное предсказание осторожного старичка. Я знал, что путешествие в полярные страны нынче стало обычным делом. Однако предстоящий поход может стать и в самом деле исключительно тяжелым. Всего шестнадцать лет назад экспедиции лейтенанта Седова (именем которого назван наш ледокол) понадобился целый год, чтобы добраться до берегов Земли Франца-Иосифа. Мы этот путь обязаны пройти в несколько дней. Но не в этой части предстоящего путешествия главнейшая трудность нашей задачи. Наибольшие трудности нам предстоит

во второй и основной части нашего путешествия — в походе к западным берегам Северной Земли. До сего времени ни одно судно не решалось проникнуть в северную часть Карского моря, почти всегда наполненного непроходимыми льдами.

Собираясь в путешествие, я представлял себе возможные опасности такого похода. О возможности зимовки во льдах каждый участник экспедиции был предупрежден. То, что экспедиция отправлялась на судне, приспособленном для плавания во льдах («Седов» принадлежит к типу ледокольных пароходов, т.-е. он значительно слабее настоящих ледоколов, типа известного «Красина», могущего справляться с более тяжелыми льдами), облегчало задачи похода, но не убавляло опасности вынужденной зимовки. Деревянное судно Нансена «Фрам», совершившее знаменитое путешествие и построенное специально для плавания во льдах, имело прекрасные теплые помещения и было оборудовано со всею возможною тщательностью<sup>1)</sup>, а кроме того, обладало исключительным качеством, необходимым при вмерзании в лед: при напоре льдов деревянный корпус «Фрама», имевший форму яйца, легко выдавливался на поверхность. «Седов», построенный из листовой стали, имеющий обычный пароходный корпус и плоское дно (в отличие от обыкновенного парохода «Седов», кроме особенного устройства передней части, служащей для «залезания» на лед, и особо прочных носовых креплений, имеет броневой пояс, проходящий по всей ватерлинии и предохраняющий корпус от ударов льдин), этим спасительным качеством, разумеется, не обладает. Подвергшись сильному сжатию, будучи стиснут в ледяных тисках, он неминуемо будет раздавлен, как по-

рожняя коробка от консервов. На «Седове» нет помещений, сколько-нибудь приспособленных для зимовки, нет теплой обшивки и нет печей. Стальные листы — плохая защита от лютых морозов, особенно когда котлы будут погашены и остановится паровое отопление.

— Успех похода целиком зависит от состояния льдов в северной части Карского моря.

— Этак пятьдесят процентов за то, что мы зазимует!

Такие слышал я разговоры и, признаюсь, радовался этому мало.

Катеры провожали нас до выхода в море. В последний раз над нами поднялись руки с фуражками и слабые донесли голоса. Отходили бурые, заваленные бревнами, засыпанные древесной корою, плоские берега. Синевел дальний лес.

Перед последнею остановкой у контрольного пункта на палубе был открыт тайком схоронившийся «заяц», оказавшийся молодым человеком без шапки и в сандалиях на босу ногу. Он сидел между ящиков, прикрывшись листом «Известий» и старательно делал вид, что занимается чтением. В сумятице последних минут никто не обратил внимания на человека, увлекшегося чтением газеты. Только спустя долгое время, осматривая палубу, помощник капитана заметил высовывавшиеся из-под газетного листа неведомо кому принадлежавшие ноги в драных сандалиях. Помощник приподнял угол газеты и поинтересовался:

— Вы кто будете?

— Я — начинающий путешественник, — храбро ответил обладатель ног в сандалиях. — Я хочу попасть в Арктику и охотиться на медведей.

ло лишних. Быть может, существенным недостатком нашей экспедиции было ее многолюдство. Всех с плотниками, экипажем и зимовщиками насчитывалось около семидесяти душ. Страшно подумать, что произошло бы во время зимовки, особенно когда я знаю теперь, что эта зимовка была на носу. Подуй западный ветер, прижми к берегам льды! и «Седов» посейчас оставался бы у неведомых островов Северной Земли. Единственным спасением мог быть поход по льду. Но в условиях наступающей полярной ночи, при полном отсутствии средств передвижения поход этот мог закончиться печально.

<sup>1)</sup> Опыт серьезных полярных путешествий учит величайшей осмотрительности. На «Фраме» было все предусмотрено до мельчайших мелочей. Особенно Нансен заботился о создании возможного комфорта, облегчавшего людям проводить с наименьшей растратой сил долгие месяцы полярной ночи. Нансен хорошо понимал, что только сытые, здоровые и вполне бодрые духом люди способны на труд и подвиж, поэтому сделал все, чтобы укрепить в своих спутниках бодрость духа и хорошее настроение. Конечно было соблюдено наиглавнейшее условие — подбор людей. На «Фраме» не бы-



— В этих самых сандалиях предполагаете охотиться? — иронически улыбаясь, спросил помощник, оглядывая с ног до головы решительного путешественника.

— Я интересуюсь Севером и хочу плыть на «Седове», — не робея перед взглядом начальства, настойчиво заявлял молодой человек.

Плавание отважного полярного путешественника закончилось в контрольном пункте. Люди в зеленых фуражках увезли его на берег. Это был последний архангельский житель, с которым мы попрощались.

— Подождите, выйдем в море, еще кто-нибудь вылезет, — сказал за обедом старший штурман. — Они надоели мне, каждый день приходили проситься...

К счастью, предположение старшего штурмана не оправдалось. Больше никто не вылезал. Мы идем морем.

### В море

Сегодня останавливались у Сосновца. Голый каменный остров. Видны камни, обломки скал. На берегу маяк, мачта заглухой радиостанции. Зеленеет жалкая травка.

От берега, ныряя, отошла шлюпка. В ней сидел единственный человек. Через полчаса он поднялся на палубу. Его лицо, заросшее давно небритой щетиной, посиневшие от холода руки были забрызганы соленой водой. Он был в одной легкой курточке, застегнутой на медные пуговицы с якорьками. От него веяло тоскою.

— Как вы здесь живете? — спросил кто-то.

Он посмотрел, и в выражении его глаз почувствовалось равнодушие ко всему окружающему.

— Помаленьку. С харчами туго. Теперь я один. Начальник в отпуску. Приходится и маяк зажигать, и печи топить, и обед стряпать. Живем...

Маячному человеку оставили кучу писем для передачи на берег. Он брал их мокрыми руками и совал в карман. Прощавшись, он спустился по штурмтрапу. Уходя в море, мы долго смотрели, как, разрывая последнюю связь с человеческим миром, колышетесь, ныряет на зыби крошечная шлюпка...

Сейчас идем открытым морем. На корабле помалу устанавливается порядок походной жизни. На палубе немного утряслось, можно кое-как пробраться на нос, не рискуя быть раздавленным насмерть. Мы тоже разместились в наших временных каютах. Помещение, где устроены для нас каюты, называется твиндеком. Это нижняя палуба над машинным отделением. Весною, когда «Седов» отправляется в зверобойный рейс, здесь размещаются промышленники-зверобойи. Тогда здесь еще темнее. Палуба, деревянные перегородки насквозь пропитаны ворванью и кровью.

В нашей каютке пока трое. Мне выпала судьба жить с ботаником и орнитологом. Сегодня я с большою старательностью стелил на еще пачкающуюся непросохшею краской койку белье. Долго ли это белье останется чистым? Сегодня же мы получили негаданный душ с потолка. По наведенным справкам оказалось, что над нашими головами помещается каюта старшего механика. Это значит, что нам придется принимать душ столько раз, сколько раз на день будет наверху умываться старший механик...

По выходе из горла Белого моря начало покачивать. Изредка встречаются иностранные купцы, идущие в Архангельск. Двух или трех, груженных лесом, мы обогнали. Видно, как их кладет и качает идущая с норда зыбь.

Наши кое-кто укачались. Особенно корреспонденты. В их каюте лазарет. Как прямое следствие — за столом было свободно.

Помалу я приглядываюсь к обстановке. Идут собственно три экспедиции: основная, которая должна воротиться, и две партии зимовщиков — на Землю Франца-Иосифа и Северную Землю. Первая партия довольно многочисленная, вторая — всего из четырех человек.

Мне особенно приятен начальник североземельской группы. Этот человек заслуживает уважения. Прошло несколько месяцев, как он вернулся из трехгодичной зимовки на острове Врангеля. Теперь он идет зимовать на Северную Землю. Не шуточное дело — остаться жить на голой земле, где не ступала человеческая нога и до которой еще не добиралось ни одно судно. Североземельцы везут с собою снаряжение на три го-

да и маленький домик. Самое приятное, что их группа держится плотно. И мне симпатичен начальник, человечески трогательно прощавшийся на берегу с женой. Он, повидимому, всегда спокоен и уравновешен. Это самое необходимое качество для полярного исследователя. В нем я не заметил рисовки и поэмы. Будет приятно пожать на прощанье его руку.

Пока мы были на берегу, все казалось непоправимо сумбурным. Теперь мало-помалу корабль приходит в порядок. Наверху установились строгие вахты, шагают из угла в угол вахтенные. «Седов» представляет удивительное зрелище. На всех палубах, на люках трюмов до отказа навалены всевозможнейшие грузы. Нужно преодолеть множество препятствий, чтобы попасть с кормы на нос или обратно. На передней палубе у правого борта разместился скотный двор. С мостика видны красные и бурые спины, спокойно помахивающие хвосты. Качку коровы переносят с большой стойкостью. Труднее лошадям, которым не нашлось места. Покачиваясь на широко расставленных ногах, они стоят между лебедкой и кнехтами и очень редко притрагиваются к сену, лежащему на мокрой палубе. Соленые брызги дождем падают на их спины. От «скотного двора» широким потоком расплывается по палубе навозная жижа. Жители правого борта жаловались, что принятый ими душ имеет весьма неприятный запах. Это будет похуже душа, падающего на наши головы из умывальника старшего механика.

Быстрее всех освоились с морской обстановкой собаки. Теперь их выпустили на волю из тесных загоронок, и они свободно разгуливают по палубе. В их характерах много комического. Ни одна из них ни за что не уступит дороги проходящему человеку. Они очень скоро развели, где помещается кухня, и целый день толпятся у полураскрытой камбузной двери. Их главное занятие — драки. Иногда они по целым часам способны неподвижно стоять друг против дружки и, не двигаясь с места, угрожающе рычать. Такое занятие доставляет им большое удовольствие. К людям они относятся мирно. В отличие от наших собак они не отделяют своих от чужих и в сторожа не годятся. Маленькая

дворняжка «Самоед», взятая на корабль механиком, кажется и умнее, и сообразительней каждой из них...

Вот наш установившийся распорядок. Утром в переполненной кают-компании завтракаем и пьем чай. Самоваров и прочих домашних принадлежностей, разумеется, нет. Чай пьем из большого медного чайника, который приносит ухаживающий за нами буфетчик Иван Васильич. Этот замечательный человек заслуживает особого описания. Нет никакой возможности уследить, когда он успевает отдыхать. В завтрак, в обед, в ужин (мы за недостатком помещения вынуждены обедать и ужинать в три смены, и стол в кают-компании почти не пустует) он пестушкой на своих коротеньких ножках неутомимо носится вокруг стола. Перед каждой сменой он поспекает убрать, вымыть и опять принарядить стол. Любовь к порядку — главное качество Иван Васильича. С сокрушенным видом глядит он, когда кто-нибудь залезает за стол в грязной одежде. «Ох-ох-ох, — приговаривает он архангельским частым говорком, сокрушаясь, — пассажиров много, все скатерти перепачкают, а белья дали мало, стыдно стол накрыть...» Перед каждою сменой он бежит с колокольчиком в руках по всем каютам. Кроме основных обязанностей по обслуживанию многочисленного персонала экспедиции, Иван Васильич обязан ежедневно убирать каюты паровой администрации. Каждое утро, напоив и накормив прожорливую компанию, он бежит по спардеку с метлой и ведеркой.

— Как дела, Иван Васильич?

— Хороши. Вот погодка портится! — скажет он скороговорочкой и побежит дальше.

Трудоспособности его воистину нет пределов. Об Иване Васильевиче рассказывают, что он — вдовец, на «Седове» служит со дня его прибытия в Россию. Он самый упорный старожил на «Седове». На мои вопросы он ответил, что очень любит путешествовать и уже два раза побывал за границей. Англия особенно понравилась ему — порядком и благочинием. «Пиво там крепкое, народ сытый и за всякий пустяк благодарят». Величайшим несчастьем Ивана Васильича в нашем рейсе оказался

его помощник, которого ему всучили перед отплытием из Архангельска. Этот странный человек именует себя художником. Обычное его занятие — стоять у буфетной приложи и улыбаться глупейше. Ивана Васильича «художник» замучил нежеланием что-либо делать. Выведенный из терпения, Иван Васильич христом-богом молил начальство избавить его от нерадостного помощника. «У меня посуда из рук валится, когда смотрю на его личность, — жаловался он мелким своим говорком, переступая с ноги на ногу от вечной привычки хлопотать и бегать, — пусть хоть на глазах не трется, под ногами не путается».

Кстати о «художнике». Молодец этот пристроился на «Седова» нахрапом. В Архангельске он целый месяц обивал у капитана пороги, просясь на службу. Наконец, чтобы отвязаться, его взяли кастрюльником в помощь Ивану Васильичу. Теперь, почувствовав, что берег далеко, он решил ничего не делать. Стоит полюбоваться, с каким высокомерием взирает он на хлопоты Иван Васильича, вынужденного работать за двоих. Сколько в нем высокого презрения к «черной» работе!.. К счастью и облегчению Иван Васильевича неудачного помощника решено снять и при первой возможности отправить в Архангельск на «Сибирякове»...

В каюте — полумрак, пахнет свежесколькою, которую перед отходом из Архангельска кляли веселые щebetливые поденщицы-маляры, масляным теплом, дышащим из машины. В мутном кружке иллюминатора видна линия горизонта. Она то поднимается, то пропадает. Иногда иллюминатор накрывает снаружи волна, и по стеклу долго стекают соленые брызги. За дощатую перегородкой, в твиндеке, заваленном ящиками с лабораторной посудой (что-то будет в хорошую качку!), слышны голоса. Слышнее всех кричит Муханчик, секретарь экспедиции, заведующий охотничьим снаряжением, и голос его разносится по всему твиндеку:

— Выходите, выходите, товарищи, винтовки получать!..

Я уже пристроился на своем месте. Над моею головою, в полуаршине от лица, большой железный выходящий на палубу круг. Наверное в мороз он

будет отпотевать, и на голову польется холодный дождь. Что делать: полярные путешествия, говорят, приучают к большому терпению...

Мне искреннее удовольствие доставляет наблюдать, как мой сожитель-ботаник устраивает внизу свое аккуратное хозяйство. Он достает флакончики, бесчисленные коробочки, аккуратно обернутые книги и почти с женскою старательностью раскладывает все это на полочках и на столе, припевая тоненьким голоском, ничуть не идущим к основательному его росту. В его облике что-то пасторское, благополучное. Специальность его — лишайники. Сегодня я многое узнал об этих невзрачных растениях, покрывающих камни и скалы, столь неприхотливых, что их не убивают ни пятидесятиградусные морозы, ни полное отсутствие почвы. Некоторые виды этих растений обладают питательными свойствами и при размоле дают муку, которую с успехом можно примешивать к обыкновенному хлебу. В Европе и Америке есть много любителей-ученых, занятых коллекционированием и изучением лишайников, посвятивших этому значительную жизнь.

Ботаник с таким воодушевлением рассказывал о своем предмете, что я не мог не улыбнуться:

— Скажите пожалуйста, вы наверное не влюблялись и ваше сердце целиком отдали лишайникам? — пошутил я.

— Почему вы так думаете? — ответил ботаник, вынимая из чемодана коробочку с нитками и иголками, тщательно завернутую женскими руками, — я женат, и моя жена тоже ботаник. Ее специальность мхи, и мы почти сходимся в нашей работе. Мы познакомились с нею, когда она оканчивала университет. Впрочем я расскажу вам один случай, соединивший нашу судьбу...

Это было во времена войны с немцами. Ботаник был призван в качестве прапорщика и командовал ротой. Дело было на австрийском фронте, в Галиции. В те времена он уже был ученым. В гисьмах с фронта, которые доводилось писать под завывание снарядов, он подробно сообщал новости о своих ботанических находках. Денщик, ежедневно просматривавший его платье, с упреком говаривал: «Эка, ваше благородие,

все-то людьми ходят, у одного у тебя в карманах нивесть что: мусор да мох...» Однажды невеста написала ему, что готовит работу о белом мхе. Нужно было достать этот редкий мох. Происходит такой случай. Рота молодого ученого посылают в наступление на австрийцев. Он должен идти во фланг неприятелю через буковый лес. В лесу между деревьями рота залегает. Молодой ученый лежит за стволом дерева и вдруг видит — вокруг растет белый мох. Забыв обо всем, рискуя жизнью, он ползает на брюхе, собирает драгоценный мох, который нужен невесте. С флангов слышится стрельба, наступление началось. Фельдфебель подползает к командиру роты и, приложив к козырьку руку, испуганно шепчет: «Ваше благородие, началось, прозеваем!..» — «Обожди минутку...» Он прячет последние кусочки, тщательно завертывает в бумагу и, вынув револьвер, командует роте: «Вперед за мною!..» Все это могло кончиться скверно, но ученому помогает судьба. На встречу выбежавшей из леса роте, бросающей ружья, из окопов стали подниматься австрийские солдаты в голубых шинелях, держа в руках белое знамя, вышел вперед австрийский офицер. «Профессор зоологии пражского университета...» — отрекомендовался австриец, протягивая саблю. «Приватдоцент петербургского университета, ботаник такой-то...» — сказал в ответ русский. Они пожали друг другу руки. Все кончилось счастливо. Без единой капли крови батальон австрийцев сдался в плен; командир полка, вовремя схоронившийся в кустах, получил награду; белый мох был послан вместе с предложением руки и сердца; австрийский профессор был удовлетворен тем, что освободился от тяготившей его войны...

Рассказ ученого о белом мхе мне понравился, и, выслушав историю женитьбы, я попросил написать в мой дневник латинское название этого диковинного растения, осчастливившего человека. Ботаник, взяв карандаш, смеясь, написал: «Белый мох — *Leucobryum glaucum* L.»

### Новая земля

Чем дальше мы подвигаемся к северу — синее и синее в море вода. Ге-

перь вода имеет глубокий, зеленоватосиний цвет. Точно такой цвет воды я видел у знойных берегов Африки, в Атлантическом океане. По словам наших гидрологов, это — теплая ветвь Гольфштрема, Нордкапское течение, омывающее лапландский берег, имеющее громадное влияние на режим льдов и развитие подводной жизни Баренцева и Белого морей. Здесь, несмотря на приближение к северу, температура воды повышается с каждым часом.

Мы идем к южному берегу Новой Земли, где должны взять двух промышленников для зимовки на Земле Франца. Путь этот (мы уже давно отклонились от обычного пути кораблей, идущих из Архангельска в Европу, и море перед нами пустынно) хорошо известен капитану, исходившему вдоль и поперек суровое Баренцово море, первыми исследователями которого были вольные новгородцы, ходившие в море на смоленых ладьях и ставившие меты-кресты на каменных берегах Новой Земли, тогда еще неизвестной европейцам.

Новую Землю — пустынный и большой остров, изобилующий зверем, — стало заселять еще царское правительство семьями промышленников-самоедов. Заселение Земли производилось столь бездарно, что первое же поселение, место для которого было выбрано неудачно, вымерло и распалось, а на его пепле остались одни могильные кресты. Дальнейшее заселение Новой Земли началось уже при советской власти. Теперь на берегах Новой Земли находится несколько постоянных и временных становищ, где безвыездно живут семьи промышленников с женами и детьми, имеется больница и школа, исполком, председательствует в котором самоучка-художник Илья Вылка, хитрый, себе на уме, самоед. Нынешний год, по словам промышленников, был особенно богат добычей песцов, присутствии которых зависит от обилия маленьких мышшей-пеструшек, которыми почти исключительно кормится песец. Некоторые наиболее энергичные промышленники взяли за зиму по несколько десятков ценного зверя. В переводе на иностранную валюту добыча промышленников Новой Земли составляет внушительную сумму. Кроме промысла песка, которого охот-

ники берут зимою в ловушки и ружьем. новоземельцы в изобилии промышляют морского зверя, тюленей и белух, изредка белых медведей. Добыча по твердым ценам сдается агентству Госторга, снабжающего колонии продовольствием, оружием и одеждой. (Сказать кстати, в новоземельском «универмаге» мы в изобилии нашли даже «дефицитные» продукты, например кофе. Вообще население Новой Земли питается не в пример сытнее нашей «большой» земли<sup>1)</sup>).

В губе Белушьей мы остановились в полумиле от берега. Сквозь сетку дождя видны плоские, точно подрезанные сверху горы. Белые пласты снега вкраплены в них как серебряные сверкающие латы. Налево — скалистый остров, заселенный птичьим базаром. Его отвесные берега, как белой известкой, залиты птичьим пометом. Над темной водою то и дело проносятся стайки нырков и скрываются за откосом туманного берега, на вершине которого маячит поселковое кладбище — редкие и покосившиеся кресты. Дикие гуси низко пролетают над аспидно-черными волнами.

С несколькими спутниками я с'ехал на берег. Мы оставили шлюпку на берегу у амбара, крыша которого была сплошь обложена тушками убитых птиц, предназначенными для корма собакам, а на стенах, мездрю наружу, были распялены блестящие жиром шкуры белух. На берегу подле строившегося сарая, работали плотники. Они сидели в рубашках верхом на бревнах и, поблескивая топорами, рубили углы. От них знакомо и приятно пахло смолою и дымком махорки.

Несколько больших, казенного типа скучноватых домов высилось на голом взгорке. Поселок был похож на железнодорожную станцию. По нарастающему грязному сугробу мы поднялись на взгорок. Здесь все напоминало весну, наш поздний апрель. По пригорку, засеянному перезимовавшим собачьим пометом, зеленела коротенькая травка

<sup>1)</sup> В нынешнем году на Новой Земле открыто несколько новых становищ. Заселяется северная, донные почти нетронутая часть острова.

и бродил единственный бородатый белый козел.

Мы выбрались на берег несколько в комическом виде, вооруженные с ног до головы, с винтовками и в тяжелых кожаных шубах. А все здесь обозначало обычную и давно обжитую жизнь. В окошке деревянного дома, мимо которого мы проходили, белела кружевная занавеска, и за нею житейски блестяли шишечки двухспальной кровати. Лицо любопытствующей женщины в белой косынке показалось в окне на минуту и скрылось. Другая женщина, накинув на голову теплый платок, с ведеркой в руках, перебежала с крыльца на крыльцо.

На улице нас кольцом окружили собаки. Они виляли хвостами и, повидимому, ни малейшего желания не имели признавать в нас чужих. (Вообще ездовые собаки, воспитывающиеся в обстановке, где нет необходимости охранять дом и хозяйское имущество, в отличие от наших собак не годятся в караульщики. Чужого они встречают, как своего, и каждого человека готовы почитать своим хозяином. К слову пришлось, собаки, виденные нами на Новой Земле, были из рук вон плохи. Большая часть из них — простые дворняжки и никакого отношения к настоящим ездовым собакам не имеют. Вообще новоземельцы обращаются с собаками жестоко, бьют в езде беспощадно, а самый способ новоземельской запряжки «веером», несмотря на лихое хвостовство ездовых, имеет большие недостатки.) Следуя за спутниками, я прошел к домам промышленников-самоедов. На вытоптанном собаками и людьми берегу по колено в воде бродили два маленьких самоеденка. В своих меховых костюмах с растопыренными глухими рукавами они удивительно были похожи на пингвинов. Их мать, похожая на двенадцатилетнюю девочку, одетая в малицу, с ребенком в руках сидела под амбаром на камне. Возле нее лежала собака и копошились слепые, повизгивавшие и сосавшие щенята. Ребенок тянулся с рук матери к щенятам, махал ручонками и смеялся.

Нам она улынулась, поправила черные, блестящие на открытой голове, стриженные в скобку волосы. На ее,

смуглом личике чернели раскосые глазки. Ее муж, такой же маленький и простоволосый, с коричневой, высовывавшейся из малицы головой, выказывая плотные зубы, радостно улыбался и беседовал по-самоедски с промышленником Журавлевым, идущим с нами на Землю Франца-Иосифа и много лет зимовавшим на Новой Земле. От приятелей по весеннему воздуху уже пахивало сорокоградусной. Из дома они вышли, чтобы поупражняться в стрельбе из винтовки, которою хвастался Журавлев. Они по очереди стреляли в брошенную на воду чурку, и падавшие пули вспенивали воду. Самоеду стрельба доставляла большое удовольствие (к своему «орудию производства» — оружию и умению с ним обращаться промышленники относятся с таким же уважением, как крестьянин к плугу). Он был серьезен, хлопал по плечу Журавлева, метко попадавшего в колыхавшуюся на волнах чурку, заменявшую голову тюленя, и одобрительно говорил:

— Холосо, холосо!..

Чтобы посмотреть на внутренность жилища, я зашел в избу, где жил с семьею пригласивший нас самоед. Это была просторная, довольно чистая изба, разделенная на две части. У порога стояло ведро, наполненное птичьими яйцами и лежали окровавленные тушки птиц. У стены на полу сидела маленькая женщина, а в углу, под нарами, завалившись навзничь и откинув голову, мертвецки спал молодой самоед. Во второй чистой комнате, куда направились гости, домашне блестел самовар, и на бревенчатых, еще не потемневших стенах висели разноцветные плакаты, изображавшие человека с разинутым ртом и сберегательной книжкой в руках. Пол в обеих комнатах, стены и подоконники были до блеска пропитаны звериным салом.

В руках Журавлева появилась новая бутылка, и глаза самоеда заиграли. Чтобы не мешать дружеской встрече и не смущать приятелей своим присутствием, я поспешил выйти на волю.

Еще раз пройдя улицей и полюбовавшись на самоедёнков, похожих на пингвинов, и на их маленькую коричневую мать, возле которой уже возился

со своею треногой кинооператор (к его типу теперь прибавилась немислимо безобразная и пьяная старуха; она размахивала перед объективом сухими, как горелая кость, руками, что-то рассказывала и безобразно смеялась, выказывая единственный желтый клык), я направился к школе. Поднявшись на высокой крыльцо, я прочитал на выкрашенной охрою двери надпись, сделанную детской рукой:

С е в о д н и 6 а п р . п у н о ч к а  
п р и л е т е л и .

Меня растрогала эта детская надпись, говорившая мне о весенних скудных радостях этих мест. В школе было пусто, нахло мелом и нежилым. В опустевших комнатах устраивались какие-то люди, приехавшие для научной работы. На черной доске белели нестертые с зимы цифры.

Признаюсь, осмотр новоземельского зимовья навел на меня тоску. Все было обычно, казалось много раз виденным. Хотелось отойти подальше, побить одному. Я спустился к берегу и пошел вдоль узкой, покрытой галькой косы, к видневшемуся вдаль кладбищу. На берегу, испытывая новые норвежские винтовки, стреляли в мишень промышленники-зверобои. Они присаживались на колена и патрон за патроном выпускали в валяющуюся на берегу бочку.

Я полюбовался на стрелков и пошел на остров, где виднелся сложенный из камней «гурий»<sup>1)</sup> и высились кладбищенские кресты. Остров был открыт с моря. Белые, похожие на мячики, клочья пены, сорванные ветром, высоко подпрыгивая, катилась в гору над покрытой камнями землею и пропадали. На кладбище я впервые увидел цветы — желтые маки и лиловые иммортели, тесно прижавшиеся к холодной земле.

Холмы над могилами были сложены из камней. Здесь глубоких могил не роют, и гроб обкладывают тяжелыми камнями. Из одной могилы торчал угол деревянного ящика, грубо сколоченного гвоздями, повидимому, детский гробик. Высокие деревянные кресты

<sup>1)</sup> Гурием поморы называют особые меты, сложенные из камней, которые служат мореплавателям-промышленникам для опознания места.

были источены ветром и морозною пылью, которую в зимние ночи несет над снегами новоземельский бешеный «восток»... Две белые пуночки, трясая хвостами, юрко бегали по камням. Обойдя остров, набрав на память цветов, нежно пахнувших весной, я воротился к поселку, где наши, закончив дела, уже усаживались в шлюпку.

### Во льдах

Пятый день в море. Вчера стояли в Белушей губе. Бурые новоземельские горы-берега в снеговых белых латах. Над ними — северное небо, плоские облака. Такого неба и облаков я не видел нигде. С суровостью каменных берегов созвучны лица промышленников-поморов, их бледные, как снег в горах, зубы, их серые, как береговой камень-валун, глаза.

Первую новость с новоземельского берега принес промышленник Сергей Журавлев: в Маточкином Шаре на-днях зарезали на «Русанове» человека. Сергей смеется, — лицо обветренное, как камень.

— Совсем зарезали? — наивно спрашивает корреспондент.

— Каши не запросит! — отвечает Сергей, смеясь.

В кают-компанию он приходит высокий, слегка хмельной, с теплым шарфом на шее. Зубы белые, крепкие. Он уже избалован городом, городскою газетною славой (о нем неоднократно и преувеличенно писали корреспонденты). Здесь о нем, о его храбрости будто бы ходят легенды. Их несколько братьев. Когда-то Журавлевы, говорят, держали в руках весь новоземельский промысел. Об этом времени сам Журавлев не любит теперь вспоминать. В нем странная смесь решимости с бахвальством, выносливости с неврастенией. Вчера он вошел хмельной, сияющий.

— Будет туман, Серёга?

— Нет, тумана не будет, — с непоколебимой уверенностью об'явил Сергей.

А сегодня и дождь, и туман, — долго стоим недвижимо...

Вчера (мы долго стояли неподвижно в тумане) капитан за вечерним чаем рассказывал в кают-компании о про-

мышленниках Новой Земли, о сказочных ее промысловых богатствах. Несколько лет назад переселился на Новую Землю один небогатый помор. Были у помора штаны и женка. Стали они жить, стали помалу промышленять. Прожили на Новой Земле год и другой, и третий. Народили детей. Поднялись сыны, как кряжи в темном лесу, — один к одному. С сынами дело пошло складнее. Отец власть держит, сыны ходят в море. Так скопили они денег на покупку большого парусного судна, купили юлу, стали промышленять трескою. И в первый же год столько наловили трески, что и на пароход не поднять. Продали улов за хорошие деньги, а разбогатевши, порешили делиться. Отец сам делил сыновей: «Это тебе, Федор, это тебе, Миколай, это тебе, Иван...» Разошлись сыны от отца, построили каждый себе большие дома. А старик остался с дочкою, принял в дом с берега зятя. Зять попался тоже работяга, непьющий. Опять потекли к старику деньги. Уж в военное время раз встречается капитан старикова зятя на рейсовом пароходе. Зять едет в первом классе, развалился на бархатном диване. «Куда, друг, едешь?» — «Еду в Архангельск покупать мотор для судна»... В революцию, когда пришла советская власть, старик сам ездил в Архангельск просить начальство. Говорил, кланяясь:

— Вам рыба нужна? Говорите, сколько вам надобно рыбы. Хотите нагрузим один пароход, хотите два нагрузим... Только оставьте промысел в наших руках, а мы рыбой накормим...

Вечером последний раз остановились у Кармакульского становища. Здесь по предварительному сговору нас ожидал второй новоземельский промышленник, идущий на Землю Франца.

Туман, ветер и дождь были такие, что на палубу не хотелось показывать носа. Шлюпка, отойдя от трапа, скрылась в серой пелене дождя и тумана. Сквозь сетку дождя смутно виднелся берег...

Позднюю ночью приехали с берега гости. В темноте они поднялись по трапу. С гостями были две женщины и ребенок. Одна из них, скинув мокрую

шубу, оказалась в летнем, без рукавов, легоньком платье. Она уже вторую зиму безвыездно жила на Новой Земле, и приход «Седова» с людьми был для нее событием. Собравшись на пароход, она оделась, как городские женщины одеваются перед театром. На ее зазябшее, покрытое каплями воды лицо и посиневшие голые руки нельзя было смотреть без улыбки.

— Скучно было зимовать?

— Сначала было скучно, теперь привыкла, — бойко, немного кокетничая, ответила женщина. — Теперь уезжать отсюда не хочется...

— Ну, это вряд ли?

— Ей-богу, не хочется.

Женщина очень скоро освоилась и отогрелась. Она пила чай и рассказывала о скудных радостях новоземельской жизни. Ее спутница, жена отправившегося с нами промышленника Кузнецова, держа на руках ребенка, молчаливо сидела в углу, ослепленная ярким светом, смотрела на окружавших ее людей.

Сам Кузнецов вместе с Журавлевым устраивал на палубе собак. Они пришли мокрые, возбужденные, пахнущие ворванью и псиной. Весь багаж Кузнецова состоял из одноствольного дробового ружья, мешочка с патронами, меховой малицы и нескольких собак, приехавших с ним в шлюпке. Со своими собаками промышленник не хотел расставаться. В кают-компани, наполненной людьми, ярко освещенной электричеством, он показывался суровым и молчаливым. Присев к столу рядом с женою, он взял на руки маленького сына, родившегося и росшего на Новой Земле. Новоземельский гражданин настойчиво тянулся к конфетам, которые высыпал перед ним на стол хлопотавший и успевавший заботиться обо всех Иван Васильич. Маленькому новоземельцу особенно понравились конфеты с белым медведем, нарисованным на обертке.

— Видать, что промышленник растет.

— Как звать-то?

— Владимир.

— Ну, Владимир, дождайся, — отец через год вернется, гостинцев привезет...

Меня особенно удивила необычайная простота и легкость, с которою промыш-

ленник собрался в далекое и длительное путешествие. В самом деле, — казалось, что человек отправляется на неделю навещать соседнее становище. Ни малейшего следа беспокойства и волнения не было заметно на лице его.

— На это у нас смотрят просто, — объяснил капитан, — здесь люди привыкли не считаться с большими расстояниями, а лишнюю зимовку считают ни во что. Бывает, что зимою люди приходят пешком из становища в становище. Верст двести через бурю и снег темной ночью отмахает запросо человек только для того, чтобы запастись табаком или поделиться последними новостями. И никто не смотрит на такой поход, как на подвиг...

Мы простились с последними обитателями Новой Земли, и, подняв якорь, «Седов» взял курс теперь уже к Земле Франца.

Покачивало еще вблизи берегов, а чем дальше уходили мы в море, — ветер и зыбь прибывали. Корреспонденты не показывались из кают. Особенно туго пришлось экспедиционному доктору, каюта которого находилась в кормовой части. Борясь с морекою болезнью, доктор добровольно наложил на себя самый строжайший пост и вместе с матрацем и подушкою переселился под трубу на верхнюю палубу — под ветер и дождь. В кожаной меховой шубе, бледный как с погосту мертвец, он представлял собою весьма печальное зрелище.

Уж волны нет-нет перекатывали через палубу, доставляя удовольствие кинооператору, спешившему за время заготовить кадры «страшного шторма». Тяжелее всего доставалось несчастным лошадям, стоявшим на палубе без всякой защиты от непогоды. Широко расставив скользившие по железной палубе копыта, переваливаясь и дрожа, засекаемые брызгами, они стояли понуро, не дотрагиваясь до сена. Собаки приспособились скоро. Они с удивительной ловкостью удирали и прятались от накатывавших на палубу волн, разливавшихся шумным и пенистым потоком. Некоторые из них, не обращая внимания на потоки катавшейся по палубе воды, успешно занялись охотою за ковроками, вывешенными для проветрива-



ния на вантах. С мостика можно было отлично наблюдать, как с ловкостью цирковых акробатов они с разбегу подпрыгивали на трюме и, уцепившись зубами за мясо, оставались подолгу висеть с дрыгавшими по воздуху ногами...

Невесело пришлось и нам, обитателям злополучного твиндека, где были расположены наши каюты. То-и-дело мы были вынуждены принимать холодные души лившейся с потолка воды. Не помогли ни подвешенные к потолку ведра, ни другие принимавшиеся нами экстренные меры. Вода бесцеремонно гуляла по палубе, заливала столы, вещи, глубокими лужами скоплялась на постельных одеялах. К довершению несчастий и одолевавших нас неудобств, вызванных качкою, в переднем трюме опрокинулась и разлилась пудовая бутылка с формалином, и зловонная жидкость, наполняя удушливым запахом каюты, расплылась по всему твиндеку...

Чем дальше мы уходили в море, — злее свирепствовала на корабле морская болезнь. Кажется, всех лютее страдала единственная пассажирка «Седова», жена начальника станции на Земле Франца, ехавшая на зимовку. Сквозь тоненькую перегородку, отделявшую наши каюты, я был слушателем мучений и женских воплей, раздиравших душу, и изо всех сил старался не показывать виду, что столь близко находится невольный свидетель... Тяжелые неприятности качки спокойно выдерживали моряки, не желавшие даже почитать погоду за большой шторм, да некоторые из участников экспедиции, чувствовавшие себя отлично. Счастливы с двойным аппетитом садились за опустевший стол, вокруг которого с прежнею заботливостью хлопотал неутомимый Иван Васильич, кажется, и не замечавший никакой качки. Вскоре наиболее крепившиеся из подверженных болезни принуждены были сдать... Вот, не справившись с трескою, любовно подложенной рукой Ивана Васильича, и, заливаясь медленной бледностью под здоровым загаром, поднялся и побежал к выходу Ушаков, и обедающим было слышно, как к удовольствию дежуривших у входа собак приостановился на самом пороге. Вот, неожиданно отказавшись от супа и положив ложку, по-

глаживая великолепную бороду, вышел из кают-компании начальник экспедиции Шмидт, впрочем лишь для того, чтобы получше полюбоваться видом бушующего моря...

Редкие айсберги, имевшие цвет кристаллов медного купороса, начали встречаться уже на широте Мыса Желания. От близости кромки, ширины ледяного пояса, загораживавшего подступы к Земле Франца-Иосифа, зависел успех похода.

Множество разнообразных, не вполне изученных причин влияет на характер и распространение полярных льдов. рядом длительных наблюдений установлено, что режим льдов, наполняющих безбрежные полярные пространства, подвержен периодическим и закономерным колебаниям. Бывают периоды многолетнего похолодания, когда льды как бы спускаются к югу. В такие годы плавание по северным морям становится особенно трудным и опасным (так исключительно тяжелыми в ледовом отношении были годы, предшествовавшие мировой войне, — в этот период погибло несколько полярных экспедиций, затертых льдами уже в незначительных широтах).

Мало-мальски опытный глаз уже по одному цвету безошибочно определяет географическое происхождение льдов. Так, ледяные пловучие горы, отколовшиеся от мощных глетчеров Новой Земли, имеют только им принадлежащий ярко-синий, почти купоросный цвет. Пловучие льды Земли Франца бесцветны. Большинство айсбергов, встречающихся у берегов Земли Франца-Иосифа, имеют так называемую столообразную форму и в самом деле похожи на большой стол, накрытый белой праздничной скатертью; пловучие новоземельские горы нам встречались самых неожиданных и поражающих форм. Вообще почти невозможно описать неожиданную яркость и красочность (особенно небесных изменчивых тонов) полярного ледового мира, который прежде я представлял застылым и неподвижным.

Приближение кромки нам показала падавшая температура воды на поверхности моря и особенный, пахнувший ве-

сною, мартовскими полями, дувший в лицо ветер. На близость больших ледяных полей указывало и особое висевшее над льдами белёсое и как бы застывшее «ледовое небо». Отдельные, точно обсосанные льдинки попадались все чаще. Опять в изобилии появились птицы: перелетавшие над водою полярные кайры и белые, колыхавшиеся на ветру чайки.

При появлении первых признаков льдов качка утихла, и на палубе как ни в чем не бывало объявились все наши быстро оправившиеся от болезни страдальцы. Трудно выразить первое впечатление открывшейся перед нами сверкавшей на солнце, показывавшей бескрайной ледяной пустыни. Корабль шел, легко одолевая встречавшиеся пока еще слабые ледяные поля, изредка обходя встречавшиеся айсберги и торосы в белых снеговых шапках, оставляя на разбитых льдинах следы бортовой краски, точно следы свежей крови.

Забыв об обеде (к великому огорчению Ивана Васильевича, звонившего из всех сил), участники экспедиции, совсем оправившиеся от недавних страданий, стояли на палубе, не спуская глаз с сиявших белизною и светом, широко простиравшихся на север ледяных полей. Капитан, стоя на верхнем мостике, осматривал горизонт в большой укрепленный на треноге бинокль и с особенной бодростью командовал рулевому. Впечатление белизны, необычайности усиливал яркий свет незаходящего солнца. Потоки зеленоватой, кипящей пеною воды выливались на лед из-под железного носа ледокола и заливали белый нетронутый снег.

Чем дальше мы уходили во льды, чаще попадались на льдинах, на белом рассыпавшемся снегу расплывшиеся следы медведей. Звери, повидимому, бродили близко. Всем хотелось поскорее увидеть первых медведей, и добрый десяток биноклей неотрывно ошупывал сверкавшие белизною, покрытые ропками и торосами<sup>1)</sup> дали. Медведи объявились, когда их перестали ждать. Многие находились в кают-компании за ужином,

когда кто-то принес с капитанского мостика весть:

— Медведи! Медведи!..

Ужинавшая смена, оставив непочтатые тарелки, выбежала на мостик. Оттуда действительно было видно, как хозяйски-неспешно, не обращая внимания на корабль, гуськом пробирались три медведя, казавшиеся грязновато-желтыми на иссиня-белом сверкающем фоне снегов.

## Медведи

Первых зверей встретили мы на пути к Земле Франца-Иосифа во льдах, недалеко от кромки. Я стоял на верхнем мостике с капитаном, смотревшим на окружавшие нас освещенные полуночным ярким солнцем льды. Мне, новичку, все было необыкновенно в этом сверкающем ледяном мире: и высокое полярное небо, и незаходящее солнце, и ослепительный снег, и голубые, лежавшие на снегу тени. Капитан ходил по мостику из угла в угол и приказывал внизу рулевому. Слышалось то-и-дело:

— Лево на борт!

— Право!

— Так держать!

И снизу отвечал глухой голос вертевшего штурвал рулевого:

— Есть. — Право. — Так держать.

«Седов» осторожно пробирался в окружавших его льдах, нащупывая путь. Иногда он бил в лед с разгону, лед под форштевнем ломался и трескался, и тогда по железным, тяжело содрогавшимся бортам скрежетали огромные кувыркавшиеся в воде льдины. На многих льдинах на покрывавшем их мокром снегу отчетливо были видны медвежьи следы, похожие на следы человека в лаптях. Медвежьих следов было множество, свежих и расплывавшихся старых, и я не сходил с мостика, ожидая увидеть первых зверей.

Первым заметил медведей сам капитан. Он все время осматривал льды, и опытный его глаз еще далеко приметил подвигавшихся посреди ледяного застывшего мира зверей.

— Смотрите, идут медведи! — сказал он, показывая рукою в меховой варежке на восток.

Я стал глядеть в ту сторону, куда показывал капитан. Там все было бе-

<sup>1)</sup> Ропак — отдельные, поставленные на ребро и вмержшие в лед льдины. Торосы — высокие нагромождения таких льдин.

лое и голубое, от яркого света болели глаза, и я не мог разглядеть ничего, кроме бесконечного нагромождения ропаков и белого сверкающего снега.

— Смотрите левее большого тороса. Вот они идут гуськом, вот медведица скрылась. Вот они все взобрались на льдину...

Я напрягал зрение и попрежнему ничего, кроме льдов и белого снега, не видел.

— Посмотрите в бинокль, — сказал капитан.

В большой, прикрепленный к треноге бинокль, служивший капитану на промысле для разглядывания зверя, я со всею отчетливостью, как на картинке, увидел подвигавшееся во льдах семейство медведей. Они шли друг за дружкой гуськом, — впереди медведица и сзади два медвежонка. Очень хорошо было видно, как бредут они неторопливо, то пропадая за стоящими торчком ропаками, то опять появляясь. Иногда медведица останавливалась и, покачивая головою на длинной шее, нюхала воздух. Тогда на общей сверкающей белизне угольно-черною точкой отчетливо выделялся ее нос. Обнюхивая воздух, она взбиралась на груды льдин, и сама была похожа на неподвижную грязноватую льдину. Медвежата покорно следовали за нею. Звери шествовали своею дорогой, ни малейшего внимания не обращая на подвигавшийся во льдах ледокол, который они, видимо, принимали за большой айсберг. Случалось, медвежата равнялись с медведицей, тогда казалось, что по льду движется одно желтовато-грязное бесформенное пятно.

Пока подходили медведи, на «Седове» охотники готовились к встрече. Еще за долго в кают-компании висело расписанье, кому и когда стрелять, и первая очередь стрелков (всех охотничьих групп было десять, по пяти стрелков в каждой) высыпала на переднюю палубу, застегивая куртки и заряжая на ходу винтовки. Больше всех суегился, таская за собою огромный с'емочный аппарат на тяжелой треноге, наш коротенький кинооператор, которому было предоставлено особенное право до начала охоты снимать каждого об'явившегося зверя,

что впоследствии не раз служило поводом жарких споров и ссор.

Чтобы отрезать проходившим зверям дорогу, «Седов» изменил курс. Удивительно было наблюдать эту никогда невиданную мною охоту. Большой железный корабль, ломая толстый лед, догонял неторопливо идущих, неведущих опасности зверей. Теперь все медвежье семейство было в нескольких шагах от борта ледокола. Медведи продолжали идти гуськом, не прибавляя шагу и не изменяя направления своего пути. С ледокола мы видели, как ступают они, смешно загребая лапами, ступнями внутрь, как трясется на их ляжках густая белая шерсть. Шагах в двадцати от пароходного носа медведица, не торопясь, перелезла через стоящую на ребре льдину и за нею мячиками перекатилась ее медвежата.

Медведи почувствовали опасность, когда под самым носом медведицы с грохотом раскололся лед и на снег потоком хлынула морская вода. Медведица остановилась, с негаданной ловкостью откинулась и стала на дыбы. Стукнул первый выстрел. С мостика я видел, как сунулась она на краю лужи, кровавая снег. Красное пятно росло у нее за ухом. Один медвежонок подбежал, тупо ткнулся в материнское брюхо, она подняла окровавленную узкую голову, и медвежонок кинулся прочь. Казалось, умирая, она успела ему шепнуть: «Спасайся, спасайся отсюда скорее!..» Все это продолжалось мгновение. Медведица лежала на краю прозрачной лужи, а медвежата с поразительной быстротою и ловкостью удирали прочь от «Седова». С бака продолжали стрелять, пули близко падали в снег, и мы видели, как двумя клубками катились неведимые медвежата, как задний провалился в глубокую полынью и, взбравшись на лед, по-собачьи встряхнулся. На лед спустились матросы с длинной веревкой, застучала на палубе, прогреваясь, лебедка. А все еще было видно, как удирают, изредка оглядываясь, ныряя за ропаками осиротевшие медвежата. Иногда они останавливались, поднимались на задние лапы и смотрели на пароход, точно поджидая

оставшуюся мать, потом, опустившись на лапы, клубками катились дальше.

Убитую медведицу, накинув на шею петлю, подняли лебедкою на ледакол. Она лежала на железной палубе, вытянув шею и раскинув толстые лапы. Черные собачьи глазки ее были открыты. Из пробитой разрывною пулею шеи сочилась ярко-красная кровь, а в открытой мертвой пасти были видны страшные зубы. Странно было касаться ее вздрагивавшего под ногою еще теплого тела. Собаки жадно лизали текущую по палубе кровь. В ней — в том, как лежала она на палубе, раскинувши лапы, было что-то человеческое, бабье. Кочегар в синей робе, с выпачканными угольной пылью лицом, на котором, как у негра, блестели глаза, сел над нею на корточки, потрогал выступавший под белой шерстью мягкий сосок, сказал:

— Кормила, гляди, ребята, молоко идет...

— Потому и худущая, — сказал другой. — Они ее вытянули. Вона, какие здоровенные...

— А большущая, чорт!..

— Гляди, коптюри! Эта, брат, приголубит...

— Пудов на двадцать!.. А все Хлебникову везет, в прошлом годе он тоже первый убил...

— Поздравить надо!..

Над убитой медведицей долго шли разговоры. Мне было жалко лежавшего на палубе убитого зверя, недавно спокойно шествовавшего по льдам. Я поднялся на мостик, где, ступая валенками, из угла в угол ходил капитан. Он по-

казал вслед катившимся по льду медвежатам, поправляя на голове меховую шапку, сказал:

— Их можно было живыми взять. У нас есть промышленники, большие спецы по этому делу. Возьмет за шиворот, — ни единый не вырвался!

Наверное, если бы мы подождали, медвежата вернулись, разыскивая мать. Ждать было некогда, и, чтобы не терять времени, «Седов» полным ходом пошел догонять видневшихся на льдах медвежат. Нам было нужно мясо для прокорма собак, и капитан не хотел упускать первую добычу. Догнать медвежат, быстро катившихся через торосы, оказалось не легким делом. Они по минутно оглядывались на догонявший их ледакол и быстро перелезали через перегораживавшие им дорогу льдины. Уйти было некуда: впереди синевела открытая вода, сзади настигал корабль и ждали люди с винтовками. Пуля попала в плечо заднему медвежонку. Он захромал, стал спотыкаться и скоро лег. «Седов», разламывая лед, близко подошел к лежавшему на снегу маленькому желтому комочку, и опять по освещенному ярким солнцем снегу забегали люди с веревкой. Оставшийся в живых медвежонок под градом осыпавших его пуль благополучно убежал вдоль кромки льда. Мы не стали его преследовать. Еще долго можно было видеть, как он ныряет и показывается среди белых и лиловых, бросавших длинные тени льдин.

— Пропадет без матери! — сказал капитан, берясь за ручку телеграфа и отдавая приказание в машину.

15—22 июля. 1930 г.  
Л/п. «Георгий Седов».  
Баренцево море.

# Черное золото

Роман

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

(Продолжение <sup>1</sup>)

Скалы, холмы, глубокие воды фиорда, печальный свет северного солнца, вдали — груды облаков, поющих на снежные вершины.

Пароход плывет мимо каменистых островов. С каждым поворотом — новые склоны берегов и глубже уходящие воды фиорда, то затененные, то сверкающие. Дамы облокотились о перила борта. Ясен воздух, скудное тепло. Красные черепицы домиков в зеленоющей ложине между бесплодных скал. Север. Безлюдье. Это земля, куда возвращаются с отгоревшими страстями, с поседевшей головой. Небо будто подернутое пленкой незаметных облачков. Прохлада, чистота, бесстрашие.

Вера Юрьевна говорит вполголоса:

— Если бы так же возвращаться в Петроград... Человек должен жить на севере... Девочки, вон в том домишке, под скудным солнцем... Какая печаль!.. Мечтать, ждать...

Она положила на борт руку, туго обтянутую кожей перчатки. Молочно-румяный швед, шатавшийся мимо, оглянул стройную Веру Юрьевну — гм!.. черный жакет, светлая, мягкая юбка, обувь без каблуков... Просто, дорого, шикарно, никакого желанья нравиться, — равнодушное лицо, в нем все обдуманно, все закончено... Гм!.. Самый высокий продукт цивилизации, международная хищница, парижская штучка...

— Девочки, а зима!... Мы и забыли ее... Снега, стужа, вьюга... Вся жизнь — в теплом домишке... Человек — сам с собой... Куплю дом непременно, только еще дальше на севере, какое-нибудь именье небольшое, всю зиму буду одна, вспоминать, думать... Одна, одна, совершенно... Чистота, скука... Ни одной книги, нет, нет... Страница за страницей перелистывать себя...

Лили — с усмешкой:

— А помнишь, меня ругала за домик в Таганроге... Сама-то, видно, тоже...

— Нет, Лилька, нет... Домик в Таганроге с офицериком — свинство, при-  
См. «Новый мир», кн. кн. 1, 2, 3, 4, и 5 с. г.

том — несбыточное... Я же об одиночестве говорю... Меня так и найдут в этом доме, раскопают занесенную дверь, в разбитое окно все занесло снегом, я на постели, седая, высушенная, и руки вот так — на глазах, чтобы и после смерти не смели глядеть мне в глаза...

Мари, тоже стоявшая у борта, при- свистнула:

— С хорошеньким настроеньем едешь на работу...

Кисло усмехаясь, Вера Юрьевна ответила:

— Всякий бесится по-своему, милая моя шансонетка. Для тебя высшее счастье — пожарские котлеты. У меня — ненависть. Поверь, дом в снегах сбудется. Там припомню всех моих кобельков, осквернителей, тысячи раз, бесконечно, со вкусом, как ты котлеты жрешь, предам их самым страшным мукам.

— Батюшки, как страшно, — лениво отворачиваясь, сказала Мари. Лили придвинулась, глядела в глаза. Шопотом:

— Верочка, не надо...

— Ах, оставь меня... Не знаете, что ли, куда едете... На что мы едем?

— Трагедия! Ты ее слушай больше, Лилька... (Мари, видимо, обиделась, за котлету.) Ей только и мерещится разная уголовщина.

Молочно-румяный швед, стоявший позади дам (руки в карманах, сигара в углу рта, полный подбородок удовлетворенно уперт в крахмальный воротничок), к счастью, не понимал по-русски, и до крайности странный разговор трех эlegantных дам принял за восхищение северной природой. Вынув сигару, попробовал вмешаться (на ломаном французском):

— Пardon, смею обратить ваше внимание. Стокгольм сейчас заслонен островом Бекхольм. — С предупредительным поклоном указал сигарой на кирпичные постройки и решетчатые краны эллинга, показавшиеся с правого борта. Вдали, налево стояли грузовые пароходы у высокой каменной стены, где наверху курилась дымом многоэтажная мельни-

ца. — За войну город очень разбогател. Шведы неплохо поступили, что не вмешались в войну. Нас много ругали (засмеялся), но кому-нибудь надо же было торговать, и мы принесли обеим сторонам много пользы, торгуя с теми и с этими. Теперь вы не узнаете Стокгольма, это — маленький Берлин. Правда, после Версальского мира оживление несколько уменьшилось, но мы надеемся, что кризис временный. Во всяком случае здесь можно весело провести денек... (Пароход повертывал). А вот и город. Вы видите старую часть — Стаден. В древности город располагался только на этом острове, сейчас разросся направо и налево. Самые шикарные кварталы на тех холмах, — лучшие магазины, театры, кафе и вокзал. А еще дальше на север — чудные загородные места, озера, красивые виллы и замки. За время войны мы много строились.

Пароход приближался к лиловато-серым зубчатым очертаниям города. За ним холмы, облака. Тыкая в пространство сигарой, швед называл здания: дворец, собор, отели, сообщил адреса магазинов и кафе.

— Если захотите быть ближе к нашей природе, могу посоветовать прелестный уголок в тридцати километрах по железной дороге — Баль Станэс на озере Несвинен.

— Как вы сказали? — резко обернулась Вера Юрьевна, — Баль Станэс... Прелестный уголок?

Швед, несколько изумленный порывистым движением, нагнул по-бараньи голову:

— Да, мадам, вы не пожалеете. Там можно отдохнуть.

Пароход загудел и стал поворачивать к стенке набережной. В прблетах между досчатыми пакгаузами стояли черные такси. За ними двигались чистенькие трамваи. Дальше — груды тюков, бочек, ящиков, острые черепичные крыши и старинные фасады домиков, вывески портовых кабаков, узкие переулки. У самого края стенки на причальной тумбе сидел, улыбаясь, носастый Хаджет Лаше, в серой черкеске и мерлушковой шапке. Увидев его, Вера Юрьевна положила руку на горло, отвернулась. На палубу вышли Налымов и Левант.

В зале ресторана Гранд-отель в обеденный час играл симфонический оркестр и выступали, как всегда по воскресным дням, сольные номера. Года два тому назад все это гораздо богаче было обставлено, европейских знаменитостей слушали здесь ежедневно. Но после Версальского мира (разбившего в Швеции немало надежд) схлынули интендантские чиновники, поставщики, шпионы, контрразведчики, международные авантюристы, великолепные женщины с ассортиментом паспортов и коробочкой кокаина в золотых сумочках, переодетые немецкие офицеры, вырвавшиеся на неделю с фронта, благодушные нейтральные дипломаты и засекреченные дипломаты воюющих стран — все, кто, не задумываясь, разменивал деньги на минутное удовольствие — единственный их эквивалент.

Когда в Европе окончилось массовое убийство людей, деньги снова стали «вещью в себе». В будние дни в ресторане Гранд-отель вместо вина подавали графины с холодной водой. Стокгольму грозило захолустье. С убытком для себя хозяин Гранд-отеля устраивал воскресные концерты, их посещали даже почтенные семейства, считая это дело национальным.

Все столики были заняты. Сигарный дым пробирался сквозь лапчатые пальмы. Сегодня демонстрировалась американская новинка — джаз-банд с настоящими неграми. Трудно было привыкать к адской трескотне, вою саксофона, барабанам и тарелкам, взвизгам веселых людоедов. Мало того, что Америка сняла исподнюю рубашку со старого мира, — на могилах пятнадцати миллионов заставила плясать лисьим шагом — фокстрот... Ах, то ли дело убаюкивающий старый мечтательный вальс!

— Слишком близко к оркестру сели.

— А вы — погромче.

— Погромче-то не хочется... (Покоился на соседние столики).

— Да бросьте ваши страхи... В Европе, чай. Что же водку-то не пьете?

У стены за небольшим столиком обеды дали двое русских (пока-что добрались только до горячей закуски), — худоща-

вый, с залысым белым лбом, с острой бородкой, и толстощекий нездорового вида, жестковолосый человек, выпученные влажно-серые глаза его, отъехав далеко от крючковатого носа, напоминали что-то коровье. Он много ел, навалился на стол жирной грудью. Худощавый после каждой рюмки с недоумением поднимал брови, поправлял пенснэ. Покуда играл оркестр и несколько пар ходило лысым шагом, они перекидывались пуглыми замечаниями. Худощавый:

— Напрасно, напрасно, Александр Борисович. Что же и в Петрокоммуне ничего не пили?

— Да бросьте вы, слушайте... (Толстощекий косился на соседей). С прошлой зымы ни одного знакомого лица... Вон тот внушительный дядя — кто такой?

— Полицейский, из отдела наблюдения над иностранцами. Мой приятель...

— Хорошенькое знакомство.

— Без этого здесь нельзя, дорогой... Честный парень, добрый пьяница, Карл Вредблат. С ним вас надо свести.

— Ну, а вон те в смокингах?

— Двоих не знаю, третий, кто наливает шампанское, — граф де-Мерси, из французского посольства, недавно прибыл с таинственной миссией, очень опасный человек.

— А тот высокий старик. Помещик какой-нибудь из России?

— Эка, почетный гость, поважнее короля, — сам Нобель.

— А за тем столиком, — что-то уж очень они поглядывают на нас?

— Русские. Лысый, смуглый, маленький — Извольский, во всяком случае живет здесь под этой фамилией. Тот, кто смеется, рыжебородый — концертмейстер Мариинского театра Анжелини, он же Эттингер почему-то. Чем занимается, чорт его знает, но деньги есть, он угощает. А третий, мрачный красавец, знаете кто? Помните процесс Вонляярского о фальшивом завещании, скандал в петербургском большом свете?

— Ну да, Вонляярский же пошел на каторгу.

— Видите, сидит, как миленький.

— Чудеса. А та компания за большим столом, — красивые женщины?

— В гостинице со вчерашнего дня. Их уже заметили. С лиловыми волоса-

ми, повидимому, жена Хаджета Лаше.

— Какого Хаджета Лаше? Того в черкеске? Так я же его знаю, встречались в прошлом году в Петербурге. Он печатал свою книжку, интереснейшие записки — разоблачение застенков Абдул-Гамида. Пытки, убийства, кошмары в турецком вкусе, но здорово написано. Что он здесь делает?

— Живет за городом в Баль Станэсе. Рантье, как мы все. Кажется, интересный парень.

Антракт. Негры ушли с эстрады. Танцующие вернулись к столикам. В зале сдержанный гул голосов, хлопают шампанские пробки. Худощавый закуривает, щурится удовлетворенно, бровями подзывает лакея и, когда закуска убрана, наклоняется к толстощекому:

— Ну-с, какие же новости?

Как только смолкла музыка, Хаджет Лаше указал Леванту на столик у окна:

— Видишь того — толстощекий еврей и с ним худощавый, — водку пьют, — это Леви Левицкий, журналист из «Русской воли», на-днях пробрался через финскую границу курьером от Петрокоммуны. Ловкий малый, отчаянный бандит, у него — мне известно — другое поручение, помимо бумагонок Воровскому... (Совсем на ухо). Был близок к Распутину и всем тем кругам. Вчера в банке занял сейф и внес на текущий счет какие-то суммы. В Петроград явно не вернется...

Левант равнодушно вертел деревянной мешалкой в бокале шампанского:

— А другой с ним?

— Ардашев, тоже в сфере внимания. Во время войны успел перевести сюда не менее миллиона крон... В прошлом году приехал для закупки бумаги для Петрокоммуны, выполнил, но остался. Был близок к Воровскому. С русской колонией не встречается. Повидимому, и до сих пор держит связь с большевиками, на всякий случай, — если запахнет концессиями...

— Трудновато, — сказал Левант, — без обличающих документов никак не советую, — французы щепетильны...

— Будь покоен... На-днях я еду в Ревель.

— А, это другое дело...

— Вон, смотри, в самом углу, налево, сидит один, широкомордый... Тут уж дело чистое — курьер Воровского Варфоломеев, матрос с броненосца «Потемкина» (Левант недоуменно взглянул). Очень доверенное лицо. Много знает... Есть предположение... (Ногтем на скатерти быстро написал: ц... б... з...)...

— В Стокгольме?

— Да...

— Негры, осклабясь, появились на эстраде. К Вере Юрьевне подошел давешний молочно-румяный швед. С первым тактом джаз-банда она положила голую руку на плечи шведу и пошла легким лисьим шагом, бесстрастная и равнодушная, — новая Афродита, рожденная из трупной пены войны, волнуя прозрачно пустым взглядом из-под нагримированных ресниц, неженскими движениями, всем доступная и никому не отдавшаяся. Глаза всего ресторана следили за ней. Хаджет Лаше отбивал такт пальцами по тарелке. Кивнув на Веру Юрьевну:

— Хлопот будет много...

Леви Левицкий — Ардашеву:

— Слушай, с ума сойти! Кто она?

— Соотечественница, разве не видишь.

— Будь другом — познакомь.

— Не очень бы советовал тебе со здешними русскими... Это не прошлогодние паникеры-беженцы... Их тут сорганизовали.

— А, брось... Я — нейтральный (в широко расставленных коровьих глазах появилось страдание, виски вспотели)... Ах, женщина, послушай, — сон, сказка... Чорт ее возьми...

### 31

Граф де-Мерси, держа за уголок визитную карточку Хаджет Лаше, вошел в маленькую приемную, затворил дверь в соседнюю комнату, где стучала машинистка, сухо поклонился и указал на стул у круглого дубового стола, заваленного парижскими газетами и журналами. Сел, положив ногу на ногу, вопросительно поднял брови, — длиннолицый, с тяжелыми веками, большим носом в стиле Генриха IV, висячими усами и скудноволосям пробором через всю голову, — аристократ с головы до ног, прямой потомок крестоносцев

(герб — на голубом щите три птички без носиков и лапок). Хаджет Лаше (в черной визитке, в черном галстуке, в перчатках) сказал с осторожной задушевностью:

— Граф, я бы хотел поставить вас в известность о том, что моя деятельность в Стокгольме проходит в полном согласии со взглядами полковника Пети.

Де-Мерси слегка поклонился:

— Я в вашем распоряжении.

— Граф, вам известно, что в Стокгольме сосредоточены все нити заграничной агентуры большевиков.

— Если не считать Константинополя.

— О нет, здесь гораздо серьезнее. Газета «Скандинавский листок» — плохо прикрытый большевистский орган.

— Вот как?

Хаджет Лаше знающе улыбнулся, давая понять, что «вот как» относит к дипломатической скрытности, но отнюдь не к плохой осведомленности графа.

— «Скандинавский листок» издается на частные средства группой лиц, заинтересованных добрыми отношениями с Москвой. Не исключена возможность перекупить у них газету. Ваше мнение, граф?

— Нахожу это целесообразным (глядя на длинные ногти). Но это, мне кажется, должно исходить также от частных лиц.

— Успех будет зависеть от суммы, которую можно будет предложить. Нужно свободно располагать стами, полторастами тысяч франков... Хотелось бы иметь гарантию, что затраты этой группы лиц... (Хаджет Лаше застыл в улыбке).

— Думаю, — ваше предложение не встретит принципиального отказа. Гм! полтораста тысяч? Может быть, вы посоветуете мне написать полковнику Петит?

— О, я просил бы об этом.

— Прекрасно... (Граф облегченно вздохнул). Если мы не встретим с его стороны возражения, я гарантирую ваши затраты из особых сумм.

Он опустил брови, — шепетильная часть разговора была окончена. Но Хаджет Лаше жестко поджал рот и навис тяжелым лбом над зеркальной поверхностью стола:

— Граф, это не все... Я бы хотел



иметь гораздо более важное — моральные гарантии...

— Простите?

— Есть некоторые чрезвычайные директивы из ставки генерала Юденича. Я бы не хотел вас, граф, обременять подробностями неприятных поручений, не всегда совпадающих со взглядами европейского человека на добро и зло. Но не нужно забывать, что Россия сейчас в состоянии напряженнейших военных действий.

— Вы говорите о деятельности контрразведки?

— Да, граф, да. (Де-Мерси преждевременно поднял было руку, но Хаджет Лаше — с напором). О, никакой мысли запутать ваше имя в события, которые могут развернуться, но я хочу заручиться вашим согласием, — полковник Пети обещал мне это, — что в случае трений со шведской полицией (разумеется, не посвященной ни во что)... Я и группа лиц, идейно работающая со мной, могли бы рассчитывать на юридическую помощь...

— Я понимаю, вы хотите в случае... (Граф не подыскал слова)... рассчитывать на защиту видного парижского адвоката?

— Да, граф... Я бы назвал имя Жюль Рошфора, моего старого друга...

— О да, он берет не дешево... Хорошо, я вам обещаю это.

— Я удовлетворен, граф.

— О, пожалуйста... Такая мелочь...

Простились сильным, хорошим рукопожатием, и граф де-Мерси проводил гостя до двери в прихожую:

— Всегда к вашим услугам, мой милый Хаджет Лаше.

Утреннее солнце сквозь плющ в длинном окне радостно и чисто плотно отражалось в восковом паркете (без единой пылинки), в синих фаянсовых тарелках на стене, на никелевом кофейнике, серебре и хрустале, на безупречно накрахмаленной скатерти. В плоском луче клубился ароматный дым сигары. Николай Петрович Ардашев в пестром купальном халате, сафьяновых туфлях, весь прохладный после душа, окончив ранний завтрак, просматривал почту... Неизбежные письма от русских беженцев: «Услышав о вашей отзывчивой нату-

ре»... «Бежав с женой и грудным ребенком от ужасов большевизма»... «Вы меня не знаете, я — липецкий помещик, столбовой дворянин, по милости жидов, Лениных и Ко изгнан за пределы родины... Меня бы выручило двадцать крон»... «Помогите... Волею судеб выброшен на мель в среду черствых лавочников и торгашей, а в России эти же иностранные стриккулисты обивали мой порог, короче говоря — я харьковский негоциант»... «Николай Петрович, перед вами — отец многочисленного семейства, престарелая бабушка, пять малолетних детей и кровоточивая жена»... И — так далее...

Николай Петрович внимательно (для собственной совести) прочитывал эти письма, сверху делал пометки карандашом — 50, 20, 10 крон. Приходилось покупать право на душевный комфорт. Эти люди лезли через границы, как клопы из ошпаренного тюфяка. Он помогал им потому, что любил вот такое влажное, светлое утро, озаряющее безмятежную опрятность всех уголков жилища, прочное холостецкое согласие с самим собой. Личного общения с беженцами он избегал (деньги передавались через секретаря), избегал также осевшей в Стокгольме русской колонии (но уже по другим соображениям).

Одно из писем прочел два раза: «Многоуважаемый Николай Петрович, буду крайне признателен, если вы уделите мне несколько минут беседы по делу, которое может вас заинтересовать. Известный вам Хаджет Лаше». Ардашев ногтем почесал бородку: что-нибудь по поводу издательских дел. Лаше — занятный человек, но наверное опять политика. (Поморщился)... Вспомнилась красавица его дама, танцовавшая в Гранд-отеле, сложил губы трубочкой, подергал ими с усмешкой, прищурился на блестящий кофейник... «Да, от женщин и от политики — подальше: это тоже плата за комфорт»...

Звонок. Знакомый голос. Ардашев бросил газету на пачку прочитанных писем, зажег погасшую сигару. Вошел Бистрем, великолепный двадцатипятилетний скандинав ростом шести футов, добро-голубоглазый (в очках), с нежной кожей, сильной шеей и раздвоенным подбородком. Недавно окончил универ-

ситет и со всем прямолинейным пылом честного германца (заработок — восемьдесят крон в месяц) изучал исторические, социальные и экономические предпосылки русской революции. Состоял сотрудником «Скандинавского листка», был непрактичен и доверчив. Несколько раз пытался пробраться в Москву в качестве корреспондента, но в редакциях его подняли насмех, а французские и английские журналисты (в Стокгольме) объявили Бистрема большевиком и перестали подавать руку, вышла даже неприятность с полицией.

— Николай Петрович, — крикнул он (по-русски, с акцентом), распахивая дверь, восторженный, румяный, свежий, как утреннее солнце, — прочли сегодняшнюю газету? О, я вижу, вы не читали!... (Схватил газету и отчеркнул ногтем в отделе телеграмм). Ревель, от собственного корреспондента... Это враки, — не из Ревеля, это сделано здесь... (Счастливо захохотал, расширив голубые глаза). Но какая сенсация! Слушайте: «Кредитные знаки северо-западного правительства в России, печатающиеся, как известно, на Стокгольмском монетном дворе на общую сумму один миллиард двести миллионов рублей, по точно проверенным сведениям, гарантированы к размену на золото английским государственным банком». Слушайте, — Юденичу — капут!..

— Не понимаю, — сказал Ардашев, — что же тут такого? Деньги печатаются по заказу Юденича...

— Деньги печатаются под гарантийную телеграмму Колчака из Омска, — вытащил из кармана пачку газетных вырезок, отыскал. Прочел: «Верховный правитель (Колчак) приказал передать правительству Северо-Западной области, что им будет оказано всемерное содействие для успешного завершения борьбы с большевизмом в Петроградском районе, что министру финансов омского правительства срочно указано перевести просимые главнокомандующим генералом Юденичем двести шестьдесят миллионов рублей золотом. Указанная сумма поступает в Лондонский банк в английской валюте и гарантирует выпускаемые правительством Северо-Западной России денежные знаки, которые являются всероссийскими де-

нежными знаками и обеспечиваются, кроме указанной суммы, всем достоянием государства русского»... Это из ревельской «Свободы России»... Под этот блеф Юденич и выпускает миллиард двести миллионов для разгрома Петрокоммуны.

— Почему блеф? Разве Колчак не перевел денег.

— Колчак перевел в Лондон только пять миллионов золотом... (У меня вернейшие сведения)... Понимаете, что получите после сегодняшней заметки? Англичане вынуждены будут официально и немедленно ее опровергнуть, — иначе адский скандал в Палате... Они скажут, что не гарантировали и никогда не намерены гарантировать бандитскую аферу... О пяти миллионах они тоже не скажут ни слова, и юденичевские деньги будут продаваться на вес... Кто дал эту заметку? Гениальнейший ход! Чья здесь рука? Или это Москва, это — диалектика! Или это спекуляция на валюте, тогда это — Митька Рубинштейн... По пути к вам забежал в Гранд-отель, — внизу, в баре, шумят журналисты, как шмели, дьявольский крик... Уверены, что заметку дал я... Представляете, как меня приняли?

Он повалился на стул (потянул скатерть, толкнул стол, расплескал молоко) и закатился радостным смехом, — румяный, белозубый, отражающий стеклами очков утреннее солнце (за плющом, в окошко, над крышами). Ардашев налил ему шоколаду, намазал бутерброды. Бистрем с воодушевлением стал есть маленькими кусочками:

— Большевики играют на противоречиях... В этом их основной расчет... Диалектика на фактах! Великолепно!.. Я, кажется, выпил весь шоколад?.. (Ардашев: «Пожалуйста, дружище, я прикажу подварить»)... Представляете — шарады, головоломки: Ревель, Рига и Гельсингфорс добиваются самостоятельности — буржуазной республики. Поэтому они против Петрокоммуны, как чумной заразы. Значит им нужно помогать белым. Но белые страшны с другой стороны, — Колчак в Омске, Юденич в Ревеле и Сазонов в Политическом совещании в Париже угрожают желают гарантировать независимости Эстонии, Латвии, Финляндии: чухна

захватила лучшие русские порты, при окончательном расчете чухну — под ногу. Французы тоже против независимости, — им нужна неразделенная, сильная Россия (угроза Германии). Но англичане за раздел России и за независимость Риги, Ревеля и Гельсингфорса, но бояться немецкого влияния на Балтике, поэтому намерены захватить остров Эзель для морской базы, но рабочая партия в Палате против вмешательства в русские дела, — у англичан связаны руки... Германия против самостоятельности Риги, Ревеля и Гельсингфорса (тогда здесь будет база Антанты), против неделимой и сильной России (тогда здесь будет база Франции), против усиления Англии на Балтике, разумеется, против большевиков, но Германия парализована Версальским миром... Синтез: большевики выигрывают игру... Простите, я, кажется, с'ел весь хлеб.

Ардашев, глядя в окно:

— В прошлом году, когда уезжал из Петрограда, там было очень скверно. Не представляю, как они еще могут держаться.

— В Петрограде осталось всего около семисот тысяч жителей, остальные разбежались или вымерли. От голода умирает каждый двенадцатый человек. (У Бистрема расширились глаза). Топлива нет. Город не освещается. На улицах лошадиная падаль, об'еденная людьми... Я добыл эти сведения через контрразведку, подпол одного пропащего человека. Из двухсот шестидесяти заводов работает только полсотни. Целые кварталы пустых домов с выбитыми окнами, заколоченные досками магазины. Не видно прохожих, не ходят трамваи. Город разбит на боевые участки. Неограниченная власть предоставлена Комитету обороны. На заводах и по районам управляют беспощадные тройки. Во всех домах — комитеты бедноты. Все рабочие призваны к оружию. Все партийные — в коммунистические батальоны. Особые отряды рабочих обыскивают город, входят в квартиры, ища оружие и съестные припасы. Виновных выводят на двор и расстреливают. Все проявления жизни парализованы. Над жизнью — идея победить или умереть. Голод, лишения и суровость стали ведичием. О! Трагический Петроград!

— Дорогой друг, все это романтично издали, — негромко сказал Ардашев, — ну, хорошо, предположим, они победят Юденича, они победят еще десять Юденичей. Но террор когда-нибудь кончится, и нужно будет восстанавливать обычную жизнь, и вот тут-то на смену романтизму придет будни вместе с богатым буржуем. Одними идеями не возродишь города и придется кланяться нищим богатому. Ясно — физически закон сообщающихся сосудов: Европа богата, в переизбытке продукции и без рынков. Россия — нищая, разоренная и широчайший рынок, которого хватит на всех. Не пройдет и года — высокий уровень перельется в низкий, Европа — в Россию, и мечтам — конец. Мне кажется, так именно и думают англичане, самые реальные из политиков.

Бистрем весь сморщился, ёлушая. Поднялся, заходил, потирая подбородок. Поднял палец:

— Вы упускаете: власть над политической и экономикой в России взял рабочий класс. Этого еще не было в истории: власть у тех, кто непосредственно производит ценности. Тут должны быть вскрыты новые источники творчества, новые органы политической и экономической структуры... Вспомните-ка первую французскую революцию! Конечно можно возразить: рабочий класс в России еще неготов... Не знаю... Увидим... Может быть, к таким штукам совсем и не нужно готовиться... Даже и лучше неготовыми-то? А? Русские — талантливы, русские — чудовищно неожиданный народ... (Кукушка на стеновых часах, выскочив из дверцы, бодренько прокуковала одиннадцать. Бистрем спохватился)... Опаздываю безумно! Прощайте, мы еще доспорим...

Задержав его за руку, Ардашев спросил:

— Вы хорошо знаете такого Хаджет Лаше?

— Темный человек.

— А какие данные?

— Чорт его знает, — никаких... Уж очень осторожен... А впрочем у него красавица жена, парижанка. Видели?

— Он имеет какое-нибудь отношение к России?

— Очевидно, как большинство иностранцев в Стокгольме, — поставки на

армию, продовольствие для Петрограда, спекуляция на фондах... Постоите, постоите... (Бистрем отложил шляпу)... Его компаньон, вот тот, что приехал с дамами из Парижа, вчера давал интервью... Какая-то у них афера с нефтью с Детердингом... Корреспонденты чрезвычайно заинтересовались, особенно американцы. Говорят, эта афера должна отразиться на международных отношениях... Будто бы Нобель выехал в Лондон... (Схватил шляпу). Я все узнаю подробно.

Он распахнул дверь и столкнулся с Хаджет Лаше.

— Простите, я стучал, но вы так горячо разговаривали, — Хаджет Лаше церемонно поклонился Ардашеву, дружески кивнул Бистрему и мельком покосился на стул (Ардашев попросил присесть), сел, не снимая перчаток, поставил трость между колен. — Я вам писал, Николай Петрович, этим объясняется мое вторжение... (С улыбкой — Бистрему). Вы, кажется, собирались уходить, но вижу, намерены спросить меня о чем-то.

— Несколько слов о нефти... (Бистрем присел у двери, положив шляпу на одно колено, на другое — блокнот).

— Простите, принципиально не даю интервью никому, никогда. Не обижайтесь, Бистрем, я дам вам заработать на чем-нибудь другом... (Сказано было несколько грубовато. Огромные башмаки Бистрема наощенном полу и отблскивающие очки его застыли, как мертвые). Если обещаете не упоминать моего имени, приезжайте ко мне, я вам наболтаю крон на пятьдесят всякой чепухи... (Засмеялся и — Ардашеву). Нефтью я интересуюсь, как прошлогодним снегом. Но со вчерашнего дня, видимо, спутав меня с моим другом Левантом (он гостит у меня в Баль Станэсе), журналисты оборвали мой телефон: бакинская нефть, Стандард-ойль и Детердинг, Деникин и большевики — сумасшедший клубок... Господа, я только романист, я страшно извиняюсь, что пишу плохие романы. Но позвольте мне быть чудачком и спрашивайте о нефти у моей квартирной хозяйки.

Поднявшись, кашлянув, Бистрем проговорил, как в бочку:

— Благодарю вас!.. — Вышел.

— Так наживаешь себе врагов, — Хаджет Лаше сделал безнадежный жест рукой в перчатке. — Бистрем неплохой малый, но когда-нибудь я же в праве обидеться, — журналисты упорно говорят со мной о чем угодно, только не о моих книгах. (Он стукнул тростью. Ардашев подумал, глядя на его плоскую, белую линию зубов: «Рот, который не умеет смеяться»)... Я к вам вот с каким предложением, Николай Петрович... У группы лиц возникла мысль купить «Стокгольмский листок»... Вы бы не вошли в компанию?.. (Ардашев отложил сигару, насторожился). Дело ведется плохо, денег у них нет, а хорошая культурная русская газета ох как нужна... Перед иностранцами стыдно за «Стокгольмский листок», — газета, надо признаться, определенно пованивает... Вы согласны со мной? (Ардашев молчал: «Что за чорт, дурак или провокатор?») Я немножко патриот. К тому же честолюбие, неудовлетворенное честолюбие, Николай Петрович. Ночи не сплю, засело гвоздем, так все и чудится: нижний фельетон, Хаджет Лаше, «Из крови рожденное», роман, продолжение следует... (Опять засмеялся, не разжимая зубов. Сразу — серьезно). Кстати, прошу принять мой последний труд... (Вынул из кармана визитки книжечку на серой, скверной бумаге). Отпечатано в Петрограде в прошлом году. О ней хотел писать Амфитеатров, но было уже негде... Полюбопытствуйте... Я хорошо знаю Турцию, — здесь все на основании подлинных фактов... (Положил книгу на край стола). Подумайте над моим предложением, Николай Петрович. В городе нехорошо говорят про газету... А это больно... Говорят — там всем заворачивает какой-то инкоgnито, будто на издание разменял несколько царских брильянтов, за какие-то гроши загнал евреям в Гамбург чуть ли не шапку Мономаха... Вы не слышали? Нет... Наверно — сплетни журналистов... Даже и ваше имя приплели.

Не то почудилось, не то на самом деле мгновенной искрой издевательское торжество просквозило вдруг в добродушных, даже глуповатых глазах гостя. Ардашев похолодел от омерзения и сделал непоправимую ошибку... Начав сма-

хивать в кучку невидимые крошки на скатерти, сказал глуховатым голосом:

— Простите, не понимаю цели нашего разговора... Вы, видимо, плохо осведомлены: я — один из соиздателей «Стокгольмского листка»... Чрезвычайно благодарен за критику, но оставляю за собой свободу ею воспользоваться. (Все больше сердясь, упрямо глядел на кофейник). Газета наша левая, хотите считать ее большевистской — считайте, желаете верить в царские брильянты и шапку Мономаха — сделайте ваше одолжение, — разуверить не могу, да и нет охоты опровергать всякие пошлости... (Не на кофейник надо было бы глядеть, — на гостя в эту минуту)... На этом, думаю, можем исчерпать нашу беседу.

Теперь — двинуть стул, встать и ледяным кивком ликвидировать неприятного гостя... Проклятая интеллигентская мягкотелость, — Ардашев не мог поднять глаз, чувствуя, что, кажется, пересоллил и нагрубил. (А, может быть, гость просто неудачно выразился... и сам наверно смущен до крайности?)

Гость молчал. Угнетающе не шевелился на стуле. Ардашеву видны были только острые носки его лакированных туфель, на правой носок села муха. Хаджет Лаше проговорил тихо:

— Вы меня не изволили понять, Николай Петрович. Если я и выразился резко о «Стокгольмском листке», то не за левизну. Идя сюда, я чувствовал себя связанным, это правда. Вы открываете карты, — тем лучше, я могу говорить искренно. Мы единомышленники, Николай Петрович... (Ардашев облегченно передохнул, поднял глаза. Хаджет Лаше ничуть не был обижен... Округло разводя руками, говорил с подкупающим добродушием)... Возьмите Анатоля Франса. Открыто объявил себя большевиком. А как же иначе должен смотреть подлинный, культурный европеец на акты величественной трагедии, которые разворачивает перед ним русская революция? На Вила Саид я застал Анатоля Франса у камина в беседе с Шарлем Раппонортом. Первое, что спросил Франс: «Друг мой, вы видели Ленина?» Я ответил: «Да...» Франс великолепным жестом указал мне место у камина: «У

этого огня сегодня беседуют только о героических событиях». Короче говоря, Николай Петрович, мой резкий отзыв вызван вот чем: в «Стокгольмском листке» помещена заметка об английской гарантии юденичевских денег. Теперь я верю, это простой промах редакции, — заметка желтая. И помещена Митькой Рубинштейном, — вы знаете, что он играет на понижение курсов?

— От кого бы она ни исходила, заметка полезная... Пускай Рубинштейн спекулирует, тем лучше: Юденич натворит меньше зла с дутой валютой.

— Bravo... Это по-большевистски... Так газета намерена валить юденичевские деньги? (Ардашев значительно пожал плечами)... Это смело. Я аплодирую. Я все-таки не оставляю мысли стать ближе к газете. Хотелось бы застраховать газету от случайностей гражданской войны... Представьте, падет Петроград? Подумайте над моим предложением. Я располагаю пятьюдесятью тысячами франков (с широкой улыбкой), — это реальнее, чем шапка Мономаха. Правда?

— Из этого ничего не выйдет, Хаджет Лаше. Газета издается на деньги частных лиц, но распоряжается ею редакционный совет.

— Они меня должны знать.

— Кто они?

— Редакционный совет.

Ардашев подумал, поджав губы:

— Простите, Хаджет Лаше, я не могу раскрыть конспирации и даю честное слово, что и сам очень слабо посвящен в тайны...

— Ну, на нет и суда нет...

Хаджет Лаше поднялся, взял шляпу, взглянул исподлобья и со смущенной улыбкой потер нос набалдашником палки:

— Еще просьба, Николай Петрович. Ко мне в Баль Станэс приехала интимнейший друг, княгиня Чувашева. У нее идея создать маленький культурный центр. Начнем с литературных вечеров. Подберем людей. Мы бы очень просили — не отказать пожаловать.

Ардашев поблагодарил, — отказать было совсем уж неудобно. Проводил гостя до прихожей: там Хаджет Лаше начал восхищаться цветными гравюрами. Заговорил о гравюрах (с большой эру-

дицией), о книгах (увидел в полуотворенную дверь книжные шкафы в кабинете), — Ардашев не утерпел, пригласил гостя в кабинет — похвастаться инкунабулами: двенадцать великолепной сохранности инкунабул он вывез из Петрограда.

— Ну, как вы думаете, сколько я за них заплатил?

— Право, теряюсь...

— Ну примерно?.. (Хаджет Лаше втягивал голову в плечи, выкатывал глаза, разводил руками)... Две пары брюк, байковую куртку на вате и фунт ситнику... Принесит солдат в мешке книжки... Я — через дверную цепочку: «Не надо»... «Возьми, пожалуйста, гражданину буржуй, — третий день не жрамши». И лицо действительно голодное... «Где их украл?» — спрашиваю... «Ей богу нашел в пустом доме на чердаке»... И просовывает в дверную щель вот эту книжку, — в глазах потемнело: 1451 год... В Париже только что, на аукционе инкунабула гораздо хуже сохранностью прошла за тридцать пять тысяч франков.

— Ай, ай, — повторял Хаджет Лаше. — Какие сокровища в Петрограде!.. Колоссально!..

— Да уж, знаете, — ковры, фарфор, картины. Мне предлагали Тинторетто, — только возьми... Ну куда, — полотнище в эту стену. А мебель, батенька мой... Ах! Но я — только книги и гравюры...

Ардашев выбрал из связки ключей на золотой брючной цепочке бронзовый ключик и отомкнул шведское бюро, выдвинул средний ящик:

— Вы, вижу, знаток... (Вытащил большую серую папку и, ломая ноготь, развязывал завязку).

Хаджет Лаше, стоявший за его спиной, сказал медленно:

— Вы не боитесь хранить дома ценности?

— Никогда ничего не сдаю в сейф. (Оглянулся через плечо). Вы что, смотрите, где запрятана у меня шапка Мономаха?

Хаджет Лаше, не отвечая, пристально — секунду — глядел в глаза... (Снова то же омерзительное ощущение)... Когда лицо его задвигалось, Ардашев понял, в чем странность этого лица: живая маска! Будто другое, настоящее ли-

цо (движением бровей, всех мускулов) силится освободиться от нее... И, поняв, он почувствовал даже расположение к этому странному, некрасивому и, кажется, умному и утонченному человеку. Крутя цепочкой, наклонился вместе с гостем над раскрытой папкой. Хаджет Лаше взял один из листов, поднял высоко, повертел и так и этак, попросил лупу.

— Могу вас поздравить, Николай Петрович. Это подлинный, чрезвычайно редкостный Ренар, — чудная сохранность. Сколько заплатили?

— Пять стаканов манной крупы.

— Анекдот... В коллекции лорда Биконсфильда имеется второй экземпляр этой гравюры. Третьего в природе не существует. Антикварам было известно, что этот лист — где-то в России, но его считали пропавшим. Гравюра стоит не меньше двух с половиной тысяч фунтов.

— Гм! Можно сказать, сделали мне подарочек. — Ардашев был в восхищении от гостя. Просил остаться завтракать. Хаджет Лаше очень мило сосался на дела и, уходя, повторил приглашение в Баль Станэс.

— Завтра уезжаю на пару дней... Итак, — на будущей неделе...

## 32

Дом в Баль Станэсе одиноко стоял на травянистой лужайке, на берегу узкого и длинного озера. Кругом на холмах расцвечивался осенней желтизной березовый лес, кое-где багровел клен, мрачными конусами поднимались ели. Дом — северной стройки, бревенчатый, с огромной, высокой черепичной кровлей, с мелкими стеклами в длинных окнах и зелеными оконницами. На лужайке неубранные копны сена. В осенней тишине тянулись паутины, на темной воде озера лежали скоробленные листочки. От города всего двадцать минут на автомобиле, но — глушь, безлюдье.

Хаджет Лаше жил здесь один, в комнате нижнего этажа, с отдельным выходом, окнами на просеку, где, вдали, проходила шоссе́нная дорога. Приехавших поразила пустынность и запущенность дома. Прислуги не оказалось, — ни горничной, ни кухарки, ни дворника. (Из поселка за три километра ежеднев-

но приходила женщина прибирать кое-что). В комнатах — непроветренный запах сигар и мышседины. На портьерах, на мебели — пыль, в каминах — кучи мусора, окурков, пустых бутылок.

Когда чемоданы были внесены и автомобили уехали, мадам Лили среди этой заброшенности присела на подоконник и горько заплакала. Вера Юрьевна — кулаки в карманах жакета — ходила из комнаты в комнату.

— Послушайте, Хаджет Лаше, неужели вы предполагаете, что мы станем жить в этом нужнике? Для какого чорта вам это понадобилось?

— Поговорим, — сказал Хаджет Лаше и сел на репсовый диван... (Поднялся клуб пыли). — Присядьте, дорогая...

Вера Юрьевна двинула бровями и, не вынимая рук из карманов, решительно села рядом в пыль. Здесь был так называемый музыкальный салон, — комната в три — высоко от полу — окна, выходящие на озеро. Стены и балочный потолок отделаны темной лакированной сосной, кафельный очаг с маской Бетховена, длинные диваны, рояль (на пыльной крышке пальцем что-то зачеркнуто зигзагом). В черных рамах криво висящие, бурозеленые картины северных художников.

— Поговорим, Вера Юрьевна... Вам нечего объяснять, что привезены вы сюда не для развлечений. Дом этот снят так же не для безмятежного занятия летним и зимним спортом. После константинопольских походов вы достаточно отдохнули в Севре, здесь вы будете работать.

— Знаете что, Хаджет Лаше, чтобы животное хорошо работало, за ним нужно хорошо ухаживать и держать в чистоте... Так что с самого начала я ставлю требование...

— Требование? — угрожающе переспросил Хаджет Лаше и старыми, умными глазами внимательно осмотрел Веру Юрьевну, будто измерял опасные возможности этой темной души. — Так, так... Требовать — нужна сила... Сомневаюсь, есть ли у вас что-либо, кроме нахальства.

Вера Юрьевна подумала и — с язвистой улыбкой:

— Кроме нахальства, — прочная ненависть и зрелое желание мстить.

Хаджет Лаше, не спеша, брезгливо поморщился:

— Мало... И — не страшно...

— Как сказать... Во всяком случае у меня достаточно безразличия ко всему дальнейшему вплоть до тюрьмы и веревки.

— Угрожаете?

— Да... Определенно угрожаю.

— Стало быть, предлагаете мне быть осторожным?

— Очень...

— Не пощадите себя, если довести вас до эффекта?

— До эффекта!.. Ой! Ой!.. В ваших романах, что ли, так выражаются бурные души и роковые женщины?.. (Добилась — у Лаше сузились глаза злобой)... Говоря нелитературно, могу быть опасна, если меня довести до выбора — жить в вашей грязи или не жить совсем.

— Мысль формулирована четко.

— Дарю вам для записочек книжечки.

Молчание... У него опущены глаза, кривая усмешка. У нее лицо, как у восковой куклы. В пыльное окно уныло бьется головой большая муха.

— Курите, Вера Юрьевна?

— Да.

Он медленно полез в задний брючный карман, с этим движением поднял глаза и вдруг усмехнулся всеми зубами. Но у нее ничто не дрогнуло. Задержав руку в кармане, вынул плоскую золотую папиросницу, предложил:

— Как видите, — всего-навсего портсигар.

— Да я и не сомневалась, что не револьвер.

— Ах, не сомневались...

Закурили... Вера Юрьевна положила ногу на ногу, курила, упершись локтем в колено. Он поглядывал на нее искаса... Затянулся несколько раз:

— Вера Юрьевна...

— Да, слушаю.

— Во-первых, не верю в ваше безразличие, — вы женщина жадная и комфортабельная.

— Наконец-то догадались.

— Само собой, кроме этого, имеется психологическая надстройка...

— Вот тут-то вы и собьетесь, — плохой романист.

— Признаю, вы нащупали уязвимое место... Но какой же вам выигрыш?.. И мышь кусает за палец... Однако... Ну, хорошо, — вы требуете, чтобы жизнь в Баль Станэсе обставить пристойно... Есть, капитан! Завтра придут люди, выколотят пыль, угнетающую вашу психологическую надстройку... Дом приведем в относительный порядок, привезу из Стокгольма кухонную посуду, ночные горшки и так далее... Удовлетворены? Видите, в мелочах я уступаю... Но поговорим о крупном. (Он надвинул брови, изрытое лицо потемнело)... Когда вы были в Петрограде княгиней Чувашевой, сидели в особняке на Сергиевской, кушали торты и ананасы (Вера Юрьевна открыто засмеялась, он, едва сдержавшись, сопнул, раздул ноздри). Ананасы и торты... (Топнул башмаком)... Тогда можно было поверить в ваши роковые страсти и даже отступить, скажем, такому пугливому человеку, как я... А сейчас... Уж простите за натурализм, за физиологию, Вера Юрьевна, — как поперли вас из особняка в одной рубашонке, пошли бродить по матросским притонам: психологическая надстройка стала вот такая, — буря в тарелке с водой... И осталась одна вопиющая хлеба насущного животрепетная плоть... Пресмыкаясь, на животе притащитесь за кусочком хлеба.

— Здорово запущено, — громко, весело сказала Вера Юрьевна.

— Понимаю, — числите за собой в психологическом активе константинопольский случай... (Вера Юрьевна подняла брови. Струйка дыма, и — розовым ногтем мизинца сбросила пепел с папирсы)... Вот вы и сами сознаете, что константинопольский случай произошел, так сказать, с разбегу, от неразвешанных иллюзий, — еще не разгримировались тогда как следует... Теперь-то вы его уже не повторите...

— Да! — сказала твердо. — Того не повторишь... Я была на тысячу лет моложе. Знаете, Хаджет Лаше, — искренно, — я люблю себя той, константинопольской проституткой... В последнем счете — не все ли равно: сумасшедшее страдание или сумасшедшее счастье... Мы любим только наши страсти. Женщины любят боль. А ужасает мертвое сердце. Если перед казнью мне обе-

щают минуту чудного волнения, — днем и ночью буду думать об этой минуте и конечно кончу тем, что предпочту ее всей жизни. Вот как, писатель...

Лицо ее порозовело, голос вздрагивал. Но так же — острый локоть на колене, лишь вся подалась вперед, с каким-то увлечением. Хаджет Лаше по-смастривал, — любопытная баба! Действительно — не узнать после Константинополя, когда полоумную, страшную, неистовую он спас от полиции и передал на руки Леванту. С тех пор они встретились впервые. Предполагал, что сейчас покончит с ее строптивостью решительной угрозой (выписка из полицейского протокола об убийстве в публичном доме на Галате смирского грека Афиноса), но баба оказалась сложнее, чем ожидал... Хотя — тем полезнее для дела, лишь бы обуздать. Он следил с осторожностью за ходом ее мысли.

— С психологической надстройкой вы по-моему, просыпались, Хаджет Лаше... Людей, просто, по-собачьему, ползущих за кусочком хлеба, в природе нет, мой дорогой... Подползает к вашим лакированным туфлям такой сложный мир страстей, такая задавленная ненависть, — понять — сразу на месте задохнетесь от ужаса... Делаете крупнейшую ошибку. Профессиональному аферисту, как вы... (не сердитесь, сказала мягко — аферисту) психологом надо быть прежде всего... Тем более при вашей двойной профессии. (Кивнула ему дружеской гримаской)... Так вот, в особняке на Сергиевской я была нераскрытым бутонем, сплошной физиологией... Безделье, роскошь, покой, не страсти, а щекотка и дымка иллюзий... А психологическая надстройка появилась уже после Константинополя... И от этого груза с удовольствием бы освободилась, даже предпочла бы константинопольские переживания. Кстати, для чего тогда понадобилось вытащить меня из притона, спасти от полиции? Вы даже скрыли свое настоящее имя... Искали, что ли, подходящий товар?

— Отчасти искал подходящий товар, отчасти — вдохновение: глаза ваши понравились.

— Глаза, — задумчиво повторила Вера Юрьевна, — да, глаза... Я многого



не могу припомнить... Провалы... Точно минутами слепа...

— Всегда так бывает, когда — в первый раз.

— И у вас так было, Хаджет Лаше?

— И у меня... Откуда у вас тогда завелся нож?

— Подарил матрос... От лезвия все и пошло... Лезвие... (Прямая спина ее вздрогнула)... До чего жалкое существо, — нашла зацепку в лезвии ножа... Вот такой (показала пальцами)... Острый, острый... С ним — против всего Константинополя... Разве не жалко девочку?.. Романтизм... Ах, какая глупость!

— Теперь вооружены лучше?

— О, будьте покойны.

— Как же все-таки это случилось, почему именно Афиноса?

— Не знаю... По-моему, не хуже, не хуже был других. Что-то страшно многоословно говорил мне по-новогречески... жестикуляциями... Чего-то добивался, акой-то последней мерзости... Ну, я понимаю этой трескотни... Должно быть, за многословие, за жестикуляцию, а какую-то вонь бараньим салом. Когда друг успокоился и заснул, понимаете, снул, как счастливый баранчик, — меня и толкнуло...

— Как баранчика, от уха до уха!.. (Она опустила голову, уронила руку с юленой)... Еще деталь, Вера Юрьевна, наверно не помните: зарезали и начали явиться и все время совали кулачки в несуществующие карманчики, а были-то совершенно голая... (Стремительным движением она поднялась, отошла к окну)... Двери там не было, а висел ковер... Я по звукам понял, что — веселенькое дело... Приподнял ковер, гляжу, потом и совсем вошел, и — поразило: глаза! Вы глядели и не видели... Помните, как я вам приказал одеться?.. Да, хлопот было немало... Между прочим под именем Розы Гершельман вас и сейчас еще разыскивает полиция...

Вера Юрьевна неподвижно стояла в окне, — вытянутая, тонкая, с широкими плечами... Только по движению юбки Хаджет Лаше понял, что у нее дрожат ноги.

— Хотя в ту пору у меня определенных планов не было, но вы сами уже были план, дорогой случай. Кровно связаться с человеком — дело сложное, — большие деньги дают за такого сотрудника... Хе, хе!.. Теперь, когда планы созрели, согласитесь — глупо нам не договориться до конца... Признаю, начал не тонко... Вы женщина эффектная и комфортабельная. Поставили свои условия, я поставлю свои. Но уже — итти в дело слепо и без психологии... Есть, капитан? Ножки-то дрожат? Ай ай... Мне один военный рассказывал, — бреется он утром, а солдатешки приводят еврея: шпиона поймали... Ну, велел повесить, а сам бреет другую щеку, глядит в окно, — еврей висит, в котелке, ноги длинющие... История будничная?.. Так нет, — прошло сколько уже лет... Только он бриться, — висит еврей, и такое уныние, ничем не отвязаться от этой памяти... Так он что, — отпустил бороду... А совсем заурядный человек...

Вера Юрьевна вернулась на диван, взяла из портсигара папиросу:

— Пример неудачный... Против себя рассказали... (Зажгла спичку)... Свяжь кровью — пошлейшая бульварщина... Константинопольские воспоминания взволновали меня, но — в последний раз, так и запомните... Сейчас смотрела на озеро и захотелось пойти и выкупаться после всей этой пыли... А вы, Хаджет Лаше... (Закурила)... просто мне не импонируете ни как мужчина, ни как собеседник... Очевидно вы не имели дела с интересными женщинами... Но это неважно... Мои требования: комфорт, свобода бесконтрольная и, — никакого общения между нами, кроме делового... Я — верна, я — хороший товарищ, если сказала да, то — да... Излагайте ваши требования...

— Вера Юрьевна, во-первых, то, что скажу, — тайна, даже от Леванта.

— Хорошо...

Хаджет Лаше прислушался к голосам внизу и, гройдя на цыпочках, закрыл дверь. Вернулся...

— Завтра я еду в Ревель, — начал он вполголоса...

.....

*(Продолжение следует)*

# Три рассказа

С. ЛЕВМАН

## I. Настигнутый песней

Казалось, у времени лопнула шина, и вся эта громоздкая, грохочущая машина, летящая в бесконечность, врезалась в сегодняшний день, как обезумевший автобус в витрину универмага. Врезалась и застряла — эта чудесная, полноголосая, упругая машина, набитая до отказа человечеством, городами, любовью и славой, скрежежом экспрессов и дымом труб. И Жуков ощутил толчок, от которого сплюснулось сердце. Он стоял на маленькой солнечной станции, вокруг шатались скучающие дачники, не люди, а тряпичные куклы, низко висела дневная истома. Комкая только-что прочитанную газету, Жуков оглянулся и был очень удивлен, убедившись, что ничего здесь не изменилось.

Но шина все-таки лопнула, вопль раненой резины бил по нервам. Жуков присел на горячую скамейку и, расправив газету, перечитал статью. На заводе прорыв, — словно взорвали гору динамитом и в черную дыру хлынула вода. Прокатная сдала раньше других цехов, план полетел к чорту, бригады словно зацепились за что-то, еле ползут. Жуков представлял себе, что творится в цехах, в парткоме, у председателя завкома товарища Тарыбова... Чорт возьми, как это угораздило его, Жукова, уехать в отпуск!

— Шестьдесят два процента, — вслух сказал он, ни к кому не обращаясь, — слышали такое дело? Эх, кляп те в зубы, прокурили завод, сволочи...

Но слова не несли облегченья, их горечь растревала рану. И сознание то-

го, что он, Жуков, ничем не может помочь заводу, было едко, как дым. Споткнувшееся время уже снова несло вперед, гремя и блистая, а Жукову все еще казалось, что он не может сдвинуться с места. Надо было что-то предпринять немедленно, что-то решить... Смешно предположить, что если бы он, Жуков, был на заводе, то этих шестидесяти двух позорных процентов не было бы... Ну, может быть, выполнили бы план по прокатной еще на пять процентов, — экая невидаль! Что может сделать секретарь цеховой комсомольской ячейки, когда вся машина летит под откос?

— Эх, болт те в зубы, что же делать? — взял он себя в оборот и встал с распаренной скамьи. — Что ты будешь делать?

Подкатил дачный поезд и замер, отряхиваясь. Смеясь и перекликаясь, соскочила на землю ватага молодежи: там были девушки в белых платьях и не подачному изящных туфельках, были и молодые люди со свертками и гитарами. Жуков с ненавистью отвернулся от них и пошел домой.

Он жил у замужней сестры — жены железнодорожника. У сестры был ладный домик из четырех комнат (две сдавались на лето дачникам), было хозяйство с коровой, курами и всякой всячиной, а посреди двора — клумбы с цветами. Домик стоял на отлете, почти в лесу, но уединения не было, потому что полуодетые люди весь день ходили взад и вперед, влекомые мечтой о неслыханном отдыхе.

Уже подходя к дому, Жуков вдруг понял, что здесь ему нечего делать: он просто не знал, за что приняться, когда

закроет за собой калитку. Зато он знал, что если Друг — рыжая длинноухая собака — бросится к нему навстречу, то он ткнет ее сандалией в морду, чтоб не приставала. Он смутно предчувствовал, что скажет колкость сестре и не ответит на обычный привет дамы, проживающей за тонкой перегородкой. Поэтому он свернул в лес и пошел, не разбирая дороги. Вначале ему попадались измятые полянки, усеянные окурками, яичной скорлупой и обрывками газет, но спустя полчаса следы цивилизации потускнели. Деловито и плотно стояли золотые сосны, пни чернели обломками рук, подобно нищим, трава засасывала, как тина.

Злоба вздымалась в нем, злоба стегала его и гнала вперед. Стоило дружиниться восемь месяцев, из кожи лезть, строить ударные бригады в прокатной, подымать ребят на дыбы! Стоило выжимать сердце, как лимон, чтобы очутиться вдруг перед прорывом... да еще каким! Ударники, болт вам в зубы!

Он шагал быстро, но злоба и тоска не отставали. Он понял, как нелепо его пребывание здесь — в лесу, на солнцепеке, на отдыхе. Собственно, еще на станции, комкая газету, он решил, что надо сматывать удочки и мчаться на завод, но от этого решения злоба еще густела, наливалась, тяжелела. В кои веки собрался он отдохнуть, и вот — пожалуйста! Кроме того, он хорошо знает, как трудно осаживать машину, сорвавшуюся с вершины.

Он вышел на поляну, уставленную белыми смешными игрушечными домиками, — это было кролиководство. На краю поляны хромой старик варил в огромном котле пищу для своих питомцев и дребезжащим старческим голосом тянул заунывную песню. Жуков долго стоял, уставившись на вареву непонимающими глазами. Потом повернулся и быстро зашагал обратно. Он знал теперь, отчего так прилепилась к нему тоска: ему нехватало песни.

Прижавшись спиной к стволу сосны, он запел. Слов не было, да они и не нужны были: нужен был только плавный взлет голоса, нужна была мелодия. Он не мог бы сказать, откуда он взял этот щемящий, зыбкий мотив. Возможно даже, что он никогда не слышал его,

и все же в нем было что-то неуловимо знакомое, трепетное, нужное. Он пел, а эхо, спотыкаясь, бежало к нему со всех сторон и никак не могло добежать. Он пел в тоске и злобе и ударял прутом по стволу, отбивая такт.

Песня оборвалась неожиданно: просто ему надоело, это пение в лесу показалось ему таким смешным. Прижавшись к сосне, он обдумывал свое решение — вечером уложит вещи и укатит в город. Хорошо бы еще сегодня повидать кое-кого из ребят.

Он прислушался: лес гремел голосами, смехом, аплодисментами. Вот так история — неужто его подслушали? Он хотел бежать, но голоса приближались со всех сторон, и он понял, что ему не избегать встречи. Тогда он закурил и стал ждать.

На тропинке возникло что-то белое. Медленно подняв голову, он стал разглядывать девушку, уверенно приближавшуюся к нему. Черноволосая, с красным ртом и вздернутым носом, она шла босиком, неся в руках туфли и шляпу. Он обратил внимание на красивые, сильные голые ноги.

— Это вы пели? — остановилась она шагах в десяти и тряхнула волосами. — Что это за песня?

— Не знаю, — холодно ответил он, — где-то слышал.

Она рассмеялась и уселась на траву.

— Мы стали плутать и решили итти на голос. Вы здешний? Как нам добраться до станции?

— Минут двадцать ходу, — снизошел он, — но туфли вам придется обуть, а то ноги пораните.

— Уже поранила, — забавно сморщилась она. — А ведь я вас знаю. Вы живете на Трехпрудном.

— То-то я замечаю, что лицо знакомое. Ладно, будем знакомы.

Где-то совсем близко зазвучали голоса, и Жуков собрался уходить.

— Пойдете по этой тропинке прямо, — разъяснил он новой знакомой, — потом свернете налево и доберетесь до полотна железной дороги. Оттуда до станции рукой подать.

— Куда же вы спешите?

— Некогда.

Но уже отойдя шагов двадцать, он оглянулся и крикнул:

— А как вас зовут?

В ответ она рассмеялась. Злой и обескураженный, он свернул с тропинки, чтоб не натолкнуться на кого-нибудь. Ему было неприятно, что он распелся в лесу, разнюнился, как последний сопляк. А еще досаднее было то, что какие-то барышни в бежевых туфельках аплодировали ему из-за деревьев, как оперному тенору. Но скоро он забыл о них: заводская тревога зазвенела в ушах, как отголосок утреннего гудка. В голове уже сложился план действий: прямо с вокзала он заедет к Мишке Носкову и разузнает все до деталей, а завтра с утра возьмется за рычаг.

В тот же вечер он уехал в город, — словно нырнул в водоем, — и не успел он оглянуться, как его завертело до головной боли. Как он и полагал, комсомольская ячейка была уже брошена на ликвидацию прорыва, и когда он, Жуков, появился в цехе, его без дальних расспросов поставили помощником бригадира в прокатной. Причины прорыва он выяснял уже на ходу и мрачно огрызался, когда ему смущенно рассказывали об отпусках, о затруднениях с топливом. Он вошел в сквозную бригаду и так подтянул мартенщиков, что секретарь парткома даже крикнул. По его же инициативе в клубе был организован общественный суд над прогульщиками и виновниками срыва. Он не знал выходных дней, аннулировал все ордера на бездумный отдых и летнее забвение, шел вперед и тянул за собой других, и Мишка Носков еле поспевал за другом, высунув язык и задыхаясь.

На семнадцатый день штаб по ликвидации прорыва официально заявил о переломе. И хотя заводская печатная газета была еще обложена тревогой, как тучей, но в цехах уже знали, что дело пошло на лад, а в столовой рабочие получили на десерт не беседчика, а концерт с участием русского оркестра.

— Вот, болт те в зубы, — сказал в этот вечер Жуков Мишке Носкову, — у людей отпуск чистенький да гладенький, а у нас свинья с'ела. Приходи ко мне нынче, дело есть.

— Ладно, — взыграл Мишка Носков, — вношу такое предложение, что бы без бабья. Принято единогласно.

Комната Жукова на Трехпрудном бы-

ла на втором этаже и окном выходила на двор. Со двора подымались испарения торопливой и переменчивой жизни, отзвуки слов и шагов, звучавших когда-то давным-давно, как будто звук от земли до окна проделывал такой же путь, как луч света от Марса до Земли. Поэтому Жуков любил вечером сидеть на подоконнике и разговаривать о необычном.

Жуков и Носков выпили по бутылке пива, и на крыльях желтоватой пены пришла к ним беседа — шипучая, крепкая, уводящая за полночь. Но, словно по уговору, ни слова не было сказано о заводе, прорыве и двадцатидневной беспощадной схватке за план. Говорили они о северной экспедиции, а потом о мещанстве.

— Встретил я на-днях Туманова, — рассказывал Носков, — помнишь Федьку Туманова с АМО? Который в литкружке состоял и стихи писал. Понимаешь, сижу я на бульваре, а мимо какой-то хлюст плывет: пальто семисезон, мягкая шляпа, а из-под шляпы — кудри. Я было сначала и внимания не обратил, а потом смотрю — да это же Федька! «Стоп, говорю, принимая во внимание возможность роковой ошибки, прошу высказаться... ты это, Федька, или ведьма с Симоновки?» Ну, разговорились мы. Оказывается, к нему теперь не дотянешься, хоть лестницу заказывай: знаменитый поэт и писатель и вообще гениальная личность.

— Зачем же кудри? — сосредоточенно спросил Жуков. — Мещанство же это...

— Стал мне о своих делах рассказывать: где его напечатали, да сколько за строчку, да что редактор сказал. И прет из него, знаешь, эта гениальность — чуть меня не стошнило. А под конец другие разговорчики: непонятая личность, философия разная, переживания. Такие словечки загибал, что вчуже совестно. А ведь сам, сукин сын, ничего не читал, СССР с ошибкой пишет. «Как дела на заводе?» — спрашиваю. «Да я уже давно оставил, — говорит, — литература и тяжелый физический труд не совместимы». Ах ты, гений! А ведь был парень ничего...

— Опасность мещанства, — все так же сосредоточенно продолжал Жуков, —

заключается в том, что ты его и не видишь. Как будто и нет ничего, а копни поглубже — болото. Стоит нашему брату закачаться, раскиснуть, разнюниться — а уж оно тут как тут. Вот в чем дело, братишка...

Они взялись за вторую бутылку, но в эту минуту издали донесся к ним призыв. Казалось, голос мчался из глубины небесных пространств:

— Э-эй, у окна! У окна-а-а...

В стене четырехэтажного дома, что напротив, Жуков разглядел окно, а в окне — белое платье, колебавшееся, как занавеска.

— Ах, болт те в рот, да ведь это же она и есть, — тихо сказал он, опуская бутылку на пол, — какого чорта она кричит на весь двор.

Но Мишка Носков уже кричал, как в рупор:

— Есть у окна!

В ответ прозвучал смех, такой же бей и развевающийся, как платье.

— Квартира 22, приходите в гости.

— Есть в гости! — пропел Носков.

— Ну чего ты разорался? — недовольно заворчал Жуков. — На кой чорт тебе связываться...

— А кто такая? Знакомая?

— Не знаю даже, как зовут... Нет, я не пойду, мне и здесь хорошо. Катись сам, если хочешь...

Но спустя десять минут они стучались уже в квартиру № 22, и черноволосяя девушка в белом, смеясь, жала им руки.

— Добрый вечер, Верочка, — рассыпался Носков, — как живете? Меня зовут Мишей.

— А меня Клавдией, — ответила она, не смущаясь. — Вы не сердитесь, что я нарушила ваше одиночество? У меня компания и вообще весело.

У нее действительно было весело и непринужденно, и Жуков скоро забыл, что у него было предубеждение против этой девушки. Наоборот, ему приятно было слышать ее смех и следить за тем, как она пожимает плечами или встряхивает волосами. Ему искренно жаль было, что на ногах у нее чулки — смуглая сила босых ног, пленившая его в лесу, готова была воскреснуть. Вообще, если бы его спросили, он сознался бы, что эта девушка ему нравится.

Мишка Носков разошелся, что случилось с ним регулярно после первой бутылки пива. К тому же день был праздничный: начало перелома на заводе. Вот почему он превзошел самого себя в рассказывании смешных и немислимых историй, а потом — в песнях и пляске. Жуков входил в веселье медленней и осторожней, словно нащупывающая ногой брод, но скоро малознакомые лица стали казаться близкими и обычными. Смеясь, вспоминал он об этой истории в лесу, когда пел, прислонясь к сосне.

— Мы вам хлопали, — сказала маленькая, пухленькая девочка, — но вы исчезли, как лесной дух.

Жуков стал ей говорить о заводе, о прорыве, о бегстве в город. Она смотрела на него понимающе и беззаботно: в сущности, им было безразлично, о чем говорить.

— Помогите принести патефон и пластинки, — коснулась его плеча Клавдия. — Я одна не дотащу.

Они пошли в соседнюю квартиру за патефоном. Нужно было миновать длинный полутемный коридор, и он взял ее за руку.

— Глупый, — тихо сказала она, улыбаясь, — почему вы тогда убежали?

Притащив патефон и пластинки, Жуков уселся на подоконник, откуда мог видеть окно собственной комнаты, и стал слушать. Легкая кисея тумана колыхалась вокруг него: возможно, что это была усталость, карабкавшаяся к нему на плечи в течение этих тревожных семнадцати дней. Звуки из другого, далекого мира — чарльстоны и фокстроты — бились о туманный полог и отскакивали.

— Он скучает, — тихо засмеялась Клавдия, дытаясь стащить его с подоконника, — я кричала вам отсюда: «эй, у окна!» — и все боялась, что вы не услышите. Где вы пропадали все эти дни?

— Работал. Только вот... на кой чорт вы надели чулки?

Она вырвалась и, смеясь, отошла. Мишка Носков подхватил ее и закружил, и Жуков пожалел, что не умеет танцевать. Потом он подошел к патефону, сам выбрал какую-то пластинку и вставил.

Щемлящая мелодия — такая страстная и бесстыдная — потянулась к нему, как змея, готовая укусить. Он растерянно оглянулся: две пары легко двигались по полу, срезая углы и обгоняя время, и было в этих движениях что-то отталкивающее и ненавистное, словно кто-то издевался над ним — Жуковым. И в рыдающих звуках, домчавшихся сюда из-за атлантической страны, тоже была издевка.

— Она, она! — радостно закричала Клавдия, хватая его за руку. — Ведь это же ваша песня... та самая, что вы пели в лесу. А я не могла вспомнить.

Он тихонько освободил руку и, не глядя ни на кого, пошел к двери. Мишка Носков что-то кричал ему вслед, но он не слышал. Трудно было понять, что с ним делается: было тяжело, стыдно чего-то и жаль тех минут, когда он бродил по лесу в поисках песни. Но разве его вина, что где-то и как-то услышанный мотив настиг его тогда под сосной?

## II. Орогены

Вера заканчивает работу не раньше шести: всегда находится что-нибудь срочное, неотложное, неотвратимое. К пяти в канцелярии института становится пустынно, перестает хлопать дверь, затихают коридоры, и только секретарь, товарищ Белозубов, все еще коптит над бумажками, записями, настольным календарем. Изредка он подымает свое острое личико, словно внюхиваясь, и без всякого выражения спрашивает:

— Почему вы не уходите?

Вера так привыкла к этим вопросам, что даже не отрывает глаз от машинки и не отвечает. Строчки выползают, как длинные полосы из мясорубки. Правая рука уже начинает тревожно ныть — это значит, что пора кончать. Но к утру нужно приготовить еще двадцать удостоверений. Кроме того, необходимо переписать три заметки для стенгазеты. Низко спущенная лампочка плывет над головой, как луна, медленно ступает вечер, набухший тишиной и безлюдьем.

— Орогены, — задумчиво произносит Белозубов и смотрит перед собой ошалелыми покрасневшими глазами. — Почему вы не уходите, Вера Михайловна?

Она вынимает из машинки недописанный лист и говорит, не глядя в сторону секретаря:

— Вам пора в сумасшедший дом. Какие еще орогены?

Тогда он собирает личико в тысячу лучистых, улыбчивых морщинок, как старушка, любующаяся шалостями внучат. Поднявшись из-за стола, он вдруг оказывается несуразно длинным, худым, совсем еще мальчишкой.

— Верочка, дорогая, не будьте так злопамятны. Стоит мне просидеть за этим дурацким столом пять часов подряд, как в голову начинают лезть сверхъестественные слова. Например орогены. Вы думаете, это такое индийское племя? Ничего похожего. Но если вы захотите узнать, как образуются горы, вам не удастся отвертеться от орогена.

— К чему мне знать, как образуются горы. Шли бы вы домой, если делать нечего.

— Ядро материков состоит из массивных, незыблемых щитов, старых до неприличия, но это не орогены. Это, если вам угодно, кратогены. Но для того, чтобы получить горы, нужны еще такие складки, которые налезли бы на эти щиты и между ними и вдавили бы их как следует. Вот это и есть орогены...

Вера опускает голову на руки и прислушивается к боли в кисти правой руки. Право же, стенгазета может обождать еще день и удостоверения тоже. Но Белозубов смеется, и она быстро и легко вставляет новый лист.

— Они гибки и эластичны и образуют вокруг древних щитов целые венцы складок в роде гармошки, они движутся и перемещаются и создают новые горы. К сожалению, это продолжается тысячи тысяч лет...

— Заткнитесь, Белозубов, — устало бросает она, — вы мне мешаете.

— Совершенно верно, — радостно подхватывает он, — как прямое начальство я запрещаю вам торчать здесь так поздно. Что вы такое пишете?

— Для стенгазеты... К тому же это вас не касается.

— Вот я заявлю в местком, — угрожающе говорит он и, словно ошпаренный неожиданной догадкой, добавляет: — Какая вы хорошенькая!

В седьмом часу Вера закрывает машинку чехлом, устало моет руки и озбоченно разглядывает губы в маленьком зеркальце. Ей предстоит получасовой путь по скользким зимним улицам, наперерез ветру, хлещущему из переулков. Домой она возвращается пешком, чтобы подышать холодом, шумом и неуютом города.

Свернув бумаги трубочкой, она легко проносится по коридору мимо закрытых аудиторий. В помещении ячейки она передает напечатанное секретарю ячейки, товарищу Володину, которого зовут просто Н. К.

— Вот хорошо, — говорит он, коснувшись ее затаенным теплом внимательных, неторопливых глаз, — завтра будем газету расклеивать.

— Склонившись, он пробегает глазами узкие листки, а Вера ждет. У него густые черные волосы, тяжело лежащие на затылке и легко вьющиеся у синеватых висков.

— Я нахожу, — говорит Вера, — что эта заметка о Белозубове глупа и бездарна. Он немного рассеянный, но чудесный парень и работает как мул. Вы слышите, Н. К.?

Он ухмыляется и треплет ее по рукаву, не отрываясь от листков. Ей кажется, что она сделала трудный подъем на шестой этаж, с сердцебиением, дрожью рук и пересохшими губами. Поэтому она сидит беззвучно и только осторожно отводит руку.

— Допустим, — начинает он, — что вы редактор и к вам попадает такая заметка. Допустим, что заметка бездарна, но учитываете ли вы ее политический эффект? В канцелярии расхлябанность, ненужная толчея, — при чем же здесь ваши дружеские отношения к Белозубову? Дело требует крепкой хватки. Конечно Белозубову будет неприятно...

— Не в этом дело, — с какой-то злобой прерывает она, — вы не хотите меня понять. Тон этой заметки, вкус ее — отвратителен. Автор исходит из того, что всякий секретарь — канцелярская крыса, а каждая машинистка — старорежимная барышня с подведенными глазами. Ведь это же оскорбительно.

Он ныряет в кресло, словно хочет стать совсем маленьким и укромным, и тихо смеется. Бунт машинистки — это

немного неожиданно, но заслуживает внимания.

— Почему же? — страстно спрашивает она, пряча от его взгляда нервные руки. — Я работаю по семи, восьми и больше часов, делаю тяжелую физическую работу. Правая кисть уже ноет — профессиональное заболевание. С четырнадцати лет я зарабатываю на себя, у меня нет другой жизни. Даже сны у меня будничные, точно вычитанные в газете. И все же я в сознании многих — барышня с маникюром, только и мечтающая о любовных делах. Почему вы молчите, Н. К.?

— Очень хорошо, — резюмирует он, — вы подаете надежды. А Белозубова мы все-таки прохватим, это ему не повредит.

Они спускаются рядом по лестнице, и метельный ветер насмешливо бьет их по щекам. Город отягчен вечерней суетокой, спешкой, город ежится на ветру, тускло поблескивая заиндевевыми витринами.

— Романтика! — весело кричит Володин и тщетно старается закрыть лицо воротником. — Где-то есть река Юкон, золотоискатели, гонка на собаках и мокассины. И мы летим с вами на санях почище всяких Джонов и Гарри.

— И вам не стыдно? — радостно кричит она в ответ. — Это же мещанство.

— Или мы бежим с вами на оленях из ссылки, ямщик пьян, пурга и бездорожье.

— Вы и сейчас пьяны, Н. К.

— С четырнадцати лет на физическом труде, — да вы же герой труда. Но насчет самокритики, товарищ, у вас слабо.

Он не хочет пожать ей руку на прощанье, они еще не успели поговорить как следует.

— Я найду к вам и напьюсь чаю. Что скажет на это ваша сестра?

Они сидят втроем — он, мокрый и жизнерадостный, Вера и сестра — за маленьким круглым столом и пьют горячий чай. Разговор мчится, как броневой поезд, сшибая преграды и отстреливаясь. Процесс вредителей, безработица на Западе, маргарин по карточкам, премьера в Художественном, очереди на Петровке. Володин пьет, низко на-

клоняясь к стакану, и черные мокрые волосы на затылке лежат тяжело, как парик.

И вдруг Вера ощущает толчок, словно поезд затормозил на полном ходу. Дребезг стаканов — как осколки полузабытых слов. Вот бы погладить эти влажные, черные пряди. Она с ужасом прижимает губы к чашке и пьет, обжигаясь, чтобы не выдать своей растерянности.

— Гоните меня в шею, — хохочет Володин, — мне же некогда. Можете также пожалеть меня — в такую чортову пургу я уйду один, как изгнанник.

Вера занята очередными вечерними делами. Сестра, вымыв стаканы, пытается завязать беседу:

— Он веселый. Почему ты зовешь его так смешно?

— Николай Константинович — чересчур уж длинно. В институте все зовут его так — Н. К.

Ночью ей снится равнина, снежное безлюдье, узкие санки. Володин сидит рядом, и она чувствует его руку на своем рукаве. Он что-то кричит, но ветер задувает слова, как свечу, и обжигает ледяными ладонями. И проснувшись раньше обычного, Вера лежит с закрытыми глазами и думает, как теперь быть. Желание погладить черные волосы держит ее крепко, как на причале. Встречаться каждый день, чтоб только обменяться несколькими словами, — это очень трудно.

Ничего не решив, она уходит на службу, механизм ее жизни работает по-прежнему, по-прежнему прибегают к ней преподаватели и студенты и клянутся, что работа срочная. По-прежнему неистовствует на несуразно длинных ногах Белозубов и по-прежнему совсем вблизи, на расстоянии нескольких рук, дышит Володин, веселый и бесконечно нужный.

Проносится пятидневка, и снова они шагают вместе домой, но на этот раз с ними еще Белозубов. Володин спрашивает в упор, что такое «метод проектов» и как его надлежит осуществлять, и красноречие Белозубова звенит на морозе сосульками. Володин берет Веру под руку — ведь они заговорщики, и опьянение молодым смехом несет их по снежной скользи. Они поднимаются в гору, ощущая себя кровин-

ками большого натруженного городского тела.

На мостовой, раскорячившись, бьется из последних сил мотоциклетка. Она не в силах одолеть скользкий подъем, она попросту примерзла. Мальчишка на коньках смешно болтается позади машины, жестикулирует, подталкивает, тужится. И вот, словно в руках подростка заключена неведомая сила, мотоцикл срывается с места и лезет в гору, а мальчишка уже уцепился сзади и, влекомый вперед, свистит восторженно и нахально.

— Похоже на тебя, Белозубов, — смеется Володин. — Тебе тоже кажется иногда, что ты подтолкнул какую-то идею, но потом она уже тащит тебя ни-весь куда.

— Орогены! — подхватывает Вера. — Расскажите еще разок об орогенах.

— Насчет идеи ты прав, Н. К., — ораторствует Белозубов. — Я пришел к выводу, что человек также состоит из кратогенов и орогенов, из био-психосоциального щита, который почти незыблем, и всяческих складчатых наслоений. И если хорошенько вникнуть...

Но они почти не слушают его, потому что их связывает безмолвный заговор. Трудно сказать, в чем он состоит, этот заговор, но наличие его несомненно. В противном случае, зачем бы им шагать так легко и дружно, неся молодость высоко на плечах, как кувшин, полный до краев?

Володин и Белозубов убегают к трамвайной остановке, а Вера медленно и сосредоточенно подымается к себе.

— Он любит меня, — шопотом рассказывает она себе самой и долго стоит перед собственной дверью, почему-то не решаясь позвонить.

На следующий день она дважды заходит в комнату, где настойчиво курят, обсуждают, сшибаются и принимают важнейшие решения и где не курит только один Володин. Вера приносит в первый приход какие-то бумаги и молчавно кладет на стол. Во второй раз в ее руках театральные билеты, которые все рассматривают с интересом.

«Ты любишь меня, — думает она, глядя на его крепкие, в химических чернилах пальцы, — отчего же ты не скажешь? Отчего ты молчишь?»



Но дни скользят легко, как конькобежцы, и совсем близко — на расстоянии вытянутой руки. Вера прислушивается к мерному скрежету дней и делает свое дело, засиживаясь до шести и позднее, если нужно. И так же терпеливо, как одолевает ее, машинка разграфленные дебри программ и метод разработок, ждет она, чтобы тот — черноволосый — заговорил. Спешить, в сущности, некуда.

В свой выходной день отправляется она с сестрой в театр. На сцене — большой сорокалетний человек, затертый льдинами дел, и хрупкая девушка с прозрачными руками. Они говорят о чем-то постороннем, но Вера уже знает, в чем дело. «Ты любишь ее, — обращается она к седеющему человеку, — почему же ты ей не скажешь?»

А когда зажигается свет, она видит впереди себя, в девятом ряду партера, знакомую спину и знакомые черные волосы, тяжело обложившие затылок. Рука сидящего впереди нее человека лежит на спинке стула и почти касается плеча белокурой женщины.

— Пойдем, — говорит Вера сестре, — здесь так душно. Вообще я сегодня плохо себя чувствую и напрасно пошла в театр.

Володин весело приветствует ее и как будто хочет подойти, но она отводит глаза и о чем-то заговаривает с сестрой. Володин и белокурая женщина проходят мимо. А когда на сцене снова появляется седеющий деляга, Вера смотрит на него презрительно. «Напрасно страдаешь, — говорит она беззвучными губами, — она тебя не полюбит».

В институте много дел, много общественных нагрузок. Учебная часть включилась в социалистическое соревнование, студенты создают ударные бригады, стенгазета выходит сравнительно аккуратно. Если не считать некоторых неизбежных неприятностей и недоразумений. Вера чувствует себя здесь недурно. Главное — ребята поняли, что за машинкой сидит не барышня, а машинистка. Веру раздражает только Белозубов, которому до всего есть дело.

— Вы идете в гору, Вера Михайловна, — напыщенно вещает он, покачиваясь перед ней, как подвыпивший, — вы зачислены в актив и делаете карье-

ру. Это Н. К. вас двигает, имейте в виду.

— Как вам не стыдно!

— Что же здесь обидного, дорогая вы моя? Это его обязанность как секретаря ячейки. А то, что вы хорошенькая, нисколько не мешает делу, смею вас уверить.

— Вы болтун. Вы не можете мириться с тем, что машинистка занимается общественной работой. Вы пошляк. Вам нужно пристегнуть секретаря ячейки и мою наружность.

— Орогены... — смущенно лопочет Белозубов. — Кто вас укусил, дорогая? Верьте чести, я и не думал...

Вытаращив ошалелые глаза, он уходит и бесцельно шатается в коридоре. Вере нисколько не жаль его: пусть не лезет!

Уходя с работы, она заботливо следит за тем, чтоб не столкнуться случайно с Володиным. Возможно, он выжидает случая, чтобы снова навязаться ей в попутчики, она даже убеждена в этом. Но она совсем не расположена к таким прогулкам. Жизнь отодвинулась и скрежещет где-то в отдалении, и Вера предпочитает проводить вечера дома, на диване, за книгой.

Приближаются перевыборы месткома, и теперь Вере приходится засиживаться в канцелярии чуть не каждый день: то совещание, то срочно требуется отпечатать копию отчета, то еще что-нибудь.

Как-то утром забегает в канцелярию Володин. Он оживлен, сосредоточен, немного рассеян. Он стоит позади Веры и, улыбаясь, наблюдает пляску пальцев.

— Вера, — тихо говорит он, — как живете?

Не отвечая, она вызывающе оглядывается. Как он смеет так улыбаться?

— Вера, — продолжает он, — пожалуйста, взгляните ко мне перед уходом. Очень нужно.

— В чем дело?

— Мне нужно вам кое-что сказать.

Вот оно — настоящее слово, которому звенеть и петь, не умолкая. Но Вера только небрежно кивает головой и продолжает писать, — ведь она ударница и не может отвлекаться по всякому пустяковому поводу. Ладно, она

зайдет и выслушает то, что он ей скажет. Она знает, что ответить: достаточно будет напомнить о красивой белокурой женщине с нежным подбородком.

— Белозубов, — говорит она, складывая бумаги перед уходом, — ваша теория об орогенах никуда не годится. Не знаю, что происходит с горами, но человек ведь не из сланца. Эпоха накладывает на него такие пласты, которые держатся крепче всех этих древних щитов.

— Вот еще, — возмущается он, — что это вам пришло в голову?

Она стоит несколько минут в коридоре, словно собирая силы. С четырнадцати лет она привыкла отвечать за себя и взвешивать каждый свой шаг, бороться с препятствиями, лавировать между человеческими страстями, защищаться.

И сейчас, за дверью, ей грозит опасность. Вот почему нужно собраться с мыслями и держаться как можно проще, немного даже грубо. Сказать ему в лицо все, что она о нем думает.

— Вот и отлично, — улыбается он, — ей из-за тяжелого неуклюжего стола, — а я уж думал, что вы забыли.

Она усаживается по другую сторону стола и кладет сумочку на колени. В слабом свете лампы лицо его отмечено усталостью.

— Я слушаю. Почему у вас такой усталый вид?

— Да неужели? Сам не знаю.

Он касается ее медленной лаской глаз, и она физически ощущает это прикосновение. И, падая, она понимает вдруг, что выхода нет, что вот сейчас он скажет ей то самое значительное и единственное слово, которого она ждала, и она ничего не сможет ответить. Она будет молчать и смотреть на него, а он подойдет к ней...

— Вера, — говорит он, — я имел возможность хорошо узнать вас. Я видел вас на работе, в самом пекле, и знаю, что вы крепко стоите на ногах. Вы — из той ватаги, которая строит и построит новое здание для человечества. И мне хочется поговорить с вами по душам.

Сумочка скользит между пальцами и легко падает на пол. Вера безвольно нагибается, чтобы поднять ее, и губы ее дрожат.

— Вам нужно сделать еще шаг вперед, — продолжает он, — вы все же держитесь особняком. Я беседовал с товарищами, и мы решили выдвинуть вас в состав будущего месткома. И мне поручено... Что такое? Что с вами?

Она смеется, положив голову на стол, смеется надрывно и безудержно, и каждому ясно, что ей совсем не хочется смеяться. Он стоит над ней, растерянный, гладит ее по плечу и что-то бормочет.

— Это ничего, — всхлипывает она сквозь смех, — усталость. Не обращайтесь внимания. Чуть какая-то, орогены...

### III. Железное кольцо

Умильно-услужливый человек долго возился у рыжего шатучего шкапчика, неизвестно как попавшего сюда — в эту грязно-белую, неуютную мазанку. Собственно, столь же непонятно было и присутствие здесь этого верткого, хлопотливого человечка. Но шкап сознавал, что он является единственным украшением комнаты и хранилищем государственных дел, а человек не испытывал ничего, кроме желания провалиться, нырнуть, раствориться.

Предрика бушевал за столом, бушевал сдержанно и грозно, и по его молодому черноусому лицу металась солнечные пятна, словно отплески слов, отраженных экраном потолка. Скванная буря гремела за столом. Члены правления СОЗ — их было четверо — чувствовали себя, как на палубе парохода в сильный ветер, и старательно крутили цыгарки. Главное — этот черноусый парень в кожанке и с наганом, который угадывался за кожаной броней, видел их насквозь, от него нельзя было спрятать ни одной мысли, ни одного движения.

— По вашему сельсовету четыре колхоза уже выполнили задание и выдвинули встречные планы, а у вас... что у вас? За последнюю пятидневку вывезено двести пудов хлеба, двести пудов! Двдцатая часть задания, двдцатая часть того, что вы сами обязались вывезти. Тысячи людей в районе бьются за хлеб, за хлеб для советского государства, а у вас тишина и благочестие. Скоро наступят праздники господни,

вы возьмете талес под мышку и пойдете в синагогу, а хлеб будет лежать неубранный в степи, как падаль. Ах, как хорошо живется в Эмесовке, евреи могут отдыхать в тени своих виноградников и вспоминать благословенные времена Соломона.

Кожанка хрустнула на нем, словно где-то рядом разрубили полено.

— Ну, — повернулся он к секретарю правления, все еще ломившемуся в шкаф, — скоро?

— Товарищ Забойский, — сказал председатель правления, — наш СОЗ не заслужил такого обращения. С двадцать седьмого года сидим мы здесь, своим горбом строили поселок, шли в упряжи как волю, грызли степь зубами. Разве мы не понимаем, что такое советское государство и что оно делало для нас, местечковых евреев? Мы очень хорошо понимаем.

Предрика изумленно поднял на него глаза, словно сидевший перед ним узкогрудый, седеющий, с нервным тонкокожим лицом человек вдруг заиграл на флейте. Только тут предрика заметил, что председатель не курит — единственный из всех собравшихся — и что под тонкой смуглой кожей его красивого лица играют желваки.

— Нужно вывозить хлеб, — упорно сказал предрика, — все это мы слышали.

— А кто говорит, что не нужно? — лицо председателя свело судорогой. — Кто посмеет сказать, что не нужно? И разве мы не вывозим? Шесть тысяч пудов мы дали уже, дадим еще. Но вы хотите получить с нас четырнадцать тысяч, когда у нас столько нет. Когда мы принадлежали к Никопольскому району...

— К чёрту! — глухо бросил предрика, словно отряхиваясь. — Когда вы были в Никопольском районе, то в райисполкоме сидели украинцы, и вы крутили им голову, потому что вы ведь переселенцы, избранный богом народ. Мы не хуже вашего знаем, сколько у вас хлеба, можете не сомневаться.

Единоборство между секретарем и шкапом закончилось: на стол легла синяя папка, на которой было написано по-русски: «Члены СОЗ'а». Насвистывая песенку, товарищ Забойский про-

сматривал списки, делал какие-то отметки в своей записной книжке. Председатель сидел молча и смотрел в окно: по широкой деревенской улице клубилась пыль, и ветер шарил по земле, похозяйски подбирая все, что попадалось.

— Так, — просвистал предрика и встал, хрустя кожанкой, — все в порядке, задание правильно. Через два дня должно быть вывезено четыре тысячи пудов. Я поеду в степь и посмотрю, что лежит в копицах. Полевод поедет со мной. А вам, товарищ Меклер, — повернулся он к председателю, — я советовал бы помнить, что вы в еврейском районе и забыть о том, что было раньше. У вас шестьдесят два трудоспособных члена СОЗ'а. Завтра же они должны выйти в степь. Позаботьтесь о мешках и приготовьте лошадей, чтобы послезавтра начать вывозить.

Он пошел к двери и вдруг обернулся.

— Сколько у вас лишенцев?

— Двое.

Он заметил, как пожелтело личико секретаря, усмехнулся и вышел. Синий автомобиль, облепленный ребятишками, ждал его.

Когда машина укатила, председатель задумчиво снял шапку и стал трогать лицо как незнакомый предмет. И хотя в комнате не оставалось никого, кроме пожелтевшего секретаря, и даже запах хрустящей куртки уже выветрился, председатель все еще крепко молчал, сдерживая мысли, как понесшую лошадь.

— Как он вам понравился, реб Мерер? — угодливо вильнул секретарь. — Набрасывается, как тигр.

Председатель усмехнулся в бородку и сразу пришел в себя.

— Вот я вам скажу, Пальчик, — медленно протянул он, словно глубоко задумавшись, — вы думаете, что жизнь есть прямой и широкий шлях, но вы глубоко ошибаетесь. И если вы забыли, что евреи находятся в рассеянии, то вы ребенок. Четыре года мы поливаем слезами и кровью эту землю, нашими слезами полнятся колодцы, нашей кровью насыщаются колосья. Что же вы думаете — все это ничего не стоит?

Он положил ладонь на желтые и белые папки, пряча их от мира.

— Нас пришло сюда сорок семейств. Как наши предки в пустыне, жили мы в шатрах, рыли колодцы, валялись от зноя и голода. Два года сряду степь отхаркивалась неурожаем, и нам из города возили семена. И когда приезжали из округа комиссары, мы водили их в степь, потрескавшуюся от божьей кары. Что могли они возразить на это?

— Но ведь теперь хуже, — прошептал секретарь, — мы в еврейских руках. Этот Забойский...

— Довольно, — резко оборвал председатель, — я не хочу знать о нем.

После долгой паузы он продолжал:

— Есть еще Комзет, есть Агроджойнт, есть организации, которые вступятся за евреев. Четырнадцать тысяч пудов хлеба, — откуда их взять?

— Я хочу сказать, реб Меер...

— Молчите, я знаю, что вы хотите сказать. Вы хотите сказать, что это не так уж много и нечего вступать в драку с диким зверем. Вы — идиот. Мы отдадим хлеб и будем сидеть как дурни и ждать награды? Может быть, вам хочется получить знамя? Нет, мы еще посмотрим...

Успокоившись, он заговорил тихо и задумчиво:

— Жизнь — извилистая тропинка, и нужно шагать по ней осторожно. Мы будем понемногу вывозить, а там увидим. Только бы комсомол не пронюхал — вы поняли? Если нужно будет, я съезжу в Херсон и потолкую кое с кем...

Председатель вышел на улицу.

В пыли, легко шагая, двигался к нему навстречу невысокий, плотный человек, гладко стриженный, с широким русским лицом. Вытянутые в линию, неотгороженные, словно овечьи пылью, стояли домики, и каждый из них имел свою краткую биографию. Несмотря на свою молодость, дома приобрили уже сероватый оттенок крестьянской обжитости и грелись на солнце, как самые заправские старики.

Стриженный человек подошел к председателю и протянул руку. Это был рабочий, по имени Бутяга, член рабочей бригады, брошенной партией на помощь хлебозаготовкам в еврейском районе. Почему так понравился ему шестнадцатый поселок, — никто не мог бы

сказать, но он застрял здесь и отсюда делал вылазки по всему сельсовету. В правление колхоза приходил он редко, а все больше вертелся в степи, вокруг трактора и мажар, в конюшне и сыроварне.

— Что это такое делается, товарищ Меклер? — рванул он что-то рукой и плотно надвинулся на председателя. — Опять к тракторам в ночную смену никто не вышел. Ходил я с нарядчиком по хатам: один, говорит, болен, другого нет, а куда девался — неизвестно. Дисциплина, матери их чорт...

Председатель отступил, но внутренне остался очень доволен. Значит Бутяга не встретился с Забойским, — это хорошо.

— Не все сразу, товарищ Бутяга, — сказал он, — ты хочешь одним махом сделать из артели завод.

— Надо пересмотреть наряды, — перебил Бутяга, — взять в работу молодых ребят. Валандаются они у тебя, как беременные.

Они просидели с полчаса за списками и нарядами. Когда дело казалось уже налаженным, Бутяга сказал на прощанье:

— Понимаешь, товарищ, ерунда выходит. Жрать нечего. Хотел хлеба купить — не дают. Говорят, мельница не работает, для себя нехватает. Сметаны кринку еле выпросил. Да разве я задаром? Я заплачу. А то ведь подохну с голоду, матери его чорт... Ты бы поговорил с мужиками-то, верно...

— Ладно, я поговорю.

— Ругаться с ними неже, а жрать-то ведь надо... ты как скажешь?

— Плохо мы живем, товарищ Бутяга, бедно. У старых крестьян всего вдвоём: тут тебе и масло, и яишня, и мед... А у нас — сам видишь — какое хозяйство. Ты не обижайся.

— Да нет, я не в обиде. А только похудаю ведь. Ну, да ладно...

Он ушел, а председатель остался сидеть, вертя между пальцами список назначенных в наряд. Встретившись взглядом с секретарем, он чуть заметно улыбнулся.

— Пошлите ему еще хлеба, — тихо сказал он, — и хватит с него.

— Реб Меер, — опасно пригнулся к нему секретарь, — это может плохо

кончиться. Рабочий да еще из бригады. Приедет в район и расскажет, что его голодом морили.

— Отчего у вас голова болит? — жестко процедил председатель. — Не ваше дело. Вы хотите, чтоб он просидел у нас еще месяц? Никому эи ни словечка не скажет, будьте спокойны. В каждом деле нужна психология.

Председатель уехал в степь, а секретарь принялся переписывать какие-то бумажки, тревожно поглядывая в окно. Опасность был так близка: неукротимый предрика носился по полям, сотрясая еврейские души.

Поздно вечером, когда перестали стучать деревянные ставни, председатель зашел к Бутяге, занимавшему угол у сапожника. На столе чадила керосиновая лампочка, стены ушли в темноту, как в туман, Бутяга что-то писал на длинном листе бумаги, время от времени закусывая карандаш. На столе перед ним лежала краюха хлеба, а доска стола хранила еще молочный след кувшина.

— Как дела? — спросил председатель, усаживаясь. — Поужинал? А я пришел просить тебя к себе на ужин.

— Спасибо, — спокойно поднял к нему лицо Бутяга, — я уже сыт. Что скажешь хорешого?

Председатель поднес к свету свои пригоршни, будто творя молитву:

— Один вопрос я хотел тебе задать, товарищ Бутяга, — начал он задумчиво. — Живем мы в глуши и не с кем поговорить по-настоящему. Передавали мне, что приехал ты к нам добровольно, сам рывзался пособить в хлебозаготовках. Почему же ты выбрал еврейские колонии? Нет, я не так спрощу. Вот ты—рабочий, сельского хозяйства не знаешь, языка нашего не знаешь. Понимал ли ты, как трудно будет тебе управляться?

Не дождавись ответа, он продолжал:

— Ты кричал мне сегодня о дисциплине, а я про себя смеялся. Это хорошо на заводе о дисциплине кричать, а у нас тут кто? Бедняки, бывшие торговцы, маклера. Сапожник — вот и весь наш пролетариат. Разве они знают, что такое настоящий крестьянский труд? Ты требуешь дисциплины.

А знаешь ты, как намаялись мы здесь в прошлые годы? Нет, ты об этом не думал. Тебе все равно: русский, еврей, немец. А ведь мы не просто мужики, мы переселенцы, на нас заграница смотрит...

— Заграница, ишь ты!

Бутяга усмехнулся, и лицо его вдруг сузилось и стало скрытым и хитрым.

— А пускай себе смотрит, нам не жалко. Вот выполним хлебозаготовки, я от вас и уеду. А насчет евреев я понимаю, но только мой взгляд такой: все трудящиеся должны вместе бороться и выполнять линию партии. Это, брат, главное.

Председатель не опустил глаз: когда имеешь дело с опасным зверем, нужно его гипнотизировать.

— Ты должен понять, товарищ Бутяга, что новый переселенец еще не так крепко сидит на земле, как старый колонист. Тысячи людей бросили насиженные дома и хлынули в степь, чтоб почувствовать почву под ногами. Чем встретила их земля? Засухой, горем она их встретила. В нынешнем году первый урожай, товарищ Бутяга, еврейский крестьянин собрал первый хлеб. Он лелеет этот хлеб, как первенца. Что же будет, если весь хлеб заберут?

— Ну уж и весь, — насторожился Бутяга, — это что за агитация?

— Ведь я хочу с тобой поговорить по душам.

— Ладно, давай по душам. Так ты говоришь, что вас оставляют без хлеба?

— Нет, я хотел другое сказать. Вот вы заберете у колхоза все излишки — и еврей опять почувствует себя, как в лавочке, где товара остается всего лишь на один день. Уверенности не будет, понимаешь? Вот с тридцать первого участка двое уже снялись и уехали в город. Еврей ищет устойчивости...

Он умолк, как актер, выдерживающий паузу.

— Я говорил в районе, а меня не слушают. Думают, я прячу хлеб. А зачем мне прятать? Я — мужик, а не спекулянт. Но что нельзя, то нельзя. Разве уж так легко было наладить переселение?

— Н-да, — мрачно сказал Бутяга, — что же ты предлагаешь?

— Ты рабочий, бригадник, ты видишь все. Ты знаешь, что я говорю правду. Отправляйся, в округ, пусть они там пересмотрят. Откуда нам взять четырнадцать тысяч, когда мы можем дать самое большое — девять?

Бутяга думал. В полумраке лицо его расплылось и было чужим и грозным. Председатель ощутил вдруг себя в железном кольце, холод металла в'едался в тело, как волчьи зубы.

— Ну что же, — вымолвил под конец Бутяга, — если колхоз требует, я поеду. Созывай собрание, обсудим.

— Давай на правлении...

— Нет уж, скликай всех, дело серьезное.

Ночь, полная до краев теплыми ветрами и запахами, расплылась в широкую улыбку, когда председатель шел домой, пересекая лунную тропинку. Ночь беззвучно смеялась, приветствуя удачу председателя. Вот будет неожиданность для Забойского, когда ему дадут нахлобучку из округа. А главное — колхоз здесь не при чем, все затеяла рабочая бригада...

На ранней заре председатель очнулся, как от удара в окно. Небо висело высоко, розоватое, обещающее нестерпимый блеск, размалеванное лиловыми и оранжевыми полосами, словно ребенок прошелся кистью.

Распахнув окно, председатель услышал крики, ржанье, скок мажар — то выезжала в степь первая бригада. Он пошел к конюшне и стал болтать с ребятами. Бутяга тоже был здесь — осматривал еще с кем-то трактор.

«Трется он вокруг молодежи» — неприязненно подумал председатель.

— Товарищ Меклер, — приветствовал его Бутяга, — молодежь у тебя что надо, все вышли в срок, а вот старшие отлынивают. Ты их подтяни, ладно?

Днем председатель раза два встретил Бутягу: он о чем-то толковал с комсомольцем Липой, две девушки стояли рядом и слушали. Часа в четыре прибыл уполномоченный по сельсовету, взял последнюю сводку и ускакал дальше; но председателю передавали, что у сыроварни уполномоченный повстречал Бутягу и они минут пятнадцать беседовали.

Вечером председатель сел сочинять резолюцию: он диктовал, нервно поглаживая аккуратную черную бородку, а секретарь медленно писал, то и дело чиркая и исправляя. Председатель был озабочен.

— Надо так написать, чтоб каждое слово было на месте. Вы думаете, Забойский не примчится сюда и не будет рычать, как тигр? Вот почему мы должны написать так, чтоб у него сразу пропала охота кричать. Пишите: «В интересах укрепления колхоза, состоящего из одних переселенцев...» Нет, это слабо. Пишите: «Переселенческий СОЗ «Новая заря» шлет привет рабочему классу СССР и обещает напрочь все силы, чтобы выполнить...» Да пишите же... «Но для того, чтобы СОЗ, состоящий из одних бедняков...» Опять не то, зачеркните. «Заслушав сообщение товарища Бутяги, рабочего-бригадника, о хлебозаготовках и развитии колхоза, общее собрание поручает ему...»

Секретарь хихикнул и робко поглядел на диктующего, но и на лице председателя блуждала улыбка. Пусть этот русский парень вывезет на своих плечах еврейскую заботу.

— Пишите: «Двадцать процентов пшеницы отсырело в стеци, потому что две недели шли дожди, а для уборки нехватало рабочих рук...» Нечего смеяться, это совсем несмешно. «Потому собрание поручает тов. Бутяге...»

— Поручает, — не выдержал секретарь.

Но в это время в сенцах раздалися шаги, дверь поддалась без стука, и Липа-комсомолец вошел, насвистывая. Он грохнулся на скамью и полез в карман за махоркой.

— Когда собрание — в девять? Отчего так поздно? Кончите в двенадцать, а нам в пять на работу.

— Раньше нельзя, — беспокойно ответил секретарь, — пока управятся с делами, пока что...

— Ладно, — отрезал Липа, — поговорим об этом на собрании. Вот какое дело, товарищ Меклер. О чем собрание? О заготовках?

— Ну конечно.

— Вот и хорошо. Было у нас сейчас совещание молодежи, тоже насчет

заготовок. Вынесли мы предложение, хотим предложить и общему собранию.

— Какое предложение? — председатель перестал гладить бороду и резко повернулся к парню. — В чем дело?

Липа неторопливо закурил и зачем-то положил выгоревшую спичку на стол.

— Молодежные бригады предлагают заключить социалистическое соревнование с колхозом четырнадцатого участка, а также выдвинуть встречный план и сдать до 15 октября шестнадцать тысяч пудов.

Председатель молча встал — маленький, худой, натянутый, как струна, за-

хлестнутый гневом. Удар в лоб был слишком внезапен и оглушителен, и не было слов, чтоб швырнуть их в лицо молчащему парню.

— Это... Бутяга затеял? — прохрипел он. — Бутяга?

Липа часто заморгал ресницами и тоже вскочил.

— Вот еще... Что у нас самих головы нет?

Председатель сел. Железное кольцо сомкнулось вокруг него, холод металла впился в тело, подобно волчьим зубам. Не глядя на пожелтевшего секретаря, он нашарил на столе недописанную резолюцию и, смяв, сунул ее в карман



# Яблочко

ВЕРА ИНБЕР

Никакая тебе груша-абрикос,  
Всякая такая сладость,  
Никому из них не довелось  
В революцию попасть.  
Только яблочко—его я не отдам,  
Нравится мне эта песница —  
С шумом прокатилось по годам,  
Как по лестнице.  
Из Кронштадта на Урал и Крым  
Прощумело сверху вниз  
Яблочко—матросский розмарин,  
Аховый анис.  
У него, у яблочка, загар  
Никакими силами не стерт.  
Эх, веселый овощ, экспортный  
товар,  
Первый сорт!  
Мы его, когда уж речь о нем;  
Скоро экспортировать начнем  
И водою и по берегу,  
И в Европу, и в Америку.  
И Европа, разлюбивший друг,  
Скажет: «Да вот это фрукт!»

---



# Ядовитый газ

ВЕРА ИНБЕР

Любочка, Любаша,  
Это гордость наша,  
Из себя картиночка  
Притом.

Любочка, Любюся,  
Нашла себе гуся,  
Желтые ботиночки  
На нем.

У Любуси, Любки,  
Вздернутые губки,  
Лучше не рассказывай  
При нас.  
У Любуси, Любки,  
Лучше не рассказывай,  
Шарфик очень газовый,  
Ядовитый газ.

Ходит по аллейке,  
Бусины на шейке,  
Хоть возьми да задуши.  
«Эх, Любовь Петровна,  
Это безусловно,  
До чего вы хороши!»

Только слышим как-то,  
Председатель Жакта  
Подарил ей мыло  
Лориган.  
И за это мыло,  
Что ей только было.  
Гусь-то оказался хулиган.

Сел он с нею рядом.  
Хватить — и пали градом  
Бусины Любусины

Под скамью.  
Сам же он за спинкой  
Заколотся финкой,  
До прихода Гепеу.

И у крематория  
Председатель Зорин  
Произнес такую речь:  
«Жалко, жалко, говорит, до дрожи,  
Эдакую пару молодежи,  
Словно мусор, бросить в печь,

Если человекозаготовки  
Нам нужны. Без них — мы никуда.  
То, говорит, любовь без целеустано-  
новки  
Это как квартира без воды.

Парень мог учиться. Был не стар  
еще.

Люба эта — чем не счетовод.  
А теперь, вы видите, товарищи,  
Все наоборот.

Жалко, мне, говорит, жалко  
Нашей милой Любки,  
Находящейся в гробу,  
Но, говорит, подобные поступки  
Я, говорит, одобрить не могу».

Выслушали мы. И загрустили.  
Прав оратор. Нечем крыть.  
«Эх, Любовь Петровна,  
Это безусловно,  
Вам бы следовало жить!»

# В польском плену

Записки

Н. А. ВАЛЬДЕН

(Окончание 1)

## Ужасы лагеря. — Меня выписывают из больницы

Несмотря на самый свирепый отбор, госпиталь стал понемногу пополняться. В лагере попрежнему начался голод, изнурительные работы, бесчеловечная жестокость, нередко доходившая до прямых убийств наших пленных на потеху пьяной офицерни. Но теперь к ним подошли на подмогу сильные союзники — дизентерия, картинно называемая на польском языке «червонкой», тиф, скарлатина, холера. Больные сотнями умирали в лагере, — якобы до обнаружения болезни, и десятками — в госпитале. Не могу назвать точной цифры наших, побывавших в польском плену, но вред ли ошибусь, сказав, что на каждого вернувшегося в сов. Россию приходится двое похороненных в Польше.

Передо мной стоит, бесконечно тянется цепь оборванных, искалеченных, изможденных человеческих фигур. Сколько раз я выравнивался вместе с товарищами по несчастью в обрывках этой великой цепи — на разных поверках и обходах. И в тон обычному «рассчитайсь — первый, второй, третий» слышится «покойник, покойник, живой, покойник, покойник, живой».

Впервые за все время пребывания в лагере власти разрешили пленным полезный труд. Артели плотников и дровосеков трудились над изготовлением гробов, — много их, белых и некрашенных, проплыло, качаясь, по улицам нашего больничного городка.

Мои воспоминания не дают подлинного отражения тяжелейшей каторги, на

которую были обречены наши пленные в концентрационных лагерях. Мне повезло лишь стороной пройти лагерную Голгофу. Да и то непродолжительное время, что провел я там, я находился в прострации, которую не могла нарушить даже польская дубинка. Мы ждем еще настоящего бытописателя ужасов польского плена-застенка.

Наступил день выписки. С утра по палате пошел шопот, что ожидается посещение какого-то доктора-ревизора: страшный суд! Барак будет очищен от всех выздоровевших или выздоравливающих. Полковнику, начальнику госпиталя, повидимому надоело слышать доносы на нашу докторшу. «Пансионат какой-то устраивает для большевиков и галичан» — шипела сестра. Теперь она ходила радостная, так и сияя каждой морщинкой, каждой гнусной складкой наглого лица. Она останавливалась то у одной, то у другой постели, бросала несколько слов, в которых чувствовалось торжество долгожданной расправы.

Доктор-ревизор был одним из так называемых познанчиков — уроженцев Познани. Любопытное наследство оставила Пруссия Польше. Германизованные поляки переняли в известной мере прусские точность и упорство, но «фуророславика», славянская безрассудная страстность, отбросила, разумеется, сдержанность и умеренность германского характера. Капитан Стачинский, вихрем ворвавшийся в наш барак, собственноручно срывавший рубахи с пациентов, был образцом такого познанчика, — точность и трудолюбие, добренные невыносимой грубостью и горячностью. Он, носясь по палате, на ходу ставил диагноз, выметал, как сор, едва оправив-

1) См. «Новый мир», кн. 4 с. г.

шихся людей с полузажившими ранами. Моя докторша едва поспевала за ним своей быстрой, эластичной поступью. За ней, переваливаясь по-утиному, ковыляла сестра.

Еще один миг — и Стачинский оставился у моей постели.

— Что с ним?

— Лихорадка, — быстро соврала докторша.

Но капитан уже успел выслушать сердце, посмотреть глаза, подавить живот. Он быстро поворачивается к «Гнедке», бросив ей что-то непонятное.

— Лихорадка, — крикнул он уже громче. — Пусть лихорадит в лагере.

Р-раз! — он резко сорвал с гвоздя температурный листок с моим именем и бросил его прямо в нос сестре. Символический жест — выписка из госпиталя.

Я безразлично откинулся на подушку. Но что это? Моя «Гнедка» вырывает листок у сестры и опять водружает его на гвоздик. Вот она уже опять поворнулась со Стачинским и дает объяснения о состоянии здоровья другого больного.

Не знаю, как уж это устроила «Гнедка», но я остался в госпитале. Сестра, донимавшая меня всякими придирками, теперь сразу сдала и чуть ли не сама стала делать мне всякие послабления. Вполне возможно, что она-то своими доносами — часть из них прямо относилась ко мне — и вызвала внезапную ревизию в нашей палате. И, убедившись в безуспешности своих усилий, решила больше попусту не соваться.

Никак не могу припомнить, кто раздобыл для меня дырявые ботинки и какую-то рваную шинелишку. Я начал расхаживать по палате, подсаживался то к одному, то к другому больному. Выбор был правда очень уж ограничен. Поляки меня не жаловали, с петлюровцами я почти не разговаривал, наших же осталось всего 2—3 человека.

### Встреча с Пилсудским

В одном из коридоров я наткнулся на старое воззвание Пилсудского. Не помню уже содержания; в памяти остались лишь чрезвычайная напыщенность его реторики и скромная подпись:

«Начельный вудз, начельник паньства и перший маршалек Польски», т.-е. верховный вождь, начальник государства и первый маршал Польши.

На прокламации был и портрет Пилсудского. Черты лица показались мне знакомыми. Где я мог видеть пана маршалка?

— Ах вот оно что!

Во время моего «путешествия» по Польше нас где-то погнали пешком за неимением свободных вагонов. Двигались мы пожалуй быстрее польского поезда, но итти было все же очень утомительно. На одном из поворотов дороги показалась коляска, эскортируемая всадниками. Капрал остановил нас. Группа голодных, избитых бродяг вытянулась шеренгой.

— На бачность! — прокричал неистовым голосом капрал... — Смирно!

Коляска на минуту остановилась. Насупленные брови, нависшие усы. Мрачный, презрительный взгляд скользнул по нашим жалким фигуркам.

— Большевизм! — резко-насмешливо крикнул своему соседу сидевший в коляске военный. — Эй, прентко! (быстрей) — ткнул он в спину кучера. Коляска умчалась.

Разве Пилсудского не гнали в свое время на каторгу царские жандармы? И не вспомнилась ли ему при этой встрече знаменитая Владимирка?

Не будем врывать в чужую душу. Может быть, как раз тогда он и смаковал свое обращение к украинскому народу:

«Войска польской республики несут с собой покровительство и обеспечение всем жителям Украины. Я призываю украинский народ помогать польской армии, проливающей кровь за свободу Украины...»

И тут он как раз увидел перед собой украинцев, — к тому времени у нас уже стделили овец от козлиц, великороссов от украинцев, и притом в виде, говорящем о чем угодно, только не о «покровительстве и обеспечении». О, большевистская бестактность!

Невольно приходят на память следующие строки:

«Постепенная оккупация польскими войсками означает собой гибель украинского населения, выданного на милость польской солдатни.

В Есуполе на следующий день после прихода поляков 16 крестьян повешено без суда.

В Сокале расстрелян 70-летний старик Демчук за то, что его сын служил в украинской армии.

Около Бартачева поляки взяли в плен украинский патруль под командой подпоручика Косаря. Косарь окружается легионерами во главе с офицером. Два легионера схватывают Косаря за руки, третий — пускает ему пулю в лоб.

Тюрьмы полны украинцами, принадлежащими ко всем классам, арестованными только потому, что они украинцы и говорят по-украински. Число арестованных доходит до 2 тысяч.

...Арестованные без различия пола и возраста подчиняются самому бесчеловечному тюремному режиму...»

Как и следовало ожидать, «не забывали» и о евреях. Хорошие традиции «древней святой Польши» требовали того, чтобы насиловали еврейских девушек, убивали стариков, грабили гетто. И традиции были соблюдены самым точным образом.

Все это — документы, цитируемые и комментируемые Рене Мартелем в его книге «Франция и Польша», и относятся к занятию поляками Галиции. Но разве не точно так же держали себя поляки и во время кратковременного пребывания на нашей Украине? Ужасное мучение готовит себе буржуазная шовинистическая Польша!

### Сер ежа Леонгард.—,Знатные иностранцы“

Мне как-то сказали, что в соседнем бараке лежит тоже один «политический». Курьезно, но для большего сходства с тюрьмой так именно называли поляки всех «подозрительных по коммунизму». Не так легко было выйти из нашего барака: оставляя этот островок, я сразу оказывался на вражеской территории, где со мной могли учинить все, что угодно, — вышвырнуть в лагерь или просто расстрелять. Сомнительная юрисдикция моей покровительницы «Гнедки» ограничивалась стенами барака. Пойманный вне его, я уже оказывался виновным в нарушении правил и подлежал за это «законной» ответственности.

Я пробрался в соседний барак. У двери лежал на постели молоденький паренек, почти мальчик, с большими, наивнопытливыми голубыми глазами на ма-

леньком иссушенном личике: у него была отрублена по колено левая нога. Он перенес немало тяжелых минут и, как и я, не знал, что ждет его впереди. И все же Сережа был полон бодрости и веселости, которую можно бы назвать циничной, если бы не сопутствующие ей кристалльная чистота и искренность.

Леонгард незаметно для нас обоих согрел и воодушевил меня. Кончилась полоса моего одиночества — мучительнейшего для меня состояния. Теперь было с кем и поделиться страхами и надеждами, и просто потолковать, поспорить. Скоро к нам присоединился еще третий работник, ревтрибуналец К. — мрачный и добродушнейший мужчина.

Мы трое отдыхали, собравшись, по старой школьной привычке, у клозета, или поздно вечером, после обхода сестры, в уголку за моей кроватью. Нам не скучно было в сотый раз пересказывать свою биографию, злоключения в плену, вести bestолковые, но такие милые, чисто русские споры о великом будущем, которое творится там у нас, в близком, в недостижимом советском краю...

В разведках на территории госпиталя — я делал их не из одного праздного любопытства, а для подготовки побега — мне пришлось натолкнуться на офицерский петлюровский барак. Жившие там дюжие, плечистые молодцы вероятно не очень скучали, — особенно в первое время, рассказывая друг другу «зятные» истории о погромах, о кражах со взломом и вспарывании живота, о замученных жидовках...

Как тут не вспомнить опять Гоголя. «Дыбом стал бы волос от страшных знаков свирепства полудикого века. Избитые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранные кожи с ног по колени у выпущенных на свободу... Бегущие толпы жидов, женщин вдруг омоголюдили города» («Тарас Бульба»).

Только на самом деле у очень немногих «дыбом стал волос» от свирепств нашего «цивилизованного» века.

Из внимания к заслугам петлюровцев польские власти разместили их по-двое в комнатке, давали им улучшенный стол. И все же обе стороны были недовольны: поляки брезговали вторым, ухудшенным изданием своих галичан, требуя от них большей активности на поле брани и

более тихого поведения в Польше, а новоявленные союзники считали себя обиженными уже потому, что негде им было развернуться и показать свою удал, разумеется, по отношению к мирному населению. На фронт и в тыл к противнику их не особенно тянуло.

Кроме этого барака, был еще другой, ветхий домик, где-то на задворках между большими, обнесенными колючей проволокой участками лагеря и госпиталя. В нем жили настоящие белые офицеры. Жили они бедно: кто мазал картинку, кто лепил коробочки. Все без исключения попрошайничали.

Единственной отрадой их мрачной жизни были, кажется, еженедельные посещения капитана — начальника лагеря.

— Господа офицеры! — возглашал дежурный по комнате.

И генералы, полковники и прочие вытягивались в струнку перед молодым польским офицериком, польщенно и самодовольно улыбающимся во все стороны.

### Марина

Она появилась как-то в нашем бараке с кипой книжек, останавливаясь у постелей польских солдат, завязывала беседу, предлагала что-нибудь для чтения... Кстати, из всех насущных потребностей польского воина печатное слово стояло на одном из последних мест.

— Дочка какого-то начальства, красивая, ласковая, — говорили о ней мои соседи.

Я посмотрел на посетительницу, которая чуть замешкалась, проходя мимо меня.

Большие синие глаза, строгие, чуть испуганные. Высокий, дегенеративный лоб. Стройная, худенькая фигурка. Тяжелые пряди пепельно-золотистых волос. Маленький яркочерный рот на бледном лице.

Пухлые капризные губки чуть дрогнули. Она остановилась.

— Яки смутны очи, пан... — Музыкальный, несколько наигранный варшавский говор.

Опять «очи». Далась мои глаза.

Я попросил чего-нибудь почитать. Мы обменялись несколькими словами. Своей быстрой, несколько тяжелой поступью уже подросла к нам «Гнедка», обняла Марину за талию и увела ее с собой.

Несколько дней чудился мне аромат ландыша в нашей большой, небогоухающей палате.

Марина Верачек, дочка довольно крупного польского чиновника, хорошенькая, молоденькая, стала приходить в госпиталь почти каждую неделю. Она конечно не садилась у моей постели и даже не задерживалась дольше 5—7 минут. Но ее посещения действовали почти так же сильно, как уход моей милой докторши. Я любовался ею, как любят статуэткой, редкой находкой из другой эпохи, из другого мира. Человек, истоптанный грубыми польскими сапогами, изголодался по изяществу и красоте. Она была для меня не польской дворянкой, представительницей чуждого, ненавистного класса: истомившееся воображение откидывало все это прочь, оставляя только зернышко вечно-женской участливости и ласки. Вместе с этой полькой, то вытесняя ее, то претворяясь в нее, смешиваясь с ней, вспоминались мне давно забытые подруги политотдельских дней и армейских переходов... В моем сознании произошел какой-то перелом: словно открылось маленькое окошечко в прошлое и будущее — домой, на родину...

Вообще, если бы не «Гнедка», не Сережа, я давно бы захирел и нравственно опустился в сравнительно благоприятных больничных условиях. Но при всем «комфорте» мне все же чего-то недоставало. Легкое обожание со стороны Сережи, величая покровительственность «Гнедки» недостаточны ворошили во мне зверино-нутряное желание жить... Марина как бы вернула меня к жизни. Не для себя.

### Помощник писаря

Марина и «Гнедка» долго уламывали старого полковника, начальника госпиталя. Дело было серьезное, — вопрос шел о том, какими путями оставить меня здесь? «Гнедка» пошла напролом: решила добиться, чтобы мне позволили работать в качестве помощника писаря одного из барачков в виду недостатка квалифицированных работников и знания мною польского языка.

Я понимаю бедного полковника: и должности такой не существовало, и грамотных людей, знающих польский,

хвatalo. Прежде же всего — грубое и опасное нарушение закона.

И все-таки мои заступницы добились своего.

— Что, пан, справишься с этой работой? — по обыкновению с чуть презрительной лаской спросила меня «Гнедка».

— Поразмыслию, — ответил я, пряча, как всегда, за спасительную отсрочку.

В тот же день наша тройка имела продолжительное совещание. К. требовал, чтобы я принял предложение: «можно будет знать, что делается в канцелярии, какие мероприятия стоят на очереди, можно будет наконец помочь своим». Сережа с такой же страстностью возражал: «Позорно хотя в чем-нибудь сотрудничать с поляками, красноармейцы станут смотреть на меня как на чужого». Я сказал, помнится, что в общем согласен с нашим трибунальцем. Но, поскольку вопрос касается лично меня, воздерживаюсь от окончательного высказывания и приму соответствующее решение только тогда, когда один из товарищей переубедит другого. В конце концов Сережа сдался. Я стал помощником писаря.

Как сейчас вижу маленькую клетушку венерического барака, — поприще моей работы, — вижу маленькое окошко, выходившее куда-то на задворки, столик и две койки (вместе со мной жил еще санитар). Стульев не было. Но над самым столиком была лампочка, освещавшая всю крохотную комнатку ослепительным светом. Эти 25 свечей, позволявшие читать вечерами, действительно затмевали все юпитера, которые приходилось видеть. Какое наслаждение очутиться в этом закутке после длинной, темной палаты с десятками человеческих тел, сопящих, скрипящих зубами, лыхтящих, возмущающих слух, зрение и обоняние!..

Мое непосредственное начальство по канцелярии — отвратительная, вся цветущая эротоманка — вдвойне обрадовалась моему приходу. Она могла оставить всякое попечение о работе. А возни было много — поляки и петлюровцы наперебой поставляли больных. Сверх того, пани Ружа очень непрочь была подарить меня и своими ласками — по

совместительству. Она вскидывала водянистые глаза и подчеркнуто напевала поганую песенку:

Як хідеш квяты мечь в огродзе  
То мусишь их полевать вдвинж<sup>1)</sup>.

Я наконец довольно круто заявил, что никаких цветов возвращать с ней не собираюсь. Отстала.

Тяжелый человек был ординатор барака. Такой же изувер, как обманутый мной сионист, да вдобавок еще и совершенно несносный истерик. Когда он бил больных по лицу за то или иное несоблюдение правил, его пронзительные, захлебывающиеся окрики и ругательства были, кажется, большей ударов. Ко мне он отнесся как к неизбежному капризу начальства.

В чем состояли мои обязанности? Я заносил температуру, вел учет больных, выписывал продовольствие.

На громадной площади лагеря и госпиталя, кроме нескольких сестер и писарих, не было совсем женщин. И этот обслуживающий персонал успешно пополнял наш барак. Кроме того, поляки и петлюровцы умудрялись делать за ночь по 15—20 верст, чтобы попасть в ближайшую деревушку. Ни ругань, ни рукоприкладство нашего достойного врача не могли удержать от ночных походов и обитателей нашего барака, спокойно передававших далее благоприобретенные гонорею и сифилис, — и я до сих пор с омерзением вижу перед собой молодых, здоровых на вид парней, подхлывших строем, один за другим за влыванием ртути. Сыпь, язвы, анекдоты, — брр...

Не могу не вспомнить при этом о двух наших сестрах милосердия, которые почему-то были пощажены поляками и ютились неподалеку от барака. Не хочется думать о том, как они спасали свое существование. Омерзительнее всего, что они повидимому примирились со своей судьбой... Не знаю, что с ними стало впоследствии...

### Американцы.—Мулла

Посещения венерического барака уже никак не входили в круг обязанностей

<sup>1)</sup> Если хочешь иметь цветы в саду,  
Поливай их беспрестанно.

благовоспитанной барышни, хотя бы и самаритянки. «Гнедка» тоже внезапно скрылась с горизонта...

Я махнул рукой на прекрасных незнакомок. Что я знал в самом деле об этих девушках? Они помогли мне и отошли, — и очень хорошо сделали, избавив меня от выражения благодарности. Да и не до того было. Хотя поляки и приняли кое-какие меры, холера, дизентерия, тиф продолжали свирепствовать в лагере. Двух основных условий — чистоты и хорошего питания — все равно не было и не могло быть. А в таком случае всей профилактике грош цена. Помочь мы, наша тройка, были бессильны. Больных старались поменьше держать в лазарете. Выздоровевших, еле двигавшихся от слабости, санитары вежливо выводили обратно в концентрационный лагерь.

Приезжала какая-то американская комиссия, привезла одеяла, фуфайки, кучу всякого продовольствия. Наши конечно ничего из этих благ не увидели, да и польских солдат только мазнули по губам.

Недели через три меня вдруг спешно вызвали к полковнику.

— Кончились мои красные денечки, — подумал я, шагая в сопровождении солдата по гулким коридорам старого каменного здания, главного штаба управления лагерем и госпиталем.

У полковника я застал рослого, упитанного иностранца, одного из американских благодетелей. Пришел, оказывается, еще транспорт теплых и вкусных вещей, и американцы хотели получить отчет в том, как были распределены их прежние даяния. А большевистский пленный, за неизменем лучшего, должен был служить переводчиком.

Толстый полковник был очень красен и смешно заикался. Американец застыл в официальной натянутости. Говорили они оба очень быстро, и я их сначала плохо понимал. Знавший иностранец добивался, чтобы ему показали хоть один из теплых, пушистых пледов, присланных набожными американками «бедным солдатикам». Совершенно невыполнимое и бестактное требование: пледы давно уже были сплавлены полковником на рынок...

Не отвечая на вопросы, скользя мимо

них, полковник все время толковал о каком-то чрезвычайно дорого стоящем диететическом питании.

— Ты ему то вытолмачь, — понукал он меня с чрезвычайным азартом.

Полковник говорил якобы по-английски, но очень плохо. Однако я очень скоро убедился, что он в действительности ни бельмеса не понимает.

Завязалась следующая беседа: полковник говорил о прелестях питания и лечения, американец — о своих одеялах, я... об ужасах лагеря, о польских издевательствах...

Американец обалдело хлопал глазами. Лысую башку полковника осенила блестящая мысль. Он заявил, что часть одеял под замком, на складе, часть приведена уже в полную негодность и выброшена. Я перевел это заявление дословно, почти без комментариев.

Американец. Разрешите пройти на склад.

Поляк: Не можно. Нет каптенармуса.

Переводчик: Вы лучше бы на рынок прошли.

Пауза. Несколько глубоких вдохов.

Американец: Ну, а в лагере? Эти одеяла невозможно так быстро износить.

Поляк: Да эти звери испражнялись на них.

Переводчик: Они этих одеял и не нюхали.

В конце концов полковник запугал американца разговорами об эпидемиях. Услышав неожиданное подтверждение и развитие темы с моей стороны, ревизор забеспокоился о своем здоровье. Как ни гладко прошла беседа, полковник начал подозрительно посматривать и не разрешил мне проводить американца. Могу сказать, что обе стороны расстались в наисквернейшем расположении духа и не с очень высоким мнением друг о друге.

Никаких результатов мои разоблачения не дали. Да я и не ждал каких-либо реальных, непосредственных результатов: хорошо было просто отвести душу. А, может быть, и удалось все же забросить кое-какие «семена сомнений» в сознание заокеанского гостя?

Не успел я вернуться в барак, как санитарный сожитель с лукавым видом сообщает мне, что меня искал мулла.

— Мулла? Какой мулла?

— Да ты ж музельман, пся 'крэвь!

Ах, да! Я бесспорно мусульманин. Но что делать с муллою?

Как рукой сняло мою веселость. Санитар, хитрая бестия, улыбается во весь рот. Он знает, что я такой же мусульманин, как он турок.

Но... «большевистский офицер, музельман» — гласила запись в госпитальной книге.

Не успел я пораздумать толком, вижу приближается ко мне фигура в рясе. Я впервые видел муллу и вообще плохо разбираюсь в одежде. Может быть, это была и не ряса. Во всяком случае что-то длинное, спускающееся до полу.

Слащавая улыбка. Резкие, почти хищные черты лица. До меня долетели какие-то непонятные слова.

— Татарин есть? — переспрашивает мулла на ломаном русско-польском языке.

— Да, татарин. Только родители увезли меня из Крыма годовалым ребенком. И потому я не говорю, не читаю и ничего не знаю по-татарски.

Мулла посмотрел, посмотрел на меня, покачал головой и ушел. Так меня и не вернули в лоно мусульманской церкви. Один аллах знает, что подумал обо мне мулла? Понял ли он, в чем дело и настрочил донос? Или счел, что я рехнулся? Однако больше никто не нарушал моего религиозного мира, и я преспокойно продолжал пребывать в мусульманах.

### Снова Марина

Дни шли за днями. Я выполнял свою работу, совершенствовался в польском языке, тихо недоедал и попрежнему томился в плену. Жалованья мне, разумеется, не платили. Да и что толку в этих деньгах: они бы все равно перешли в карманы моего сожителя по комнате. Наша тройка и так платила ему, чем могла: оставшейся порцией, случайно перепавшими папиросами, — только чтобы выставить его на час-два из моей каморки и побыть вместе, без посторонних свидетелей.

Зима подходила к концу. Поговари-

вали об обмене отдельными пленными, о подготовке к отправке эшелонами. Но все это тянулось бесконечно долго. В Варшаву приезжала советская комиссия из Центропланбежа. Мы особенно опасались того, что о нас забудут, оставят чуть ли не последними в Польше. Как снести со своими из этой проклятой дыры, как дать знать о себе, если и найти какие-либо пути? Все мы были занесены в списки под более или менее вымышленными фамилиями. Нельзя же было взять да написать: красноармеец такой-то, — в действительности вовсе не красноармеец и не «такой-то», — просит о скорейшем возвращении на родину?

Мы решили бежать, попасть в Краков или Варшаву, связаться с какой-нибудь организацией. Калека Леонгард не мог присоединиться к нам двоим — к К. и мне. Зато он был самым деятельным и восторженным заговорщиком. Нужно было обработать кого-либо из санитаров, купить его обещанием большой денежной награды и с его помощью выбраться из госпиталя и переждать в ближайшем городе. За 500—600 злотых доставали хороший польский паспорт, с которым можно было отправиться куда угодно, хоть в сейм. Но мы не могли мечтать и о десятой части такой суммы.

Я усиленно взялся за обработку моего санитара. Рассказал ему, действуя на наиболее отзывчивые душевные струны, что у меня в Киеве спрятаны большие деньги. Мне бы только пробраться в Краков, повидаться с одним знакомым евреем, а тот уже вытянет деньги в Польшу и т. д., и т. п. У санитара текли слюнки, но на прямые действия он все же не решался. Нужно было обязательно дать ему хоть несколько злотых. К. знал одного из наших пленных, еврейского мясника Бугослава, которому удалось устроиться на госпитальной кухне. Бугослав пользовался неважной репутацией, лебезил перед поляками, остатки от обеда отдавал в свое дежурство только полякам и низшему начальству. Но у него были связи с еврейской общиной в Вадовицах. Раз в месяц он ходил в город и приходил оттуда немного навеселе и с мелочью на расходы. Что если попытаться до-



стать через него немного денег? Я написал письмо с просьбой о помощи «единоверцам». Бугослав снес его местному филантропу. Никаких результатов. Денег мы не получили.

В этот момент заболел К. Его не стало в три дня. Я крепко держался за него, как за практичного и находчивого человека. Что если бы я «пошел в бега» один? Пропал бы конечно; пропал бы ни за что в первой же хате.

В этой до тошноты, до головокружения зыбкой неопределенности получаю вдруг записку от Марины. Сухой, деловой тон. Ей нужна практика в английском языке. Так как в городе нет ни одного человека, знающего язык, то «папа» разрешил ей заниматься со мной и получил у полковника под свою личную ответственность, разрешение выдачи мне раз в неделю пропуска для посещения города. Лагерь находился верстах в пяти от Вадовиц. Чтение этого письма было пожалуй одной из самых счастливых минут в моей жизни. Шутка ли: возможность пойтч в город, т. е. первый шаг к освобождению!

### Почти на воле

Быстро, весело вышагивал я по нашей госпитальной улочке, неся во весь дух по пыльным, пустынным коридорам главного здания.

— Стой! — вдруг раздалось за поворотом коридора. Блеснула каска.

— Цо-цо-цо есть, — нервничал часовой покалывая меня штыком.

Я, оказывается, добежал уже до канцелярии полковника. Борясь с отдышкой, с трудом мог объяснить, что вызван к начальству.

— До капитана—и такой веселый,— все еще не мог успокоиться поляк. И прав был парень: разговор в канцелярии ничего веселого не предвещал. Но не мог же я показать солдату записку от Марины!

— Не пушу, — вдруг решил страж. Еле-еле уломал его ссылками на какое-то чрезвычайной важности дело.

Часовой постучал себя по лбу: «Рехнулся, мол?»

Я кивнул головой с добродушной улыбкой, совсем как brave солдат Швейк. Часовой потерял терпение. Он

открыл дверь, бросил: «до рапорту» и пхнул меня в канцелярию.

Вылощенный офицерик посмотрел мимо меня, повторил дважды фамилию и начал искать распоряжение полковника. Искал он довольно долго.

— Не найдет, не найдет, — досадовал я. А там полковник раздумает. И всегда ведь так, перед самым финишем поскользнусь.

— Есть, — резко сказал офицер. — Пропуск. Иди!

Я вышел из ворот госпиталя, посмотрел на старый серый дом, на заборы и колючую проволоку, державшие меня в своих лапах. И, мне стало еще веселее оттого, что я наконец видел все это снаружи, с этой «стороны» решетки.

Необычайно ясно помню большую проселочную дорогу, обсаженную вязами. Листва уже начинала распускаться. Солнца не было. Горбом поднималась узкая вымощенная улочка. Она казалась мне такой же нарядной, вымытой и чистенькой, как и все вокруг в грязном городишке на ухабистой дороге. Вот и дом с гербом, с колоннами — дом провинциального небогатого дворянина. Герб занимает чуть ли не половину узенького фасада, колонны — деревянные.

Меня уже вели по витой лестнице в гостиную, в гостиной я нашел Марину, привичия ради, с младшей сестренкой. Сажу в кресле, пью чай с печеньем, слушаю пустую, занимательную болтовню. Как будто у себя в Москве зашел к скучающей соседке.

Чинная девочка с большими недоумевающими глазами скоро вышла. Мы остались вдвоем. Марина внезапно вернула меня к действительности.

— Пусть пан никогда не говорит, что был комиссаром, — сказала она вполголоса. — И оберегайся, пан, капитана Антоненко.

Антоненко!

Вместо ответа я приступил к занятиям: ведь у нас был урок английского языка! Да и за дверью наверное кто-нибудь подслушивает.

И учитель и ученица были на этот раз невнимательными.

Возвращался я домой, т. е. в госпиталь, в более минорном настроении, до

мелочей осмысливая свою встречу с Мариной.

Предостерегла меня от Антоненко... Большая смелость для типичной польской паненки. Как это понять? До каких пределов может идти ее помощь? Как бы не сорваться, потребовав слишком многого.

Мне пришлось еще несколько раз побывать у моей ученицы. Странная мы были пара. Я не мог рассказывать ей о моем прошлом, о работе. Она отмалчивалась о себе. Мы сошлись где-то на крутой тропинке и шли рядом, говоря о пустяках. Гнали от себя мысли о разных дорогах, которые свели нас. Ведь они снова разойдутся.

Прекрасная полька и Андрий — сын Тараса Бульбы, пробравшийся на свидание в осажденный город...

«Знаю, — говорила она, тихо качая прекрасной головой своей... — и знаю слишком хорошо, что тебе нельзя любить меня. Знаю я, какой долг и завет твой: тебя зовут товарищи, отчизна, а мы враги тебе».

Повторяю, мы не вели, нам нельзя было вести принципиальных разговоров. Но в каждом слове, в каждом движении трепетало нечто большее, невысказанное...

В одну из наших встреч Марина оказалась мне бледнее обычного.

— Вот и кончились ваши мучения, — тихо сказала она. — Полковник готовит отправку эшелона в Домбиэ — лагерь под Краковым, оттуда вас отправят домой...

Эта новость потрясла меня. Я молчал, не будучи в силах собраться с мыслями.

— Домой... домой.

Моя ученица вдруг отодвинулась далеко в сторону, — ее заслонило иное, огромное: в воображении стали вырисовываться образы давнего, полузаслоненного ужасами плена советского прошлого, — армия, товарищи, доклады и выступления.

Марина все больше уходила в себя.

— Панна Марина, — сказал я с бледной, идиотски виноватой улыбкой, — приезжайте к нам...

— Спасибо, — отвечала она резче обычного. — Только вряд ли удастся.

Я встал, пожал ее холодную ручку, поднес к губам. Мы больше не виделись.

Прощай, Маоина!..

### От'езд из Вадовиц в Домбиэ

Не помню, как нас «упаковали» в вагоны, как довели до Домбиэ. Один момент стоит в памяти. Дочка еврейского богатея принесла мне на прощанье хлеба. Что ж, спасибо и на этом! Еще денщик пана Верачка передал записку от Марины с просьбой не вскрывать до отхода поезда.

Тепло, ласково прощалась со мной Марина — по-хорошему, по-товарищески, просила принять от нее на дорогу пять долларов. Она просила прощения за маленькую «уловку», «не вскрывать до отхода поезда», — иначе ведь я не принял бы.

Молодец, Марина!

В большом лагере Домбиэ, целом городе с десятками бараков различных наименований и назначений, мы провели три—четыре недели. О жизни в Домбиэ пусть пишет тот, кто прожил там долгие месяцы.

Перед от'ездом нас кормили лучше. Мы впрочем в этом не так нуждались. В лагере была налажена связь с организацией, получалась небольшая денежная помощь, доставлялись припасы.

Зато поляки удвоили моральные пытки, обогатив свой и так обильно снабженный арсенал новым оружием. За малейший проступок вычеркивали из очередного списка на отправку. При полной неопределенности и неизвестности о порядке составления списков и о сроках отправления поездов эти милые шутки отчаянно били по нервам. Особенно свирепо нас обыскивали и при поступлении в лагерь, и после. Искали денег, литературы. Пять долларов Марины один мой приятель запрятал в каблук, устроив там какой-то хитрый тайничок. Я торжествовал, но, когда перед самой отправкой заглянул в свой сейф, там ничего не оказалось. Трюк был настолько известен, что кто-то из соседей легко воспользовался деньгами. Мне жаль было бумажку, — это была последняя память о Марине. Записку я разорвал сейчас же по прочтении.

Перед отъездом нас повели в баню. Издевательски гигиенические купанья стоили жизни не одному пленному. Часами дрожешь, бывало, голый в холодном предбаннике, потом — струя теплой или чрезмерно горячей воды — и уже гонят дальше. На влажное тело натягиваешь мокрую, вонючую одежду, грязным комком брошенную из дезинфекционного отдела...

После бани нас отделили свирепым кордоном от остальной массы пленных. Несколько человек были застрелены за попытку передачи записки отъезжающим.

### Домой

Нам предоставили новенький санитарный поезд. Поляки недавно получили его у американцев и еще не успели загрязнить. Бросались в глаза — особенно нам, боснякам, — беленькие, чисто отлакированные откидные койки. Кажется, хорошо? Но наши милые хозяева и тут не оставили своего издевательства, утонченно скрыв его под личиной исключительной предупредительности.

Польское информационное бюро позабыло о самой малости: нас разместили не по одному человеку на койке, а по-двое, по-трое, так что мы не лежали, а сидели, согнувшись. Не было конечно белья. В уборную пропускали с обычными затруднениями. Одним словом «формально правильно, а по существу издевательство». Делали все, чтобы заставить пленных испортить вагон, и, быть может, поступали так с вполне определенной целью (большевики в американском вагоне!)

В вагоне царилла чрезвычайная тишина. Отказывались от всего, мирились со всем. Молчали и заправские остряки, и присяжные нытики: мы приближались к границе, готовились к переброске с одной планеты на другую!

Вечерело. Началась обычная — и последняя! — проверка, которую, как всегда, лучше назвать пыткой.

Она началась с того, что капрал голкнул моего соседа Леонгарда за то, что тот не сразу сполз с койки. Кстати сказать, койки были подвешены довольно замысловато, так что даже здоровому человеку долго приходилось повозиться с ними, тем более калеке Леонгарду.

Удар пришелся по больной ноге. Сережа негромко вскрикнул. — Негодяй! — вырвалось у меня по адресу польского солдата. Несколько товарищей шумно бросились к нам: Сережа пользовался общей любовью.

— Что же будет? — пронеслось у меня в голове: ведь это бунт, — мы сыграем наруку полякам, которые с наслаждением расстреляют напоследок нескольких пленных?

С редкой для меня находчивостью я нащупал выключатель и потушил свет. Испуганный капрал бросился к двери.

— Сейчас же все по местам! Спите. Никто ничего не видел. Все — выдумки капрала, — раздалась хрипая команда по вагону. Я едва узнал мой голос, и с той же готовностью, что и остальные, бросился на мое место, подсадив предвзвительно Леонгарда.

Через минуту ввалились капрал и двое солдат. Дали свет. Капрал с револьвером в руке и его спутники с винтовками на изготовке медленно обошли вагон. Капрал тщательно всматривался в пленных, стараясь узнать тех, кто бросился к нему с угрожающими криками, с ножами, как он сперепугу или со зла заявил нам. Но он был слишком взволнован происшедшим, слишком быстро потух свет, чтобы можно было кого-либо узнать. На всякий случай арестовали Леонгарда. Начался повальный обыск. Я подошел к капралу и заявил, что немедленно должен стать на рапорт к офицеру, начальнику поезда: имею важное заявление.

— Что есть, пся кровь? — заорал капрал.

— Могу доложить только начальнику, — сказал я.

Меня с Леонгардом препроводили в купе офицера, сопровождавшего поезд. Увидев его безвольное, утомленное, скупящее лицо, я сразу почувствовал, что мое дело наполовину выиграно.

— Через несколько часов мы встретимся с нашими представителями, — сказал я ему деловым тоном. — Вам не удастся вызвать нас на провокацию, а себе вы создадите ненужные и утомительные хлопоты...

— Итти спать. Прислать ко мне капрала. Перестать шуметь, — прошипел он.

Все в порядке. Отозванный из вагона капрал больше не возвращался. Нам позволили спокойно провести ночь.

Мне кажется, что никто из пленных не спал. Но странно, не слышно было обычного перешептыванья: каждый очевидно думал о том, что его встретит, как его встретят на родной стороне? Ведь все они, все едут домой в полном смысле слова,—и на родину, и в свой до-

машний уголок. За ними будут ухаживать жены, матери, сестры...

Только у меня нет ни очага, ни угла — ни своего, ни родительского: мне негде отдыхать, да я и не хочу отдыхать. Скорей за работу, скорей в армию, в круг друзей и товарищей по работе, — в мою крепкую и мужественную семью...

—  
...Поезд приближался к границе.

# Люди и факты

1. АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС.— Из наблюдений иностранца. 2. ГЛЕБ ГЛИНКА. — Преобразователи жизни. 3. Н. ИЗГОЕВ.— На озере Ханка. 4. В. КОЗИН. — Деталь совхоза. 5. АДАЛИС. — Записки о казакских колхозах.

## 1. ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ ИНОСТРАНЦА

(Американские сенаторы в колхозах)

Альберт Рис Вильямс

### I

Совхозы! Колхозы!—эти новые слова стали появляться в американской печати в 1929 г.

Для американцев все русские слова кажутся странными и немного смешными. Но эти представляются исключительно чуждыми и злобными, а для «бэббитов» и вообще обывателей они означают какое-то дьявольское дело, замышляемое большевиками. Сперва газеты писали о коллективизации или с усмешкой, или презрительно. Один чрезмерно «желтый» редактор убеждал своих читателей, что и в этом случае произойдет то же, что произошло уже раз с коммунистами: «Большевики сделали попытку ввести национализацию женщин, но им пришлось отказаться от этой затеи». Точно так же они вынуждены будут отказаться и от коллективизации земли. В противном случае коллективисты погибнут от голода.

А затем, через несколько месяцев, эти же желтые газеты совершили самый бесстыдный вольт, — стали утверждать как раз обратное. Оказалось уже, что не коллективисты погибнут от невозможности собрать нужное количество хлеба, а, наоборот, гибель грозит всему остальному миру, так как русские коллективные хозяйства станут производить слишком много хлеба. Газеты рисовали мрачные картины: человечество гибнет, затопленное мощными жаскадами ржи и пшеницы...

Советская коллективизация сельского хозяйства вызвала почти панику среди американских производителей пшеницы, — я убедился в этом во время проезда из Калифорнии в Нью-Йорк.

Проезжая через земледельческий район, я сталкивался с фермерами в поезде и на станциях Канады, Дакоты и Миннесоты. Фермеры со слезами проклинали свое положение. Уже теперь они принуждены продавать свою пшеницу ниже стоимости, уже теперь они принуждены отдавать свои земли банкам и переселяться буквально сотнями тысяч в большие города, увеличивая и без того огромные армии безработных. Что же будет с ними, когда действительно развернут свою работу советские коллективные хозяйства? Кое-где маленькие группы фермеров, наиболее передовых и революционных, уже кричат, что их единственное спасение — последовать за Советами по пути коллективизации.

Советская коллективизация широко обсуждается американскими теоретиками и экспертами сельского хозяйства. Я был приглашен на совещание профессоров-агрономов. Многие из них оказались столь же консервативными, как наиболее отсталые крестьяне в самом темном углу России.

Ученые американские агрономы, обсуждая вопрос о советской коллективизации, важно и недоверчиво покачивают головами только потому, что в таком

громдном масштабе никогда еще не были испробованы коллективные хозяйства. Но все же результатом их обзуждений было признание, что если и возможен где-либо подобный эксперимент, так только в Советском союзе.

Вопрос о советской коллективизации вызвал серьезную тревогу и среди торговцев пшеницей — миллионеров, делающих крупные комиссионные дела с хлебом.

Это смятение в Америке, на расстоянии десяти тысяч километров от Советского союза, свидетельствует о том, что там, в Советской стране, действительно происходит какое-то великое сотрясение, нечто чрезвычайно значительное и знаменательное.

Меня охватило желание увидеть это. И еще раз я оставил Америку, и еще раз отправился в русские деревни и степи, чтобы собственными глазами посмотреть на эти совхозы и колхозы, вызывающие такую тревогу и страх в буржуазном мире.

## II

В Лондоне, на пароходе Совторгфлота «Ян Рудзутак», который держал путь в Ленинград, в кают-компании после обеда, собрались американские туристы. Для туристов вечерние развлечения на пароходах обычно состоят в танцах, музыке и карточной игре. На этот раз туристов ждал сюрприз. Ведь это был не буржуазный, а советский пароход. И как все исходящее из Советской России, программа вечера была радикально непохожа на то, к чему привыкли американские туристы. Вечерние веселые разговоры превратились в организованный митинг. Первую большую речь произнес капитан парохода — о развитии коллективизации в Советском союзе и об угрозе интервенции.

Когда наш пароход вошел в Кильский канал, по обеим сторонам которого расстились зеленые луга, штурман-комсомолец высчитывал, на сколько увеличился бы урожай сена, если к немецкой бережливости прибавить выгоды советской коллективизации.

А когда мы плыли в Балтийском море, один матрос рассказывал нам историю об образовании в его деревне колхоза «Свет коммунизма». Это был рас-

сказ о неудачных посевах у одиночных хозяев, о внутренних раздорах, о саботаже кулаков. Только героическими, решительными мерами удалось рассеять эти черные тучи и не дать погаснуть этому свету. Теперь этот колхоз расцвел.

Чем ближе подходили мы к берегам Советского союза, тем громче доносился до нас шум, поднятый вопросом о коллективизации. В Советском же союзе разговоры о коллективизации слышались почти повсюду. Я посетил моего старого знакомого крестьянина Петра Глебовича Яркова и услышал, что он и его крестьянский хор, который всегда пел о старине, распевали новые песни:

Собирайтесь все в колхозы  
Будем строить новый быт.  
Кулаков мы раскулачим,  
С кулаками нельзя жить.

Припев: Песню новую принес  
Бригадир с завода:  
— Пятилетку проведем  
Мы в четыре года.

Будет, будет, попахали  
Мы Андреевнoй-сохой,  
В пятилетку мы построим  
Сталинградский Тракторстрой.

Припев.

Ты прощай, соха Андревна!  
Мы в музей тебя свезем.  
За четыре года ровно  
Пятилетку проведем.

Припев.

Мы в избечитальне будем  
Книги Ленина читать,  
Свое мелкое хозяйство  
В коллективы укрупнять.

Припев.

Ваше поле — полосами,  
Наше полюшко — колхоз.  
Мы пахали пашню вместе:  
Урожай у нас хорош.

Припев.

Вдоль по бережку ложится  
Туман — белая роса.  
Мы косилкой траву косим,  
Не нужна теперь коса.

Припев.

Трактор пашет превосходно,  
А с комбайном жнейка жнет  
И молотит, сортирует  
И зерно в мешки кладет.

Припев.

Однако все это были сведения из вторых рук, а не непосредственные наблюдения. Я хотел проверить все это собственными глазами.

Но только я решил отправиться в одиночестве изучать коллективные хозяйства, как вдруг на меня свалилась задача — показать коллективные хозяйства трем американским сенаторам.

«И зачем показывать этим сенаторам коллективы или еще что-либо?» — презрительно воскликнул один мой товарищ-американец, обозвав всех американских сенаторов эпитетом, значение которого, быть может, чуточку резче и сильнее русского слова — сволочь. Разумеется, этот эпитет не может быть применен к этим сенаторам, особенно к Уэллиру, сенатору штата Монтана, который уже два года энергично борется за признание Америкой Советского союза. Уэллир уже был однажды в Советском союзе, а теперь приехал сюда для того, чтобы наблюдать новые успехи, сделанные за это время Союзом. Сенатор хотел ознакомиться с теми последними советскими достижениями, которые могли бы послужить ему новыми аргументами для доказательства, что Советский союз прочен и непрерывно развивается. С ним приехали сенаторы штатов Кентукки и Новой Мексики, посетившие СССР в первый раз.

Большинство иностранцев, впервые приезжающих в Советский союз, настроено подозрительно, скептически и недоверчиво. У них у всех существует предвзятое мнение, что их будут всегда и всюду сопровождать, что им позволят видеть только то, что советское правительство захочет показать. Это является следствием их раздутого самомнения. Большинство приезжих иностранцев воображает, что Советский союз чрезвычайно высоко ценит их мнение и поэтому тщательно следит за каждым их шагом, как только они попадают в СССР. Однако приезжающих путешественников нельзя особенно порицать за это. За границей и в особенности перед отъездом их предостерегали, что с того момента, как они вступят на советскую землю, их будут водить по стране, как водят медведей с кольцом в носу.

Однако, как все это ни бессмысленно, но утверждения, что они будут одура-

чены и обмануты, непрерывно оглушают путешественников, едущих в Россию: настойчивая пропаганда оказывает свое действие.

Вот почему американские сенаторы, сами довольно опытные в искусстве обманывать, приехали в СССР в особенно недоверчивом и подозрительном настроении. Мало ли что можно утверждать и какие планы и картины создавать на словах! В действительности этого может и не оказаться. Не так ли обстоит дело и с этими коллективами? Все, что сенаторы слышали о коллективных хозяйствах во время своего двухнедельного пребывания в Москве, они пожелали проверить собственными глазами: решили поехать в деревню. Разумеется, самое лучшее было бы отправиться на юг, в область сплошной коллективизации. Но для такого дальнего путешествия не было времени. Пришлось удовлетвориться тем, что нашлось в Московском районе.

### III

Поздним августом, в полдень, выехали мы по дороге на Владимир. Оставив за собой московские пригороды, наш фورد помчался по новому шоссе, вымощенному асфальтом—гладкому, точно какой-нибудь американский бульвар. По дороге мы не встретили ничего необычайного, что могло бы привлечь наше внимание. В Богородске перед кооперативом мы увидели длинный хвост крестьян. Ранние морозы погубили посевы ржи, и крестьяне покупали семена для нового посева, или вернее ждали, когда смогут их купить. Приняв нас за специальную комиссию, неожиданно приехавшую из Москвы, они окружили нас и стали выкрикивать свои жалобы, проклиная все ненавистное племя бюрократов, вредителей и саботажников.

Американские сенаторы с удивлением наблюдали свободный и откровенный взрыв гнева. Почти все иностранцы представляют себе русского крестьянина робким, покорным, раболепным существом. В их воображении мужик рисуется всегда так, как он изображался на старых картинах: стоящим с опущенной обнаженной головой перед «тройкой барина». Для иностранцев всегда оказывается неожиданным знакомство с

новым типом крестьянина, созданного революцией. Теперь крестьянин не подданный, а гражданин, громко высказывающий свои жалобы и требующий своих прав.

Эта толпа в Богородске была особенно оживлена, криклива и взволнована. Бурное красноречие крестьян я остановил заявлением, что мы — делегация не из Москвы, а из... Америки. Из Америки? Прекрасно, значит им нечего надирать свою грудь, рассказывая нам о грехах кооператива. Отложив в сторону свои обвинения против администрации кооператива, крестьяне энергично начали критиковать американское правительство и засыпать нас беглым огнем вопросов.

— Если вы, американцы, не хотите помочь нам, тогда по крайней мере не мешайте. Зачем вы мешаете нам?

— Почему вы не снабжаете нас хлопком для наших текстильных фабрик?

— Почему вы все увеличиваете число строящихся военных судов? И против кого строите их?

— Почему вы не признаете советское правительство? Не можете притти к соглашению с правительством рабочих и крестьян? Вам нужно непременно царя?

Сенаторы были поражены, найдя в этой случайной толпе крестьян на деревенском базаре такое понимание политического положения, какое они проявили в этих острых и настойчивых вопросах.

Вопросы эти, нужно прибавить, ничуть не были смягчены какой-нибудь тонкой и изящной речью дипломатов. Один крестьянин пустил в ход образную народную речь, в которой он весьма убедительно выражал свое низкое мнение об Америке, о президенте американской республики, а также помянул всех его предков с материнской стороны.

К счастью, у меня не было необходимости буквально переводить эту образную речь, так что вся тонкая прелесть замечаний была потеряна для сенаторских ушей, выразительность же их была и без того достаточно сильна, а значение вполне ясно. Было очевидно, что крестьяне не одобряют, — и весьма решительно, — ни поведения американского правительства, ни общей политики Америки.

#### IV

Через несколько километров мы были уже в самом сердце русской страны. По обеим сторонам дороги расстилась владимирская холмистая равнина. Виды, привычные для русского глаза, приковывают взор иностранца своей красотой.

Необъятные поля, черный и серый бархат только-что вспаханной земли. Темнозеленые или светлозеленые полосы спелого хлеба и травы. Беспорядочная группа деревянных изб: деревня. Колодцы с деревянными скрипучими «журавлями»...

Казалось, вся старая Россия пробежала перед нами. Но где же новая? Россия советов, колхозов и совхозов?

Два раза мы останавливались и спрашивали о коллективных хозяйствах, но в ответ получали только отрицательное покачивание головой. И как раз в ту минуту, когда я уже начинал сомневаться в существовании колхозов, дорога сделала резкий поворот, и перед нами на склоне холма открылось большое черное поле, усеянное согнувшимися фигурами, копавшимися в земле. На поле было около трехсот крестьян: они выкапывали картошку. Все так были заняты своей работой, что обратили на нас внимание только тогда, когда мы остановились у края дороги и поздоровались. К автомобилям подошел сухой парень с густой шапкой волос и представился, как бригадир этой группы.

С той же быстротой, с какой он работал, он рассказал нам историю возникновения колхоза. Прошлой зимой вся деревня в двести пятьдесят хозяйств была коллективизирована. Теперь осталось в колхозе девяносто хозяйств. Эти девяносто хорошо и дружно сработались. Результаты их работы были заметны при первом же взгляде на колхозные поля. Урожай картофеля был так велик, что перед колхозниками встала трудная задача, как во-время собрать картофель. Никогда бы они этого не исполнили, если бы не пришла помощь от соседней текстильной фабрики. Сто пятьдесят рабочих-ткачей объявили в свой свободный день «субботник» и пришли на помощь колхозникам.

Сенаторы прервали непрерывный поток различных статистических сведений



и поинтересовались, сколько же получили ткачи за свой рабочий день.

— Ничего не получили, — сказал бригадир, — они помогли нам безвозмездно, по собственному желанию. Такие услуги — это укрепление смычки города с деревней. Шефство фабрики над колхозом... Один из пунктов программы коллективизации... пятилетний план...

— Да, да, — воскликнули сенаторы, отмахиваясь и немного раздраженно, — мы слышали в Москве и о пятилетнем плане, и о смычке, но мы хотим узнать от бригадира, сколько получили эти сто пятьдесят ткачей за свою работу в колхозе. Точную сумму, в рублях.

— Ни одного рубля, — ответил бригадир.

Сенаторы, видимо, были раздражены таким нелепым ответом. Да это и естественно. Кто при капиталистической системе отдал бы свой труд, не получая за это ничего, кроме благодарности? И вот им рассказывают какие-то сказки, будто все эти рабочие работали только ради коллективизации, ради туманного понятия, называемого коммунизмом. Это было слишком много для их непривычного желудка. Очевидно, их обманывали. Если не я — моим переводом, то бригадир каким-то подтасовыванием фактов.

— Ну, хорошо, — заявили они с торжеством, как будто напали наконец на верный след. — Если они ничего не получили наличными деньгами, то сколько им выдали за их работу картофеля-лем?

— Ни одной картофелины, — заявил бригадир.

Сенаторы были в недоумении, но когда комсомолец указал на отряд рабочих, подошедших к автомобилю, и еще раз гордо заявил: «Они не получили ни одной картофелины», — сенаторы сдались. «Но что это за странный, непонятный мир» — вероятно подумали они...

Так сенаторы ознакомились с первым колхозом. Разумеется, знакомство с десятью тысячами колхозов на бумаге производит гораздо более слабое впечатление, чем знакомство с одним на земле. Опытные глаза сенаторов прекрасно заметили различие между колхозными полями и полями единоличных хозяйств. Вместо многочисленных маленьких полосок и участков земли колхозные поля

образовывали вокруг деревни одно огромное поле, одинаково хорошо вспаханное и обработанное, а хлеб на нем был выше и гуще. Да, коллективные хозяйства вот здесь, вблизи главного большого шоссе, в окрестностях большого города действительно существовали. Но существуют ли они в стороне от главной артерии, вдали от центра? В глубине страны? Этот вопрос, среди многих других, долго обсуждался в тот вечер — на «перепутье» во Владимир.

## V

На другой день мы двинулись по направлению к Юрьеву-Польскому.

Обогнув город справа, мы сразу попали на русскую проселочную дорогу. Обычные слова не в состоянии дать представление о невероятной грязи, невообразимых тинистых лужах и бесконечных выбоинах и кочках. А на нашей дороге все эти классические черты русской дороги соединились вместе в самом худшем виде.

Немедленно лопнула рессора у нашего первого форда, и толчки со всей силой отдавались в сенаторские спины. У второго автомобиля от непрерывных толчков и напряжения появилась течь в радиаторе. Скоро вода стала просачиваться через все швы. Сперва мы наполняли радиатор водой у каждого деревенского колодца, затем у каждого пруда и ручья. Но швы расходились все шире, и скоро из нашего автомобиля струей била вода. Теперь мы брали воду везде, где только находили ее: из каждой лужи, из каждой глубокой колеи на дороге.

А вслед за радиатором отказался работать и стартер (автоматический завод мотора). Он не повиновался самым настойчивым усилиям рычага. Мотор приходил в движение только тогда, когда сенаторы соединенными усилиями толкали его сзади. В конце концов мотор внезапно дал задний ход. Он двинулся вперед только тогда, когда шофер начал по-русски ругаться трехэтажной бранью, а янки вторили ему пятидесятиэтажными проклятиями.

Странное зрелище представляли собой на владимирских холмах американские сенаторы, напрягающие все свои мускулы, чтобы привести в движение упрямый мотор!

В довершение всех несчастий мы сблизись с дороги.

Мы попадали в такие глухие деревушки, где жители не только никогда не видели ни одного американца, но даже ни одного автомобиля, т.-е. ни одного автомобиля в своей деревне. Все жители, не только те, кто работал на полях (это был солнечный день), но и старые «патриархи», и дети, и инвалиды на костылях, и маленькие няньки с грудными детьми на руках, и лающие собаки, глупо таращившие глаза овцы — все выходили нам навстречу.

Мы попали в самую глубину русской страны, и насколько легко было потерять дорогу и попасть в эти места, настолько же трудно было выбраться отсюда. Получить точные сведения о времени, месте и расстоянии от крестьянина в этих далеких деревнях было почти так же трудно, как и получить верные сведения из справочного бюро в московском отделе. Крестьяне в этих деревушках повидимому нисколько не интересуются местами, которые лежат дальше той границы, куда доносится звук колокола деревенской церкви, а кроме того, они из доброго желания не обескураживать путешественников уменьшали расстояние. Поэтому на наш вопрос: «Как далеко до Юрьева-Польского?» — отвечали: «30 верст». Мы ехали в следующую деревню и на такой же вопрос получали тот же ответ: «30 верст». Так было и в следующей деревне и еще раз в следующей. Продолжалось это более двух часов. Было похоже на сон, в котором бежишь вперед и все остаешься на одном месте, не приближаясь ни на шаг к цели.

— Во всяком случае, благодарение судьбе, мы остаемся все на том же расстоянии от нашей цели, а не удаляемся от нее! — восклицали сенаторы. Однако даже это утешение исчезло в следующей деревне. На наш вопрос: «Как далеко до Юрьева-Польского?» — один старик ответил: «40 верст». Но это было не все. Оказалось еще, что Юрьев-Польский лежал, как объяснил старик, в противоположном направлении: мы ехали не к нему, а от него.

Мы были похожи на людей, заблудившихся в лесу, которые непрерывно делают круги... Но не стоит описывать все наши бесконечные поиски дороги и

приключения. Достаточно сказать, что сенаторы потеряли не только дорогу, но вместе с тем и нечто другое: они разувверились в том, что им хотят непременно показать какую-то определенную, избранную часть России и будто советское правительство чрезвычайно озабочено тем, куда они поедут и что они увидят...

А в то же время благодаря этому приключению они довольно много приобрели. Прежде всего они познакомились с красотой русского пейзажа. Иностранцы редко слышат о красоте русской природы. Русские писатели с их тяготением к подчеркиванию мрачного и уродливого отчасти виноваты в этом. Иностранец привык думать о России, как о бесконечной унылой степи, засыпанной снегом, по которой рыскают волки. А теперь перед сенаторами раскрылись владимирские поля, прерываемые сосновыми лесами, с серебряными озерами и шумными ручьями. Владимирская равнина с мягкими холмами всегда красива, но теперь, после двух недель дождей, освещенная ярким летним солнцем, она поражала особенной свежестью и пышностью.

Но главной наградой, премией, полученной нами за наши приключения, было знакомство с коллективами, с их общей распространенностью и их экономическим превосходством над единоличным крестьянским хозяйством.

Здесь, очень далеко от того места, куда мы направлялись, вдали от крупных городских центров, на каждом повороте дороги мы встречали совхозы, колхозы и артели. И многие из них были в цветущем состоянии. Даже случайному наблюдателю бросалось в глаза их превосходство.

Повсюду старое и новое представляло резкий контраст.

С одной стороны, жалкие узкие полоски и тощая растительность у единоличников, с другой стороны — огромные поля коллективов, окружающие плотной, неделимой массой деревню. На одной полоске крестьянин, согнувшись в три погибели, медленно и тяжело жнет серпом, а рядом, на колхозном поле, косилка быстро кладет ровными рядами спелую рожь.

Здесь хозяин-единоличник бьет хлеб цепом, он хватает пшеницу в охапку и

подбрасывает ее высоко вверх, надеясь, что ветер унесет шелуху и оставит зерно. А рядом пытит коллективная молотилка. Из ее широкого отверстия золотым потоком течет крупное, крепкое зерно.

Но самым удивительным было следующее: проезжая мимо полей, усеянных черными точками — лошадьми (шла осенняя пахота), мы вдруг заметили вдали ползающее по склону холма серое чудовище, похожее на огромного жука. Мы все воскликнули:

— Трактор!

Но затем отбросили это предположение. Как мог проникнуть трактор в эти совершенно недоступные места. Разве, что он был доставлен сюда дирижаблем или флотилией самолетов? Но это был не плод нашей фантазии, а действительно трактор из железа и стали, проводивший по земле четыре глубоких борозды.

## VI

Так рядом, бок о бок, мы наблюдали две системы обработки земли: их разделяли века. Поворот головы — и от индивидуальных примитивных методов возделывания земли и допотопных земледельческих орудий, почти таких же, какими они были на заре истории, взгляд устремлялся, — через сотни веков, — к современной машинной технике коллективных хозяйств. Только слепой или безумный не увидел бы поражения старой системы и блестящей победы новой. Превосходство коллективного хозяйства достаточно очевидно в любое время года, но в эту прекрасную осень оно особенно ярко бросалось в глаза. Погода была великолепная; хлеба только-что созрели и были в зените своей красоты; настроение коллективистов, несмотря на трудности работы, тоже достигало высшей точки, так как их труд увенчался успехом.

Особенную радость у коллективистов вызывало еще то, что им удалось соединить несколько ключей, вытекающих из земли на склоне одного холма. Вода этих ключей холодна, как лед, точно она вытекала из горных ледников. До сих пор эти ключи служили только для утоления жажды случайных прохожих. А теперь вода из них была проведена к сараю, чтобы охлаждать бидоны молока, которые доставлялись сюда из кол-

лективного молочного хозяйства. Рисуя себе картину прекрасного будущего, колхозники видели породистых, крупных коров, дающих значительно больше молока.

Итак, на вопрос, существуют ли коллективные хозяйства внутри страны, сенаторы получили исчерпывающий ответ. Здесь, на этих владимирских холмах, куда так трудно было добраться и куда мы проникли после ряда приключений, мы нашли колхозы и совхозы, работающие вполне успешно во всех отношениях. И очевидно вывод наш был таков: если мы нашли это здесь, значит, мы можем найти это и везде.

И действительно так было везде. Можно отехать от Москвы на 50, 500 или 5.000 километров — везде работают коллективные хозяйства, основанные на одном и том же принципе. Этот факт, позднее подтвердившийся несколькими подобными же путешествиями в другие части Советского союза, дал мне новую уверенность и новую опору для бесед с иностранцами. Особенно с теми из них, которые боялись, что их будут водить по Союзу, как пленных медведей с кольцами в носу. Теперь у меня выработался новый метод, весьма радикально рассеивающий подобные иллюзии. Метод этот очень прост.

Вместо того, чтобы выбирать мне самому, или даже просто подсказывать место в Советском союзе, куда следовало бы съездить, я предоставляю путешественнику-иностранцу выбирать тот пункт, куда он хочет ехать. Я разворачиваю карту СССР и прошу его указать какое-либо место на ней. Если он колеблется, я советую ему закрыть глаза и ткнуть пальцем в карту. И отправившись туда, в это наугад выбранное место, мы несомненно найдем там коллективное хозяйство того или другого типа. Это может быть крупный колхоз, охватывающий тысячу хозяйств, или очень скромный коллектив, объединяющий десять-двенадцать хозяйств. Такие колхозы мы встречали в Московском районе. Это может оказаться и примитивным коллективным хозяйством, и одной из высших, наиболее совершенных форм коммуны. Это может быть и бедный коллектив, еще раздираемый ссорами и борьбой с врагами, но может быть и богатый, сильный, прекрасно организованный и дис-

циplinированный совхоз. Без всякой ошибки мы можем утверждать, что куда бы мы ни попали, мы найдем там коллектив, являющийся центром и источником новой жизни и культуры.

Такое же, равное по величии, социальное явление было только в 1917 году, когда в течение нескольких месяцев по всей бывшей империи возникли, точно чудом, советы: в каждом городе, в каждой деревне, в каждой шахте, на каждом судне, заводе, фабрике... Можно было не изумляться, когда, проехав 7.000 километров по Сибирской дороге и выйдя из поезда во Владивостоке, я нашел там правильно работающий совет, точную копию петроградского совета. Явление — небывалое до сих пор в истории, но теперь повторяющееся с тем же размахом в сказочном развитии коллективов по всей огромной площади СССР.

Советские граждане, привыкшие уже к изумительной, беспримерной революции, принимают и это явление, как нечто обычное. Но все то, что так обыкновенно для советских граждан, для путешественника-иностранца является настоящим чудом. Он живет в таком мире, где нет ничего общего с Советским союзом. Если он и читал где-нибудь о коммунизме и коллективизации, то только в книгах, осмеивающих это безумие. Он слушал видных проповедников капитализма, политико-экономистов, доказывающих, что коллективизация — мечта и фантазия. Сотни раз слышал он фразу: «Э то не может быть выполнено». Но вдруг видит собственными глазами, что ЭТО выполнено. Неудивительно, что он теряет почву под ногами, что это ошеломляет его.

## VII

Мы ехали и ехали... Подобно морякам в бедствии, наши шоферы держали курс по солнцу, направляя машины на северо-запад, туда, где лежал Юрьев-Польский. Наконец мы были вознаграждены: сначала прозвучал робкий гудок паровоза, потом на дальнем горизонте выросли трубы и купола города, а затем показался и самый город.

Правда, это был не Юрьев-Польский — цель нашего путешествия, а другой город, в 25 километрах от него — Кольчугино. Здесь мы нашли

американскую колонию, состоящую из... одного человека — инженера Вуда с металлического завода. После обеда мы немного отдохнули на балконе, обсуждая свои приключения, — отдохнули совсем немного, — скоро явилась делегация от кольчугинских общественных организаций. Среди них был представитель от заводоуправления, профсоюза, комсомола, рабочих, был даже пионер с пылающим красным платком.

Делегация была сенаторам не в диковинку. В Америке со всех концов страны к ним стекаются разные просители: ветераны гражданской войны просят об увеличении пенсии, пасторы настаивают на введении более суровых законов против нарушителей воскресного отдыха, против безбожников, стопроцентные патриоты требуют закона против «красного флага», против коммунизма, против эволюции, фабриканты просят удлинить сроки тюремного заключения для коммунистов, забастовщиков и вообще всех агитаторов.

Кольчугинская делегация была совсем иная: эти рабочие ничего не просили, они пришли только задавать вопросы. Вопросы их были горячи, искренни, порой резки и даже неудобны:

— Почему вы посадили Сакко и Ванцетти на электрический стул?

— Почему вы держите в тюрьме такого человека, как Муней?

— Почему вы сжигаете хлеб в топках, в то время как рабочие в городах умирают с голода?

— Почему вы сжигаете негров на кострах?

На балконе стояли две группы: русские революционные рабочие — лицом к лицу с представителями американской буржуазии. Очевидно, сенаторы почувствовали глубокий классовый антагонизм и враждебность, которые кольчугинские коммунисты храбро пытались скрыть. Желая сладить охватившую всех неловкость, сенатор штата Кентукки рассказал о своем крестьянском происхождении.

— Я хочу, чтобы делегация узнала, что прежде, чем стать сенатором, я был фермером. О, я хорошо испытал тяжесть физического труда.

— Каким вы были фермером? — спросил коммунист, — таким, который имеет 50 или 100 батраков?

— Нет, — возразил сенатор, — таким малым, который на лошади вспахивал тысячи акров земли. Моему отцу 77 лет. Вероятно и сейчас он пашет на холмах Кентукки.

Этот рассказ сенатора, к которому правда кольчугинцы отнеслись немного скептически, разрядил атмосферу. Ожесточенная дуэль между двумя группами понемногу перешла в спокойный спор.

— Странно, что вы пахали на лошади, — сказал комсомолец, — мы думали, что все американские фермеры имеют тракторы.

— Нет, не все, — ответил сенатор, — но все же у нас их много больше, чем здесь. Сегодня на всем нашем пути из Владимира мы видели только один трактор.

— Это правда, — промолвил коммунист, — во всем Советском союзе работает только около 100.000 тракторов, но когда будут пущены в ход три наши гигантских тракторных завода, мы будем получать по 100.000 тракторов в год. И, как говорит наш комиссар земледелия Яковлев, эти тракторы будут на все 100% использованы в коллективных хозяйствах... Совсем не так, как в Америке, где они работают для индивидуальных фермеров только часть рабочего времени.

— Да, но совсем немного колхозов видели мы по дороге из Владимира, — вмешался сенатор штата Монтана. — Сдается мне, что большая часть земли в вашей стране обрабатывается индивидуальными хозяевами?

— Это почти так в нашей промышленной области. Но бывали ли вы на Украине или Северном Кавказе? Там есть районы, коллективизированные на 60, 80 и даже на все 100%. Там расположены совхозы, в которых работают тысячи тракторов и комбайнов. Поля так обширны, что для того, чтобы обехать их, управляющие участками должны иметь аэропланы. Через несколько лет вы и здесь, на этой дороге, увидите колхозы и всякого рода сельскохозяйственные машины.

Это особенно поразило сенатора штата Монтана. В его штате находятся самые большие в Америке зерновые фермы Кемпбелла. Однако и они кажутся карликами перед советскими великанами.

Американцы обращают внимание только на огромные размеры. Они всегда

хвастают «самым большим и самым лучшим» в мире. Вот почему необъятные размеры совхозов так удивили их.

Возвращаясь к кольчугинским деревням, коммунист, показывая на поля и деревни, говорил о том, что весь округ через несколько лет будет коллективизирован и механизирован.

— А куда денутся те люди, которых вытеснят и заменят машины? — спросил сенатор. — Что вы сделаете с ними?

Вместо ответа кольчугинцы сообщили нам, что их металлический завод в течение последних нескольких лет увеличил число рабочих с трех до восьми тысяч. Рабочие указали на расположенный напротив большой центральный клуб. Его новые стены выступали в сумерках большими серыми утесами. Этот клуб — центр искусства, образования и развлечения.

Рабочие рассказывали нам о том, что они тратят полмиллиона рублей на постройку общественных кухонь и яслей для детей. А вдали, на холмах, возвышались колоссальные ряды домов. Они, казалось, готовы были поглотить тысячи крестьян, вытесненных машинами и новой техникой из деревень.

Рабочие объяснили сенаторам, как вся эта индустриализация и коллективизация совершенно перестраивают старый мир. Это был рассказ о пятилетке в применении к местной работе.

— А что, в пятилетнем плане говорится о хорошей дороге из Владимира в Кольчугино? — полунасмешливо, полужлорадно спросили сенаторы.

— Вы задели наше больное место, — ответили коммунисты, — но для исправления наших плохих дорог мы создали Автодор. Приезжайте к нам через три года, и вся дорога вместо целого дня займет у вас только два часа.

— Будет огромным достижением и большой победой, — сказал сенатор штата Монтана, — если вы построите хорошую дорогу и через 10 лет.

— О, не только эта дорога, — смело сказал коммунист, — через пять лет у нас будут десятки таких дорог. Единственно, что может задержать нас, это — неурожай, какой у нас был в этом году на Среднем Западе, или нападение капиталистических стран.

— Но позвольте заверить вас, — воскликнули сенаторы, — Америка не собирается нападать на СССР.

— Это очень приятно слышать, — возразил металлист, — но мы хорошо помним, что уже однажды Америка подняла оружие против Советов. Странно и то, что Америка расходует так много денег на воздушный и морской флоты. Не для забавы ведь, не так ли?

— Но это не для нападения на Советский союз, — упорно настаивали сенаторы, — это только для самозащиты, если какое-нибудь государство нападет на нас или помешает нашей торговле... например Великобритании...

— Может быть, и так, может быть, и так, — скептически усмехаясь, заметили коммунисты.

Больше двух часов мы говорили на эти темы, и ни на минуту кольчугинцы не сошли со своей революционной позиции. Ни разу ни один из них не изменил своей точной классовой установке. Даже маленький пионер вступил в спор и испугал сенаторов вопросом, что делает Америка для благополучия детей.

Когда сенаторы ответили лекцией о клубах и школах для детей, пионер резко перебил: «Я имею в виду детей рабочего класса».

Ум, динамика и энергия кольчугинцев делали беседу очень выразительной, важной и значительной. Во всех вопросах и речах чувствовался пыл и энтузиазм молодежи (только один из делегации был старше 30 лет), чувствовались искреннее, задушевное понимание социальных и экономических проблем, которые они ставили перед собой, и железная воля в решениях.

## VIII

Утром мы поехали в Александровский совхоз. Это был путь в 15 километров среди золотых полей ржи. Мы наблюдали комбинированную работу тракторов и бригады пахарей, видели рабочих, прокладывающих прямое, как стрела, шоссе. Большое впечатление произвел на нас самый северный пункт Зернотреста, но все это немного прибавило к виденному нами вчера колоссальному размаху коллективизации в стране Советов.

Самым новым и самым замечательным вчера было для сенаторов то, что кольчугинские рабочие совершенно прониклись идеями и задачами большевизма. То, о чем говорят развещающиеся в Москве

флаги, знамена и лозунги, было проведено в жизнь здесь, в далекой провинции.

Их поражало неукротимое мужество, разбивающее на своем пути все препятствия — мужество старой большевистской гвардии.

Еще более поражало их огромное, всеобъемлющее понимание национальных и международных вопросов миллионами трудящихся.

Американцев вообще поражает политическая грамотность русских рабочих, что является ярким контрастом американской молодежи, обладающей высокой техникой, но в большинстве своем совсем неграмотной в экономических и социальных вопросах.

— Странно, — с удивлением заметил сенатор из Новой Мексики, — что эти молодые парни из Кольчугина говорят так же, как и Рудзутак в Кремле.

Советскому гражданину непонятно, почему это так поражает иностранца, непонятно потому, что почти каждый гражданин СССР принимает участие в политической жизни страны.

Не колоссальные, неисчерпаемые природные богатства Советского союза поражают иностранца: богатства Америки тоже огромны. Не огромные промышленные гиганты, как Днепрострой, Магнитострой, Тракторострой, удивляют их. В Америке есть не меньше плотин, фабрик и заводов; единственно, что особенно поражает иностранца, чему не подыскать сравнения, это — коллективизация, стальная воля и безжалостная, все побеждающая энергия большевиков, строящих новый мир.

В современной жизни подобной эволюции не найти. Всемирная история знает немного таких примеров. То, что сейчас происходит в Советском союзе, можно сравнить разве с великим движением американских пионеров через густые заросли, необятные прерии и девственные леса с востока на запад. Эти пионеры были сильны и мужественны: они тоже строили новую жизнь.

Такими качествами теперь вновь обладают воинствующие большевики. Но к мужественности и энергии американских пионеров они прибавили то, чего пионеры не имели: глубокую идею и ясное понимание экономических законов и социальных сил, правящих миром.

Эти качества духа так же реальны и конкретны, как каменный уголь и нефть, золото, медь и глубокий чернозем. Благодаря этой силе огромные природные богатства СССР будут переработаны на благо страны и в конечном счете — на благо всего человечества.

Когда вы сталкиваетесь с большевист-

ской волей, вы чувствуете, что она непобедима. Вы чувствуете, что большевизм должен победить и что всякое сопротивление бесполезно.

Во всяком случае три американских сенатора не «сопротивлялись»... Все они выступили за признание Советского союза.

## 2. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЖИЗНИ

(Деревенские профили)

Глеб Глинка

### I

История села Озева шла из глубины веков. Истоки ее терялись в минувшем, и только в рассказах стариков едва внятно журчал пересыхающий ручей воспоминаний.

Зеленые черви межей жрали землю. Частые переделы истощали поля. Малоземельные крестьяне задыхались, обремененные удельными, оброчными статьями. Скрученный нуждой мужик за две-три недели до урожая вынужден был продавать хлеб на корню за бесценок. А тут еще кулацкая сыть двинулась неведомыми до того столыпинскими отрубями. Столыпинцы, получая удельную землю, прирезали к ней подушную, скапливали десятины по шестьдесят. Жили, как помещики. За три пуда хлеба, занятые у кулака весной, приходилось бесплатно нести два дня поденщины в самую страду, а осенью возвращать долг деньгами по полтора рубля за пуд, продавая зерно по сорок копеек.

Двенадцатилетним мальчиком провел Ласков такую поденщину. Задыхающийся от жары июль припухшим огненным шаром плавал над аржаным морем, и золотая лава хлестала о проступивший берег, где рассыпанные в цепь жнецы отбивались, клонились под пеной спелых колосьев. Нырять выгоревшими мальчишескими вихрами в набегающую волну чужого хлеба, уже не детским инстинктом знал Ласков, что через три дня начнут осыпаться ржаные пучины и не только день, а каждый час дорог в страдную пору. Слышался ему зловес-

ший шорох опустевших колосьев на родной полосе.

— Чего рот разинул, даром что ль весной наш хлеб жрал,—огрызалась хозяйская свояченица.

С этого же года, помогая отцу в кузнице, изо всех сил принялся Ласков за изучение ремесла. С ребяческого возраста он для забавы сооружал точные модели сохи, мельницы, телеги, где каждая мелочь была выверена и подогнана с большим терпением. Отец любил сына, поощрял его затеи, даже для полутораршинной ветрянки сам ковал камни.

Окончив сельскую земскую школу, Ласков продолжал учиться самостоятельно, ходил за двенадцать верст в библиотеку на Пьяный Бор—брал книги. Особенно занимали его прикладные науки. Прочитав ряд брошюр по садоводству, он принялся за разведение своего сада,—достал и посеял семена дикой яблони, ждал, томился; и вот посаженные в августе четыреста зерен к весне дали ростки. Взошли конечно не все. Тут же с отчаянными усилиями разыскивалась специальная литература. Читал Ласков жадно, захлебывался и, сверяясь с руководствами, продолжал воспитывать зародившиеся дички. Бережно вынимались из земли бескровные, давшие единственный фарфоровый листок, стебельки с длинным беспомощным корешком. Корешок ущипывался, то-есть подрезался острым ножом, и после начинал расти в стороны, а нежная яблонька крепла, тянулась вверх. Дальше были опыты прививки, которые делались с такой же любовью и внима-

нием. Несмотря на все старания, многие деревья не выдержали прививки и погибли. Семь лет принимали юные яблони трудолюбивые заботы Ласкова и только на восьмой год, стыдливо-благодарные, принесли свои первые плоды.

Прошло около двадцати лет. Забор на задах был жидкий, и даже не забор, а просто осиновые жерди по углам лыком подвязаны. Жерди сморщили окаменевшую кору, сохлись, лыко тоже заскорузло и стонало по-стародавнему, а над забором, прямо под облаками, густые ветви все в завязи: анисовки, хорошавки, бели и черного дерева...

После смерти отца четырнадцатилетний Андрей остался в нищей семье и весь ушел в кузнечную работу.

— Первое время было трудно, сил не хватало и уверенности в себе не было,— рассказывал председатель светлым припоминающим голосом.— Не легко этот опыт давался. В самом начале самостоятельной работы с ветряной кулацкой мельницы привезли веретено в три пуда весом, нужно было проварить его. Дело трудное, ответственное. Один край перегрел, пришлось высаживать и снова заваривать. Поплакал я, паря, над этим веретеном, но не отбилась, сделал... Потом братьев учил кузнечному ремеслу. К металлу с детства чутье приобрел.

Зашел я однажды к Ласкову в новую избу, неуютно озирающуюся с оголенного бугра. Стесана она ловко, аккуратно, и прямо на улицу выходит гостеприимное крыльцо, но нет вокруг ни полисада, ни кустика,— просто небритый бугор скатывается в крапивную путаницу, а дальше ничем не прикрываемые полевые горизонты синеют.

— А как же яблони?— недоумеваю я.

— Недавно отстроился, — отвечает Ласков.— Сад братьям остался, да и не нужен он нам, скоро коммунальный подрастет. Только не очень я на Коренева надеюсь; если ему серьезно говоришь, он: «ерунда, пустяки, это — дело одной минуты», а потом тысяча корней яблонь гибнет в питомнике.

Некрашенные полы вымыты, и самотканые половики мягко стелют свои линованные дорожки по всем четырем коморками разгороженной ласковской избы. Председатель провел меня в рабо-

чую горницу. Стены здесь дружные, сосновые и всего-то разделяют их каких-нибудь три метра; они ровняют большие припиленные кнопками портреты Сталина, Маркса и Крупской. Длинным полотном спускается до самого пола «чертеж земель коммуны Маяк». А на полу толпятся тяжелые, пахнущие землей банки и кадушки. Это — цветы. Они занимают целую стену, свешивают глянцевиные листья, опутывают настожившиеся подпорки.

— Жена у меня очень любит цветы, виновато улыбается Андрей Ефимович.

Небольшой стол подставляет под наши локти крытую белой скатеркой спинку; он грубоват и низкоросл, как сам Ласков. Они вдвоем коротают здесь целые ночи. И стол услужливо раскрывает мне направление бессонных забот председателя. Из-под груды газет выбиваются на усыпанные табаком морщины полотняной скатерки суховатые шрифты: «Справочная книжка русского агронома», изд. 1925 г., Гришин — «По ленинскому пути», Шиловский — «Тракторный лемешный плуг», еще и еще громоздятся в переплетах и папках брошюры и тетради, высоко над уровнем стола поднимают свои поучающие плоскогорья.

— Весь дом сам строил,— роняет Ласков и сразу переходит к моим сомнениям.— Так вы сегодня об Ижболдиных меня спрашивали?

Да, я прошу председателя рассказать, кто этот болезненный щеголеватый Иван Ижболдин, который появился сегодня в конторе. У него обрюзгшее, худое лицо и злые, подернутые слюдой глаза. Мне он совсем не понравился. Но я вероятно ошибаюсь, потому что коммунары очень внимательны к нему. И Ласков поясняет мне, что Ижболдиных в Озеве шесть братьев.

— Дом Ивана в аккурат напротив, вон те окна,— показывает председатель.— Он с двумя братьями находился в числе первых организаторов «Маяка». Иван столярничал, и вместе мы с ним росли. Образование имеет неоконченное среднее... Собралось нас тогда семь человек и дали друг дружке слово не сходить добровольно с места. Разработали примерный план на несколько лет.



Председателем Даниила Федоровича Русинова выдвинули,—помнишь, пожилой такой, честный? В то время авторитетен был. Проработали весну, лето и все выполняли, а к осени двадцать девятого года Иван Ижболдин перестал укладываться в постановленный правлением прожиточный минимум. Деньги вперед забирал, не по плану, и во время ночных прогулок все мне жалился на трудную жизнь. Уговаривал, чтоб лучше себя обеспечить. Страсть имел одеться, гульнуть, в месячнике не участвовал и на индустриализацию коммуны не подписался. А ко всему, в поисках красивой жизни связь с учительницей завел. Жена ревностью исходит. Все на виду, из-за семейных неудач не выходил на работу. Это снижало авторитет среди населения. В начале революции в партии он находился, потом выбыл... Мы действительно недоедали, но страх был, чтоб дело не погубить... Потом оставил он коммуны и ушел на выгодную вакансию в райколхозсоюз, а семья здесь осталась. Приезжает частенько, в счетоводстве помогает и вообще готов содействовать, чем может... Петр, старый приказчик,—родной брат ему, форсистый, пьяница. Другие братья тоже нескладные... Михаил больной, к работе неспособный. Семен молодой, с шестого года рожденью, а уж пять раз женат был и двум алименты платит, бездельничает, весной бросил коммуны, изболтался, а сейчас опять заявление подал. Младший Василий с гастролером уехал балаганить... Теперь массы ставят мне эту вереницу в упрек как вдохновителей, которые до срока выдохлись.

И Ласков хмурится.

— Подтверждают сплетни буржуазии, что не выдержали тяжелой жизни. Из всей семьи только Павел на работе, тракторист он и кандидат партии. Знает машину.

И я убеждаюсь, что низкие окна, из которых так хорошо виден дом Ижболдиных, смотрят зорко и внимательно.

Еще рассказывает председатель о товарище Филиппове, который возглавлял семеноводческое гнездовое товарищество.

— Орган правления находился в Озеве, Филиппов сжился с членами коммуны и осенью 1929 года вошел в

«Маяк». Работал по своей линии, а когда гнездо ликвидировалось, он ушел в райколхозсоюз на Красный Бор и оттуда летом тридцатого года был прикомандирован к «Маяку» на партийную руководящую работу. Хорошо повел дело, человек крепкий. А теперь вдруг в Казань перебирается, в Татсеменоводсоюз, и нет настоящего руководителя среди кандидатов. Уехал, только за час предупредив. Оставляет коммуны, как нянька неспеленутое дитё. Недоволен народ...

— Почему же все-таки ты, Андрей Ефимович, в партию не вошел?

— Не пришлось как-то...—раздумчиво отвечает Ласков,—когда помоложе был, воевал, работал и не собрался, а сейчас зовут, но время ушло, и негоден я... По правде молвить, осталась у меня от тяжелой кузнечной работы болезнь, привычка такая скверная... Хотя за все два года коммуной жизни никто не видывал меня пьяным, а совсем бросить не могу. Как завернет она, скорей все дела заканчиваю и беру себе выходной. Дверь запру и выпиваю. Что тут со мною творится, передать невозможно... Один либо два раза на месяц приходится такой припадок, но если много работы набегает, могу вытерпеть и поболее двух месяцев. Ну, зато после с большей яростью проявится, и трое суток дверей никому не отпираю...

И вспомнился мне смущенный вид возницы, с которым я в «Маяк» ехал. Так вот что хотел он тогда сказать: дескать, хотя и беспартийный и не без греха, а лучший, передовой человек и ничем партийным не уступит, но не вышло у него... Замолк неопределенно, чтоб не уронить в глазах незнакомого человека авторитет председателя. Сумел Ласков крепко полюбить всей мужицкой округе. Откуда в нем эти организаторские способности?.. И даже может ли он красно говорить?..

— Дело не в красноте, заронить твердую мысль надо,—отзывается Ласков об ораторском искусстве...

Летом самое удобное сообщение с Казанью по воде. Бараки, строенные на песке, круглый год будут хранить свои унылые, мочальные сумерки. Около них отданы последние наставления равно-

душному кучеру. Потом долгое ожидание заскрипит толстобоккой пристанью, раскачает приводные, глубоко вздыхающие мостки, а ослепшая на единственный глаз билетная касса спрячется за рогожные тюки неизвестных товаров. Тут древний речной ветер пронесет по дебаркадеру благу весть:

— Сверху идет!

И оживут заснувшие лица приуральных национальностей. Тревога засуетится пестрым народом, бросится под ноги грязная фанера чемоданов, какие-то узлы, голоса, запахи, и, качнувшись, нырнет под локти неколебимая крепость смоляного борта, а за ней живая черная глубина. Зябко и совсем по-новому проникнет в сознание раскрытая в поисках белой приближающейся точки Кама...

Есть на причалившем, закрывшем весь мир чистотой зеркальных стекол пароходе второй и первый класс, и достаточно богат «Маяк», чтоб обеспечить командировку своего председателя, но Ласкову не нужно кают, балконов и туманящего сознания покоя. По-мужички бережет он каждую коммунную копейку. Да и пожалуй одиноко показалось бы ему там, наверху,—бедно народом... Любит Ласков скученного человека и не променяет засиженные нары ни на какие просторы.

Вздуваются над головами сидящих крутые ребра пароходного остова. Запах масляной краски вьется у негнущихся белых подпорок, он мешается с перегаром, прелью и махоркой, сжатый между служебными каютами и стеной машинного отделения останавливается. Но свежее дыхание Камы неожиданно сразу прорывает душную пробку, наполняя сознание близостью быстро движущейся вокруг воды. А озевский индустриальный мужик, проходя мимо запотевших стекол, ныряет ненасытными глазами к блестящим суставам размеренно вздымающей высокие плечи, раскачивающей весь пароход машины.

Вместе с узелками, откуда появляются полбенные лепешки, бутылки с молоком, сушеная вобла и жестяные кружки, развертывается третий класс мудрым, вначале отрывистым и дальше дремучим, ищущим разговором. А невзрачного вида председатель захолустного «Маяка» Андрей Ефимович Ласков

присматривается, прислушивается и по-маленьку начинает раз-яснять, как и что. Бросаются к нему изодранные неудачами и нуждой озлобленные голоса.

— Разорили всю Расаю своими перегибами!

— У меня сын красноармеец,—выпывается из рыжих водорослей середнячком бороды крутой бас,—а они, сукины дети, меня раскулачивать вздумали, потом, как с песочком протерли им зенки-то, восстанавливают и в колхоз заывают: «Почтенья просим». А нешто я опозоренный пойду к ним?

— Пушай в нищете, ну покой должен быть, чтоб сам себе хозяин и своему добру владыка, — захлебывается слащавый, пахнущий сырими портянками, голосок с верхней полки:

— Все единственно, ежели добровольно, то никого колхозная жизнь прельстить не может.

— Я вот прямо скажу, потому как сам есть полноправный член колхоза,—срывается откуда-то сбоку петушиный ломанный авторитет,—на основе полной добровольности и обоюдного согласия, все силы приложивши, тянемся до победного конца...

— ... и ни хрена не получается!—перебивает его рыжая борода.

— Скотину-то всю порешили, таперя нету значит выходов для нашего брата!—сопливится с нависшей полки вонючая портянка.

И молчат сидящие тут же колхозники,—не втокуешь ведь эдаким. И то сказать: у каждого своя правда.

Но упорно развертывает председатель «Маяка» одно положение за другим. Где-то совсем рядом, сотрясая все пароходное тело, бьется огромное сердце машины, оно двигает смирившееся в дороге время. И полновесные мужичьи слова Ласкова, согнувшись, бегут по сухим полям, рассыпаются в цепь и снова перебегают историю всего нашего Союза. Спешно окопавшиеся, они открывают живой оглушительный огонь, наступают сплошной, едва различимой в безбрежности полей массой, подставляя горячему солнцу широкие защитные спины, и уже некоторые из них, сорвавшись, тыкаются круглой головой в родную землю, умирают за дело Советов.

Дрожит сгустивший внимание воздух, прыгает рыжеватая щетинка на верхней губе председателя. Речи Сталина и крепкий скелет яковлевских тезисов на глазах у взволнованных собеседников обрастают трепетной плотью озевского опыта. Глубоко западает хозяйственный образ «Маяка» в сомневающиеся и маловерные, поросшие, звериной шерстью головы, а солнечные глаза готовых на борьбу пареньков из союза молодежи оживляются, жадно пьют, впитывают всем существом преодоленный председателем путь. Проходящий мимо машинист, мочальнобородый и засаленный, останавливается, не может уйти... слушает.

— Тоже выходит, что давно в газетах писано, а как обертывается! И нельзя не верить, потому что свое, нутром человек говорит, а не вымыслом.

И, дождавшись окончательного завершения ласковской речи, неловким движением тащит машинист за грубошерстный рукав удивленного рассказчика в сторону и хрипло, взволнованно шепчет: «Здорово ты в этом, братишка, разбираешься. Будь другом, сделай доклад нашей команде, а то они заклевали меня вопросами, так что я партийный и чувствую все сам, понимаю, а передать не могу».

— Что ты, товарищ, подумаешь какого оратора выискал, покалякать приходилось мне, а докладывать не берусь...

— Брось, брось отнекиваться, слышал я, главное дело ты им вопросы заткнешь.

Как отвалили от Челнов, собралась у кормы команда, больше низший служебный персонал. И вспыхнул электричеством захоладовавший пароход, ушли в темноту камские горизонты. У свернувшихся в клубок канатов окруженный пестрой толпой кочегаров, матросов и грузчиков пояснял современное положение деревни и, ссылаясь на свою коммуны, делал соответствующие выводы побледневший Ласков.

А водники—народ дошлый, и озорниками у них богато. Как пошли гулять ядреные волжские обороты, опутывать проволокой колючих шуток. И будто некуда податься коренастому Ласкову, у самого уха рвется матерная шрапнель.

Кушаки у грузчиков красные, народ они рослый, больше выходцы из татарских сел.

— Ваш башка не варил малость, когда колхоз удумал, махан-то нет, икмяк ёк, адин биднота сила не берет, а сыридняк не заставишь на колхоз гулять.

— Все едино пропала деревня: хозяйство прикончили, а нового не видим, одна смута идет... значит дело ни к тебе, ни матери не годится!

И нагло перекатываются пустые, изверившиеся голоса.

— Нет, ты делом говори,—схватывается Ласков с перекошенным кочагаром,—когда в девятнадцатом году Каму от белых очищали, было чего ждаться!? Где ты тогда находился, солью спекулировал! Строительство принимаете, а деревня пушай заживо догнивает. Аль кулаков пожалел?..

— Ну, это ты, товарищ, брось, я не мене твое на фронтах бился и, случись надобность, винтовку держать не за был, — кривится коричневой камбалой черноглазое лицо.

Бьет Ласков, с ног валит упрямо напирющие вопросы. Подставляет под скользко срывающиеся остроты крепкую спину. Бьет в самую суть.

В переднем углу потемневшие зеленые листья ласкаются к сухому портрету Ленина. Скатерка низкорослого стола усыпана табачным пеплом. Жестяная коробка не в силах удержать полную горсть окурков, она роняет их пожелтевшие трупы к подножью книжных плоскогорий. Давно прогнали стадо, и в открытое окно ползут пахнущие бурьяном и крапивою деревенские тихие сумерки.

— ...Долго я с ними провозился, — заканчивает свой рассказ председатель,—сначала куда тут, на стену лезут: «почему здесь плохо и там неладно», да с ядом все, народ продувной. На моей стороне никого не было, а потом затихли, слушают и соглашаться стали; зубоскалы совсем замолкли, потому народ на мою сторону перешел. Машинист весь просиял, очень был доволен моим разъяснением. Повел за это с собой и всю машину, видя мою к этому

делу страсть, по винтику мне рассказывал... Теперь я локобиля не пугаюсь.

## II

Всю ночь не спали озевские активисты, обмозговывая, как лучше отгрузить и доставить пришедший на Красный Бор локобиля. С самого раннего утра сустились они, сооружая специальный для тракторной упряжки станок на широких колесах.

— Потому локобиля подержанный и куплен без колес. Котел, труба, маховик—все в исправности и мелкие части полностью в порядке, только подставки нехватает.

Празднично гудел ветер над селом. На траве перед кузницей шипели зятянутые ободья.

— Главное дело—как его с пристани снять,—волновался Русинов.

— Еще на наше несчастье в аккурат назавтра с ярмаркой совпало, — почесываясь, смекал заведующий постройками.—И добро бы путное чего было. Торговли-то нет, один перевод деньгам.

— Да уж вот она где у меня, эта ярмарка,—хлопает себя по шее председатель,—сегодня за утро боле двадцати человек приходило, денег просят. И купить-то нечего, подсолнухи одни. Пьянство разведут. Глядишь, каждый по пятерке выбросит, а для коммуны двести-триста рублей деньги серьезные. Станешь им толковать, соглашаются, дескать «оно правильно, только хоть трешничек давай, может чего подвернется купить...»

Кряхтит, поднимая широкую ось, черный плотник:

— Давай! давай еще повыше! — наваливают жернов сплошного колеса Ласков и Русинов.

— Стариков так ли, сяк понять можно,—продолжает председатель,—на них старый покррой жизни сказывается: погулять... выпить. А что молодые сознательность теряют, непростительно. Рабочий день пропадает, лошадей берут... Непорядок.

Тут к группе пыхтящих у самодельного станка активистов неуверенным шагом подходит худой, курчавый мужик. Он минуту стоит молча, растерянно, затем, как бы нехотя, нараспев произносит:

— Я до тебя, Андрей Ефимович, лошадь пришел, на Красный Бор завтра надоть.

— Прямо говори: на ярмарку снаряжился,—смеется Ласков.

— Ну, хоть бы на ярманку, так что?.. Все едут, нешто мне оставаться...

— Вот бы и проявил самостоятельность, остался бы один.

— Ладно, а ты не смейся, всурьез говорю.

— Что я вас силом что ль держать буду. Только смотри, лошадь не забудь накормить, уйдешь шататься, а она у тебя будет газеты читать.

И когда председателя по какому-то делу в контору позвали, пошли мы вместе. Дорогой он пояснял:

— Меня беспокоит, когда они внешне согласятся, а внутри у него что-то запало, жестко толковать пока нельзя. И в работе тоже бывают разные типы, одни ждут приказа, другие не терпят строгого тона, их нужно похвалить да попросить, тогда сработает не хуже прочих. Завхоз у нас хорош, но слишком сух, а сейчас еще нам нужен некоторый процент болтологии, не то народ обижается.

В продолжение целого дня переползали Озеве плетушки и телеги, понурые лошаденки отмахивались от слепней, иплыли перед окнами Степановой избы чинные, застегнутые на все пуговицы татарские бешметы, поддевки, платки и кепки. Двинулось на ярмарку все окрестное население.

На мои вопросы Степан Иванович разводил мутную неопределенность:

— Не най, как работа дозволит. Я ведь не гонюсь за праздниками, вона Нюрке конечно есть интерес поглядеть, что за ярманка за такая...

Но хозяйка Егоровна уже слезила в сундук, кашемирову шаль приготовила и Степану суконны брюки достала: собирается значит.

Этим же вечером впрягли трактор в дубовую колымагу и отправили за локобилям; второй «фордзон» сзидишел, в запас, на случай поломки.

Село Озеве относится к Красноборскому району, и сообщение с районом прямое — двенадцать верст. До революции Бор назывался Пьяным, и село это древнее. Русское население здесь по-

явилось вскоре за покорением Казани. В 1662 году воевали, — село Пьяный Бор и церковь божию в нем сожгли бунтовавшие по тому краю башкиры. А еще раньше, так что никто и не упомянет когда, шло табуном в шорохе листьев, в чаще, среди бурелома жилистое племя. Дышал смешанный лес допотопной сыростью. Древнее счастье ныряло под мохнатыми ветвями, ломая полнокровный папоротник, оно рыскало дикой медвежьей тропой, оставляя на травяных покровах страшные человеческие следы. Большие переходы сушили дыхание. Лес струился сыростью, но воды не встречалось с утра, и неведомых, ищущих места для становища людей томил жажда. Закат набросил кровавые лохмотья на тяжело вздымающиеся плечи вожака; он первый напал на упавшую бордь, в которой сохранилась дождевая лужа. Племя жадно пило пропахшую воском жидкость и после с помутившимися глазами выло, ругалось, ползая на четвереньках. Вожак держался дольше всех; качаясь, он ходил на кругах, как зверь, и наконец свалился, распластав по земле волосатые руки. Вода, смешавшаяся в колоде с медом, перебродила, и сыто от времени окрепло. Долго спали опьяневшие люди. На другой день под высоко взобравшимся солнцем они двинулись дальше, но, отойдя несколько сажень от ночлега, остановились. Пошатнувшееся небо бросилось им, под ноги синей глубиной, внизу плыли, гонимые широким речным ветром, отражения облаков, — это была Кама. И неизвестное племя раскинуло здесь поселок. С тех пор, говорит легенда, установилось название села Пьяный Бор (по-татарски — Пеньджар).

Грузно осели, похоронив под собой кости мамонта и волосатого носорога, образованные мощными толщами постплиоценовых отложений террасы. Их плоские спины густо поросли хвойнолиственной шерстью. Еще говорят, что по всей здешней округе пьяная земляника растет. Будто кружится от нее голова и клонит ко сну, но о том лучше знают влажные губы девушек с окрестных деревень.

У самого села был вскрыт богатейший могильник со многими бронзовыми украшениями «особого типа», и да-

же в научном мире о «пьяноборской» культуре разговоры пошли. Но тому делу тоже много лет минуло, а вот ярмарка каждый год испокон веку и по сю пору с'езжается. Малявинской пестротой кружит она между разбросанным десятком досчатых ларьков и палаток.

— Не та уж конечно торговля, что раньше бывала, и веселье не то, больше по привычке собираются. Нарядишься, лошадь почистишь, а как пройдешься раз, смотришь: тот же стоит кооператив, что и по будням. А частные торговцы сонные, как мухи зимой, и нет в них интереса к своему делу. Неизвестно, зачем приехали, — жалуется, степенно расправляя усы, толстый гражданин в картузе.

Поддерживает его парикмахерского вида юноша:

— Совершенно справедливо заметили, Семен Сидорыч, просто я скажу, не нужна нам ярмарка, и определенные на этот счет директивы имеются.

— Значит, одно утешение, Антоша, половиночку распечатать.

— Это действительно, папаша...

И говорящих уносят скучающие потоки нарядной толпы.

С рассвета у холодного берега Камы толпился озовский народ, он гудел оживленными замечаниями, предложениями... В тридцати метрах от берега, за деревянно рассыпанной лентой мостков, покоился накренившийся весь дебаркадер паровой котел. Выжидательно фыркали «фордзоны». Грузчики за выгрузку на берег просили семьдесят рублей, но ударники и активисты «Маяка» уже гащат канаты, цепи и, ловко зачалив, волокут тракторами чугунную махину. За десять минут сошел локомотив по наложенному тесу, грузчики только диву давались...

Целый день тишиной полнилось опустевшее Озеро. К вечеру стали возвращаться коммунары, они поругивали никудышную ярмарку и с пафосом, размахивая руками, говорили о посрамлении красноборских грузчиков.

— Семьдесят рублей хотели сорвать, только не вышло у них дело...

— Ловко сошел!

— Горы да слабины дорогой маленько скрутили, пожалуй, до темноты не прибудет...

Засветло не доспел локомотив, всего четыре километра не осилил. Тракторы домой ушли и завтра чуть свет новое колесо привезут. Так и стоит, окруженная пустыми черными просторами, кинутая у дороги громадина. Время совсем летнее, а вечера холодные, росяные. И заночевал на поле старый котел, придавил он к земле распластанный хромой станок, оттопырил остывшие бока и одиноко вздыхает. Мечется по гулким трубам в чугунной утробе ветер, ночной, тоскующий...

С восходом солнца все Озеево вышло к околице встречать локомотив; много дивились, шумели, охлопывали толсто-стенные бока, водили пальцами по круглым клепкам.

— Эх, здоров дядя! — хохотал Баранов.

У машинного сарая сбивались доски с тяжелых ящиков, и проверял Ласков, все ли части в порядке.

— А свисток-то, ребята, где? — растерянно оглянулся он, вскрыв последний ящик.

— Неужли нет?! — жалобно простонал Русинов. И пошли по лицам коммунаров грустящие тени...

— Взаправду, ребята, нетути свистка...

— Ерунда это, поправим! — вдруг оживился Ласков, — накажи ящичку, как на Красный Бор поедет, зайти в Райколхозсоюз, у них есть на складе разобранный двигатель, пускай на два дня свисток возьмет. Не хитрая штука, по готовой модели сами сделаем...

Театрально сыплется по Озеву нарядная цепь красно-желтых мухоморов, — это ребяташки из детсада: первый день щеголяют они пестрой, татарского узора, спецодеждой, и, построив парами, ведут их глядеть на машину.

Водочными изделиями в Озеве не торгуют, была раньше лавка Центроспирта, но постановлением общего собрания коммуны ликвидировали ее. Трезво растет «Маяк», и даже ругани в нем не услышишь, так что изредка только кто из старого поколения запнется нечаянно, помянув родительницу, и сейчас же смутится, лицо делает смиренное и начинает еще усиленнее на работу налегать,

будто и не у него сорвалось, а разве сосед согрешил...

В Народном же доме полная воспитанность и порядок соблюдаются. Здание просторное, в три комнаты: в одной — читальня, рядом под школу отведен просторный класс и в третьей — главный зал клуба, обширный, помещительный. Каждый вечер бултыхается он стуком танцующих каблуков, всхлипывает потрепанной двухрядкой и барабанит клавишами старинного коричневого рояля, что на средства молодежи куплен; по примеру коммуны она годовой заем провела. Большую часть отдыха ребята посвящают музыке. Стекланный шкаф бережно хранит гитару, две балалайки и мандолину. Уж какие у Леонида руки, глядеть страшно, и у Васьки тоже, — ногти грязные, пальцы все в порезах, мозолях... Да у всех конечно руки рабочие, одним словом трактористы. Другие в кузнице по десять часов на день или по столярному делу, но хоть корявые, а ловко бегут по желтым клавишам, ухарски перебирают басы нонной гитары, мелкой дробью висят над щуплым тельцем мандолины. Пльвуют струганые доски живым светом керосиновой лампы. И ходят, выгибаются озевские девушки, притопывают хромовыми башмаками. Веселья тоже много бывает, вон Дунька шагу не ступит без смеху, так и заливается, зубы скалит, будто и не над чем, а все вокруг хохотом покатываются... Острые шутки, бойкие. Иной раз как ножом полоснет, но без похабства конечно: этого не полагается. Отдыхают, как умеют, без претензий и парикмахерского лоску, которым так заражены большие пригородные села.

— Ячейка молодежи у нас большая, семьдесят человек...

Бывают и спектакли в Народном доме, летом реж, зимой почти каждую неделю. Есть своя труппа, роли идут нарасхват, желающих участвовать всегда больше, чем позволяет пьеса. Наметились и любимцы публики: секретарь ВЛКСМ, здоровый, рослый парень, днем занятый в кузнечном производстве, приводит в восторг зрителей, появляясь в ролях кулака или купца.

— Нужно бы разыграть что-нибудь, да пьесов интересных нет, — вздыхает высокая белолицая артистка Настька.

— Вон, призовите к ответу московского представителя, наверно он тоже наворачивал, потрудился для нас! — кивая в мою сторону, задорно кричит Дунька. — Правда, товарищ, много вы там сочиняете, а нам ставить нечего, — говорит она, заметно краснея, — по колхозной части у нас свой опыт был и, что шлёт для глухих деревень, нам не кажется.

— Что б. пошире, значит, в международном обхвате, вот эдакого чего-нибудь надо бы!.. — поддерживает кто-то из парней.

На театре тоже без председателя дело не обошлось. Редкий спектакль пропускает Ласков, и здесь его роль невидная, но ответственная: он суфлирует. Вначале режиссером был, а теперь эти обязанности возложены на школьных работников.

С какой гордостью и любовью, удобно разместившись в углу сцены на порванном театральном кресле, поглядывает отдыхающий председатель на своих «выучеников», на надежную смену, бойко облепившую музыкальный уголок клуба.

— А откуда они так танцовать научились? — изумленно смотря на кружащуюся пару, спрашивает новый агроном Егоров. Хитро и добродушно бегут по лицу председателя глубокие веерообразные морщинки.

— Я сам их выучил, — весело отвечает он.

И действительно веришь, что все может этот человек. Если не сам Ласков в Озеве новый быт сотворил, то во всяком случае сумел он во-время распахнуть скрипучие деревенские ворота. Собрав почти всех односельчан около своего кузнечного мастерства, которое из технического искусства переросло в социально-творческое чувство, Ласков смело вышел встречать новую жизнь. Так и не заперты калитки, и трава по дворам разрослась. Но валит по основному руслу озевской улицы самый стержень индустриального течения. Силища, как в половодье, крутит, щепки несет.

— Давай багор! — кричит председатель, — утопнет наш парень! Лови!.. — И мокрой курицей тащат на берег погибающего растратчика.

— Коренева зацепляй!

— Зачаливай, уплывет... Хотя доморощенный, а пригодится на что-нибудь!

Испуганно бросается в сторону не выдержавший напора Иван Ижболдин. Бородатый Русинов жизнерадостно работает длинным багром.

— Валяй, ворочай, озевский рабочий! — кричит ему промокший до нитки Баранов. И кипит коллективная стихия. На самодельном хромом станке плавно идет по бурному потоку тяжелый локомотив. Насели на него коммунары:

— Погоняй, родимый, напрямик к социализму!..

— Степан Иванович Суханов спокойнее всех у самой трубы разместился и, пригревшись, философствует:

— Хотя вдосталь мяса в старину варили, ну а правды в жизни не видели. Вот скоро трахмальный завод соорудим, много народу понадобится. А кто не робит, от того какой толк...

Бьют гулкие волны, ледяные осколки звенят призывными молодыми струнами, и стучат крепкие пальцы по старинным клавишам.

— Ловко сыгрались ребята? — улыбается председатель.

Организатор, владеющий машиной, знающий с детства металл и любовно воспитывающий в продолжение многих лет яблони, Ласков—свой, нужный человек комсомольскому массиву. Он растит кадры нового Озева. На ряду с устремлением к индустрии живет в товарищах из «Маяка» мечта о людях, у которых можно бы поучиться.

— Сейчас тоска у нас по высокой квалификации, нужны нам специалисты, чтоб могли дать коммуне серьезную школу, — говорит Ласков и тут же вспоминает, как ездил он в Москву на совещание представителей крупных колхозов. — В доме специалистов для нас лекция была прочитана профессором Вильямсом: «О структуре почвы, за травопольный севооборот». Вышел старик, дряхлый весь, а как начал говорить — сила в нем... Я все до словечка запомнил. Таких двадцать лекций из любого крестьянина агронома сделают.—И по-мальчишески жадно сверкнув глазами, вздыхает замолкший председатель.

А Народный дом все гуще полнится оживлением. Взвизгивает гитара, бешет

но лает рояль, и громом катится по всему клубу притопывающая пляска. Кто-то выкрикивает недавно завезенную в Озеево частушку:

Троцкий наш с дороги сбился  
Некуда сворачивать.  
Чемберлену подрядился  
Груши околачивать!

Подмигивает качнувшаяся лампа,  
скрипят покрашенные полы, шум, крики, смех...

— Пробовали мы на сторону, в Казань, в Москву, отправлять молодежь учиться, — продолжает Ласков, и голос его едва пробивается из-под разросшейся кроны обезумевших звуков. — Ну, только, оперившись, они редко назад возвращаются, городской блеск мельщает, и насовсем покидают деревню. Неладно это...

### 3. НА ОЗЕРЕ ХАНКА

Н. Изгоев

По дороге из Никольск-Уссурийска машина садится в грязь, мотор фыркает, сердится, ревет, словно медведь в капкане. Мы вылезаем, подстилаем тростник, подталкиваем машину. Иногда выезжаем, иногда нет, и тогда шофер, махнув рукой, уходит на пашни просить трактористов о помощи.

Подходит «катерпиллер», снисходительно цепляет машину на крюк и под свист и покряхтывание седоков вывозит ее на новые выбоины и бугорочки.

Дорога: безмерность пространств, болота внизу,верху косогоры. Справа пашня да слева пашня, канавы, бровки, рывы. Разбросанные, мелкие, разорванные клочьями мелькают участки корейских плантаций.

— На Ханку!

Я уже видел это озеро, я уже плавал в его прибрежных болотах, увязал в трясинах, пугал фазанов, видел, как волны, подъятые ветром от Турьего Рога, пучили воду, бились в плотный песчаный грунт, и Ханка расстилалась стальными отливами моря, серой хмуриью, гигантской броней черепахи.

А теперь поднимается сопками Пограничный хребет, лезет «форд» по увалам и сопкам, по земле, распростершейся без границ.

Зелень трав, пожелтевшие с осени некошенные луга, полевица, овсяника, мятлики. Ниже — сабельник, кровохлебка, хвощ.

Бедна и уныла растительность на горах, на болотах. Сопки — голые, лысые. Однообразна земля. Плоскогорья, лож-

бины, болота. Невольно вспоминается Блок:

Чудь начудила, да мера намерила  
Гатей, дорог да столбов верстовых.

Где-то кричит перепел, графический ястреб ныряет за полевыми мышами, хвалят болота свои кулики, давят колеса медянку, — пестрый мир открывает безлюдье, тишину, летний зной...

В небе, как в первозданном хаосе, борются ветры, гонятся тучи. Обвисают дождем горизонты. Шофер гонит.

— Уйти от дождя! Будет дождь, так машина поедет на нас.

В этой бескрайности неожиданно начинается пашня. Километрами — гоны, от дороги до сопки, восемь, десять, пятнадцать километров — пашня, продискованная целина. На полях — тракторы. Чудовищные шестилемешные плуги, гигантские многозубые бороны, на участках цистерны горячего.

— Зерносовхоз.

— Переселенческая МТС.

В памяти иронически пробегают плещевская «Отчизна».

...Белые березы, жидкие осины,  
Пашни да овраги — грустные картины.  
Не пройдешь без думы, без тяжелой мимо!

В этой степи не узнаешь отчизны. Ни осин, ни берез. Ничего — пустота... Только пашня да овраги. И те запаханы. Радостнейшее зрелище! Оно рождает прилив энтузиазма, бодрит, веселит, согревает.

Врезались все же плуги в этот заброшенный край. Значит будет бескрай-



ность изрезана пашнями. тишина разворочена песнями тракторов, будет край богат не залетной птицей, не сорною невеселой травой, а пшеницей, овсом, ячменем...

Ниже и ниже сползает долина, перебравшись за цепи холмов. Чаще и гуще болота, топи, вейник, тростник, вода. За Ханкайской веткой, за новой дорогой, что уже обвивает Ханку, — сплошь болотные земли. Здесь долина реки Мо, здесь — будущие рисосовхозы.

А пока здесь плантации Рисотреста, розданные арендаторам в Астраханке, Камень-Рыболове, Синтухинке, Ильинке, в селах побережья Ханки.

Ханка лежит за крутым обрывом, силеневая в предзакатных огнях. Солнце как будто не в силах пробиться сквозь мутную воду и лежит на поверхности, пластаясь, как убитый дельфин.

От этого многообразия красок поворот, и опять по увалам легла долина, рослый кустарник, птицы, трава.

Здесь Ильинка — ханкайский филиал Рисотреста.

Деревня глухая, широкие улицы сперты тынами, оградами, камнями. За оградами — белый пух.

\*\*\*

За окном на нежный цвет черемухи падал дождь. Потом сменился ветром. Раскрытое окно застлал табачный дым.

В накуренной комнате совещались рисовики, совхозные работники. Докладывали о тяжелой работе, о планах, об угрозе прорыва и неслаженности отношений с корейцами, арендующими земли плантаций.

Здесь начиналась запутанная нить отношений, не совсем обычных в стране советов: арендных отношений с пришлыми крестьянами, с корейскими крестьянами-эмигрантами.

Синтухинка — корейский поселок — главный арендатор Ильинских плантаций. По голому полю — соломенные крыши глинобитных фанз. Разбросанный поселок домов без оград, без сараев. Деревянные трубы, как мачты, торчат подле каждой фанзы. В фанзах — темно. Окна — бумажные. Двери — единственное, кажется, дерево в этом строении. Здесь 290 дворов. Работоспособных — 617 человек. В колхозе —

167 хозяйств, арендовано 400 га. Остальные работают мелкими группами, арендуя клочки плантаций.

На совещании партактива собралась почти вся ячейка. Из приезжих — кореец Осен-Мук, инструктор крайкома и комсомолка из Владивостока.

— Если мы создадим ясли, мы освободим минимально 50 рабочих для участия в севе.

— И еще детскую бригаду организуем, — энтузиастично планирует комсомолка. — Это даст нам еще 50 рабочих в поле.

Наше заседание начинается с вопросов:

— Что предприняла ячейка для увеличения посевных площадей? Разъяснены ли льготы контрактантам? Известны ли последние директивы?

— Мы обсудили план работы ильинской конторы.

— И только?

Неожиданно поднимается спор, ожесточенный, неистовый. Сыплются доводы, почему ячейка ничего не сделала.

Осен-Мук подсаживается к нам и умильно шепчет на ухо:

— Товарищи, поймите, ничего сделать нельзя: в прошлом году весь рис взяли, а белой муки не дают...

— Я прошу запротоколировать, — взрывается голос представителя треста.

— Я прошу занести в протокол, что секретарь ячейки и Цой — председатель колхоза — заявили, что им не интересно знать никаких директив, кроме количества подлежащего сдаче зерна.

Осен-Мук срывается с места, наваливается на плечи секретаря ячейки и цинично усмехающегося Цоя и яростно шепчет им что-то. Потом подбегает бочком к Гибшеру — представителю треста:

— Понимаете сами, товарищ, прошлые перегибы... нужна осторожность...

— Записывайте каждое слово, — шепчет представитель ильинский конторы Арказанов. — Иначе по отъезде вас обвинят в шовинизме.

— Не беспокойтесь, Арказанов. Это партийцы.

— Поработайте с ними и поищите у них линию партии. Плюют они на пятилетку, на план.

— У тов. Арказанова военный пыл, — сладко и вкрадчиво говорит Осен-

Мук. — Он хорошо проводил дороги во время конфликта с Китаем, но плохо знает дорогу в душу корейца.

— Арказанов, вы разъяснили здесь последние льготы об отмене аренды, об освобождении от налога вновь освоенных и улучшенных площадей?

— Нет. Они в газетах были, потом их подтверждал окрик, затем рик. Четыре дня назад они дошли сюда, мы их проработали на производственном совещании конторы.

— А с крестьянами?

— Еще не успели.

— Ага! — взвывается Осен-Мук. — Вот как вы работаете!

— Бюрократы! — кричит из угла Цой.

— А ячейка рассказала крестьянам о льготах?

— Нет! Мы о них не знаем, — отвечает секретарь.

Цой: — Я понимаю только одно: сколько надо сдавать?

Арказанов: — Слышите!? Слышите!?

— Правда ли, что здесь неизвестно о льготах?

Арказанов: — Мы были в один день с Осен-Муком в райкоме.

— Неправда, — отвечает Осен-Мук, отводя глаза.

Крик, галдеж, шум.

— Кончаем, — шепчет Гибшер. — Я с'езжу в райком, договорюсь о линии и приеду сюда с работником посевтройки. Иначе здесь не на кого опереться.

Он объявляет о своем решении, добавляя несколько увещательных слов о необходимости напряжения сил, о посевкампании, индустриализации, пятилетке.

Из просторной и светлой читальни выводим гурьбой.

Арказанов говорит о хвостизме и националистических уклонах Осен-Мука.

Осен-Мук твердит о шовинистическом отношении Арказанова к корейцам.

\*\*\*

В. Арсеньев — лучший знаток Уссурийского края, автор нескольких увлекательных книг и герой интереснейших путешествий — рассказывает, что в 1869 году голод и наводнение выгнали несколько тысяч корейцев из страны «Утреннего спокойствия». Суровою снежной зимой направились они к Влади-

востоку, погибая в пурге. С той поры началась эмиграция из Кореи в сопредельный Дальний Восток.

Из года в год росла эмиграция, из года в год умножались причины ее. Японский капитал пробирался в Корею и скупал ее по частям. Он искал здесь опорной точки для империалистических выступлений на азиатском материке. Война с Россией отдала Корею под японский протекторат. В 1910 г. Япония официально аннексировала Корею.

Аннексия Кореи, приведшая к экспроприации земель, усилила эмиграцию. В 1901 г. в России — 39.298 корейцев, в 1907 г. — 46.430, в 1910 г. — 51.454 (не считая корейцев на казачьих землях) и в 1914 г. — 64.309 чел.

Новым толчком к эмиграции было неудавшееся восстание в Корее 1 марта 1919 г., подавленное японцами с обычной жестокостью. Оно придало эмиграции ярко выраженный политический характер. Например на территорию Дальневосточного края в 1920 г. перешло свыше 3.000 корейских партизан из Кандр после неравного боя с японскими оккупационными войсками. Перепись 1923 г. дает 106.000 корейцев на Дальнем Востоке.

Сейчас в Корее  $\frac{2}{3}$  посевных площадей принадлежат японцам. Корея постепенно становится житницей для своих захватчиков. Вывоз риса (основного продукта питания) из Кореи в Японию возрос с 1920 по 1928 год больше чем втрое. Этот вывоз идет не только за счет расширения производства, но и за счет резкого снижения нормы душевого потребления. Для корейца рис заменяется пищей голодных — пайзой, чумизой.

Но не только житницу риса обрели японцы в Корее. Она еще и доходное предприятие, доставляющее колоссальную сверхприбыль. В Японии средний заработок арендатора в два с половиной раза больше, чем в Корее, где одних арендаторов 7,5 млн. (без полуарендаторов). Разница в оплате в 1929 г. составляла 56 млн. иен японских сверхприбылей, выкачиваемых из Кореи в в мешках с рисом.

Ставка на кулака, на японского хуторянина, жестокая пауперизация корейских крестьян привели к тому, что 70,5 проц. земледельческого населения

Кореи — сельскохозяйственный пролетариат.

В Корею создана обстановка массового выселения пауперизованного крестьянства, и этим объясняется бурный рост корейских поселений в ДВкрае.

За время с 1923 и 1929 г. в крае корейское население выросло на 60 проц., «европейское» — только на 20. В отдельных районах процент прироста корейских хозяйств дошел до 180 (Ханка). Заселились районы, где раньше корейцев не было (Шмаковский, Спасский). В Посъетском районе, граничащем с Кореей, — «советской Корее», — из 386 населенных пунктов русских только 45, остальные — корейские.

В итоге процент корейцев в сельском населении Приморья достиг 40 проц., а в отдельных пограничных районах — 90 проц.

Наша страна охотно оказывает приют гонимым, угнетенным, пришедшим из капиталистических стран, из поработенных колоний. Корейцы имеют свои сельсоветы, огромную школьную сеть, клубы, даже национальные воинские части, массу партийных, комсомольских ячеек, пионеров, делегатов. Изнацменьшинств сразу они развернули самую активную общественную жизнь и здесь на чужбине перестраивают заново свою национальную культуру.

Но на этом солнечном фоне много тучей.

Царские администраторы — все эти Гродековы, Унтербергеры, Любатовичи, Гондатти — мудрили над корейской проблемой десятки лет. Для них кореец был «желтолицым жидом», опасным, «неблагонадежным элементом».

Они писали о желтой опасности, они ограничивали прием в гражданство, они угнетали корейцев, отдав их на откуп поселенцам из внутренних губерний России.

Переход в православие был обязательным условием приема в русское подданство. А прием в подданство давал надежду на получение земельного надела.

Переход некоторой части корейцев в

русское гражданство и наделение их землей создали обеспеченную прослойку корейцев, хотя самый надел в 15 га земли по качеству был часто хуже, чем у русского казачества и крестьянства. Существовала и тонкая прослойка экономически-привилегированного элемента в лице корейцев-подрядчиков, кулаков, купцов и частично служащих-переводчиков и проч.

Корейцы, не нашедшие земли, должны были искать пропитания в качестве рабочих и батраков. Однако крестьяне и казаки предпочитали более выгодный для них способ эксплуатации путем сдачи земель в кабальную аренду корейцам.

Достаточно красочно в 1913 г. описывал дореволюционное положение корейцев В. Песоцкий<sup>1)</sup>: «Безземельное корейское население края стоит вне закона, и жизнь его регулируется усмотрением каждого русского, не говоря уже о случайных хозяевах и чинах полиции. Безземельный кореец при беспристрастном взгляде на положение является «бродячим рабочим скотом», и его кочевания создают перемену хозяев, но сущности дела не меняют. Такое отношение к корейцам и пользование бесплатным корейским трудом развращает русское население... Пользователи земли, сдавая ее в аренду или обрабатывая батраками, сами как крестьяне ничего не делают и предпочитают заниматься извозом да редко промыслами. Наличие у хозяина фонда в виде арендной платы делает его плохим предпринимателем и располагает больше к лени, пьянству и разврату. При других условиях нашим русским местным крестьянам можно было бы на получаемый с земли доход поднять и развить мелкую промышленность и улучшить хозяйство, но этого пока нет, и зло остается злом. Для иллюстрации отношений к корейцам можно упомянуть, что, начиная от Барабаша и до Сучана, в другую сторону до Ханки можно встретить особый вид «охоты» осенью после уборки и продажи продуктов на корейцев, живущих в глуши; «охота» эта часто кончается и убийствами, которые изредка регистрируются».

<sup>1)</sup> В. Д. Песоцкий. «Корейский вопрос в Приамурье». Стр. 27, изд. 1927 г.



Как же живут корейцы при советской власти?

К сожалению до 1929 г. в силу ошибок местного руководства в Приморье действовала система, декретированная... корейским генерал-губернатором в 1919 году и ввезенная к нам, — система аренды, исполнительной аренды, субаренды по бешеным ценам. Не имея земель, корейские поселенцы брали в аренду поселенческие участки, участки колонизационного фонда, земли коммунальные и казачьи.

Горсоветы и рики в деляческой погоне за арендными прибылями превратились на практике в хозяев латифундий в отношении корейского паупера. Русские поселенцы упорно не брались за тяжелую, единственно здесь возможную культуру — рис и плантации отдавали корейцам. Корейская примитивная техника губила плантации, заболачивала, засоряла, истощала почвы, и плантации забрасывались. Бюджеты риков были пухлы и жирны, и только слабость партийной работы позволяла им не считаться с партийной линией.

Создавался урон политический, ибо корейцы не оседали, уходили, колебались. Создавался урон экономический, ибо эксплуататорская и хищническая система риков, Пищестреста и мелиоративных товариществ, живших корейской арендой, породила примитивность ирригационной сети и позволила снимать хищнические прибыли. Это привело рисовое хозяйство края в 1929 г. к жестокому финансовому кризису и монополии корейской культуры риса.

Борьба с извращениями классовой линии, решительный поворот в сторону социалистической перестройки хозяйства, борьба против национализма, прикрывающего корейское кулачье, против великодержавного шофинизма, прикрывающего русское кулачье, докатилась сюда лишь в 1930 г., но еще не развернулась во всей своей силе.



Корейцы прежде всего рисоводы. Они принесли рис в Приморье. Поэтому весь корейский вопрос неизбежно переплетается с рисом.

— Видите ли, — говорили инженеры, экономисты, рабочие, совработники, — корейская иммиграция — палка о двух концах. Один конец — это рис, а другой — Япония.

— Почему Япония?

— Поток переселенцев из Кореи идет организованно. Процент японских поданных повышается из года в год, и когда-нибудь край будет аннексирован!..

— Факты?

— Пожалуйста. В сельском хозяйстве Приморья занято 61,9 тысячи советских граждан и 70,4 тысячи — японских. В отдельных районах процент японских поданных доходит до 30—40 (Посыет, Покровск и др.).

— Ну что же, они постепенно переходят в советское гражданство.

— Увы, прирост числа японских граждан значительно превышает переход в советское гражданство.

— Корейцы — отсталый народ. Нужно терпение, нужна работа.

— Корейцы не виноваты. Они объективно — орудие японского дальнего прицела.

— Какого?

— Политики японской колонизации.

— Слушайте, дорогие друзья, ведь в нашу стройку бегут не только корейцы. Бегут белоруссы из Западной Белоруссии, из Галиции — украинцы, неужели они, вся масса их — агентура польского генерального штаба, офензив, дефензив и т. д.? Бегут молдаване из Бессарабии, неужели уход их — хитрый план сигуранцы и румынских бояр? А если начнут уходить к нам индусы, что же, они будут оружием «Интеллиджен Сервис»?

— Нет, знаете, здесь у нас особые условия.

И словоохотливые люди, со слов кулачья, потерявшего земли из столетних наделов, начинали рассказ о японских происках, уснащали повесть «ритуальной» легендой о «странной манере» корейцев держаться скопом и дружно.

— Японцы, те не оставляют корейцев в покое до сих пор, — рассказывали мне.

В период интервенции японцы, являвшиеся фактической властью в Уссурийском крае, считали корейцев своими бесспорными поданными, а корейские де-

ревни — составной частью генерал-губернаторства в Владивостоке находилась комиссия корейского генерал-губернатора, на обязанности которого лежало проведение ассимиляционной политики. По деревням японцы раскинули сеть отделений о-ва японо-корейского сближения «Канахой», которые начали играть главную роль в административной жизни корейской деревни. Эти общества, членами которых были кулаки и наиболее зажиточные корейцы, проповедывали под видом панasiatизма стремление японцев найти в корейцах поддержку в крае.

— Вместе с оккупационными войсками интервенционистов в Уссурийский край прибыла масса корейского спекулятивного элемента — подрядчиков и поставщиков японской армии.

— Под защитой японцев они разоряли русское население и довели антагонизм между русскими и корейцами до крайних пределов.

— Получалась старая картина, с теми же действующими лицами, но только с той разницей, что господами положения стали не русские, а корейцы. Пользуясь покровительством японцев, корейцы старались отплатить за все обиды, притеснения и унижения, которые они до революции терпели от русских. Только сравнительно небольшая часть корейцев, уйдя в сопки, совместно с русскими партизанами вела борьбу с интервентами.

— Японцы, стремясь превратить Уссурийский край в плацдарм для дальнейшего своего продвижения на русскую территорию, усиленно и небезуспешно насаждали в корейских деревнях школы, пропитанные духом японского империализма.

— После поражения интервенции и укрепления советской власти в крае все японские общества и школы немедленно прекратили свое существование. Тяжелым наследием остался антагонизм между русским и корейским населением.

— Но это история. Интервенция не удалась, прошло уже 8—9 лет.

— А теперь в Корее существует «Восточное колониационное общество» (Тойо Кайшоку Кабушики Кайша) — своеобразная Ост-Индская компания. Оно снабжается правительственными дотациями и контролируется правительст-

венными чиновниками. Оно производит набор и распределение эмигрантов, снабжает и устраивает их. Оно и направляет сюда организованный поток переселенцев.

— А разве поток организован? Разве массы корейцев идут не стихийно?

— Конечно не стихийно. В Японии существует особый закон о правилах эмиграции. В этом законе определена жизнь поселенца на 10 лет вперед. Ст. 38 четвертой главы говорит, что пункты эмиграции устанавливаются министерством индел. Это и для японцев, едущих в Корею, и для корейцев, едущих в Манчжурию или в СССР.

— Значит не волей самого переселенца?

— Увы, это так. Дальше: ст. 20 а указывает, что перевозить эмигрантов должны суда, принимающие на борт не меньше 50 человек. А это обыкновенно шаланды, проскальзывающие в залив Петра Великого под Владивостоком.

— Контрабандный провоз людей?

— Совершенно точно. И товаров между прочим тоже. Иногда шкиперов ловят и судят «за неловкость».

— Значит вы утверждаете, что иммиграция корейцев в ДВкрай имеет все признаки планомерного руководства и финансирования.

— Да, это общеизвестно!..

— Какие же выводы?

— Выводы: наша национальная политика здесь осложняется. Нужно регулировать районы вселения корейцев, отводить их от стратегических пунктов, изолировать их от границы.

— От границы надо обязательно отводить, ибо в наших условиях они вообще не склонны подчиняться законам, чувствуя близость границы. Сколько народу ушло за границу, когда началось раскулачивание, когда проводили мы хлебозаготовки!..

— Но здесь уж Япония не при чем?

— Что касается Японии, то вот рукопись. Это любопытная и об'емистая книга К. Токес «Очерк дальневосточных концессий», вышедшая в 1925 г. и прореферированная проф. Мадокиным. Вот ее генеральная мысль:

«Преждевременно переселять японцев в Приморье, но надо оказывать помощь корейцам, которые создают контингенты дешевого риса для экспорта в Японию.

Если корейцы будут работать под руководством ~~японцев~~, можно будет разрешить продовольственную проблему Японии». Достаточно этой цитаты?

Японская тень за спиной корейцев — штык хищника империалиста за спиной изгнанных, оборванных, ограбленных крестьян.

Даже покинув забытую родину, люди тащат за собой этот груз, как тащат колдуньи цепи, тащат, как отвратительный послед. Он в немалом числе шпионов, агентов японской охранки, он в обилии группировок и националистической розни, склоках, дразгах и порою в бессилиии порвать незаметную цепь, что заброшена даже сюда, за пределы Кореи виртуозами контрразведки.

За эту цепь ухватились теперь кулацкие подголоски, шовинисты, но от этого трудящимся корейцам конечно стало не легче.

Ни Арказановы, ни Осен-Муки до сих пор к сожалению не поняли, как четко и просто разрешает партия «корейский вопрос».

\*\*\*

Корейский вопрос — это прежде всего земельный вопрос. Основная масса корейцев в крае не землеустроена до сих пор, строит свои глинобитные фанзы, как птицы выют гнезда.

— Место плохое, снялся и ушел.

Рядом жили: кореец на крохотном клочке аренды и кусурый крестьянин, никогда не имевшей возможности целиком использовать свой надел. Итоги этого явления подведены в конце 1928 г. статистической переписью, охватившей 200 корейских хозяйств в Ханкайском районе, переселившихся в край 30—40 лет назад, одновременно с хозяйствами русскими. Русские владели землей, корейцы — арендовали ее. И вот теперь на той же земле и под тем же солнцем корейцы остались в бедняцких дворах, а русские богато и сытно живут за плетнями в Астраханках, Ильинках, Камень-Рыболовах. У них во дворах — машины, откормленный скот, прекрасные кони.

В русской части ханкайской деревни — 19,3 проц. бедняцких дворов, 72 проц. середняцких и (в 1929 г.) 8,7 кулацких.

В корейской части 74 проц. хозяйств — бедняцкие, 20 проц. — середняцкие и 6 хозяйств кулацких. Как показательно это «равновесие»! Не только аренда высасывала из корейских хозяйств накопления. Кулак-кореец нещадно эксплуатирует бедноту, маскируя эксплуатацию «родственными» отношениями. Корейский кулак еще не разоблачен. Националисты «забывают» о нем.

По исчислениям Меньшикова (см. «Труды амурской экспедиции»), корейцы до войны платили русским крестьянам оброк в 150 тыс. руб. Это было в 1912 г. С тех пор корейское население в крае выросло втрое, землеустроена из него — одна треть. Но в дни Меньшикова в Приморье не было риса. Рис пришел, охватил Приморье внезапно, как эпидемия, и с тех пор все острее и резче стал ощущать кореец арендный гнет, все сильнее и бесстыдней обоготался «землевладелец». Я уже рассказывал о горсоветах и риках, не стеснявшихся быть помещиками для корейских крестьян.

Теперь нужно рассказать о крестьянстве, кулаке, которого вскармливали слепые Арказановы и которого не могли осадить «воинственные» Осен-Муки.

Тов. Жигadlo, автор интересной работы о классовом расслоении в деревне Дальневосточного края, приводит анализ арендных отношений в Шкотовском районе, сеющем рис. (Материалы обследования 1928 г.)

Прежде всего совершенно необычно соотношение процентов сдатчиков и арендаторов.

При 53,2 проц. сдатчиков имеется всего лишь 13,5 проц. арендаторов.

Число дворов, вовлеченных в арендные отношения, не равно числу сделок с землею. Достаточно указать на следующее соотношение. Среди русских сдатчиков имеется 115 дворов, сдающих двум и более арендаторам-корейцам. Эти 115 дворов имеют арендаторами 319 корейских хозяйств.

Вот эта дробность сдаваемой земли, краткосрочность сдачи, ограничивающаяся в массе только одним сезоном (из 211 корейских дворов только 63 имели долгосрочную аренду, при чем исключительно за раскорчевку и подготовку целины), ставит корейское хозяйство в ка-

бальное положение и безысходную зависимость от сдатчика, лишает его всякой устойчивости, способствует росту арендных цен.

Сдачей земли в Шкотовском гнезде занимаются все группы, но особо ярко, особо выпукло выявляется сдача как нетрудовой источник доходов в кулацкой группе.

Е. Жигadlo приводит факты: хозяйства деревенских партийцев и активистов, сдающих земли в кабальную аренду, получают огромный (от 20 до 70 проц. бюджета своих хозяйств) нетрудовой доход. Это доказывает предпринимательский характер аренды.

«Предпринимательская сдача пустила корни достаточно глубоко. Фонд сдачи русскому населению мизерен: из 358,7 дес., сдаваемых русским населением, 340,4 дес. сдается корейцам, на долю 70 русских крестьян приходится следовательно 18,3 десятины.

Вся оживленность арендных отношений объясняется ценами за десятину корейского посева, в этом секрет всего клубка отношений. Каковы же эти цены?

Нам удалось разработать три формы оплаты: «за деньги», «за натуру» и «за невооруженные обработки». Перевести же в ценностное выражение «испольную» сдачу не представилось возможным. Между тем доля сдачи «исполу» очень значительна. При сдачах «исполу» обусловливается не число пудов как при натуральной оплате, а только доля урожая — половина.

Как бы мы ни расценивали те мелкие услуги, которые в некоторых случаях предоставляются сдатчиком (будь то лошадь или плуг, или часть налога), во всяком случае половина урожая таких трудоемких культур, как рис, бобы, кукуруза, которые поглощают основную массу труда на полку, окучивание, уборку, а не на вспашку земли, — кабала для арендатора корейца.

Но и остальные формы оплаты по своим размерам не уступают испольщине.

Возьмем самый распространенный вид оплаты — «натурой».

По показаниям сдатчиков (оценка тоже записывалась со слов опрашиваемого) средняя цена на гектар выражается в 78 р. 40 к., в случае же сдачи под рис — в 107 р. 10 к.

Минимальные цифры — 48 р. 80 коп. и 106 р. 70 коп. Для риса соответственно минимальная — 99 р. 70 коп. и предельная — 184 р. — баснословная цифра, неслыханная и ~~не~~виданная несомненно нигде в Союзе ССР.

Если же мы проверим показания сдатчиков показаниями арендаторов, то поправка падает на тот же рис, где, несмотря на большие размеры колебаний, средняя значительно выше. Она, по показаниям арендаторов, равняется 121 р. 80 коп.»

Не будем пространно и долго цитировать. Читатель поймет, что подобные отношения не могут расти на здоровой почве.

Громадный корейский спрос, доходность предпринимательской сдачи тянули за кулаком и середнячество, и зачастую бедноту. И даже бедняк становился здесь эксплуататором, не сеял, не жал, а собирал свою ренту с корейцев, и она иногда в бюджете бедняцких хозяйств составляла не меньшую долю, чем в бюджете профессионального эксплуататора-кулака.

Выводы Жигadlo подтверждаются и другими, более поздними обследованиями. Так в сентябре 1929 г. был обследован ряд сел Сучанского района.

В 44 обследованных хозяйствах из 164 га сдавалось в аренду 43 проц. Минимальная оплата —  $\frac{1}{3}$  урожая.

Из 19 членов и кандидатов ячейки с. Николаевки 5 человек сдавали всю свою землю из года в год, даже не регистрируя сделок. То же обнаружено и в с. Таудими.

Изменились ли эти соотношения в 1930 г. и сейчас?

Увы, нет!

У меня нет новых цифр статистических исследований потому, что таких исследований еще не было, но корейцы сеяли рис на крестьянских полях, и аренда продолжалась. Единоличник сдавал землю в аренду корейцу попрежнему. Даже русские колхозы сдавали свои земли под рис в аренду без земельным корейским колхозам.

Рисотрест, обязавшийся строить свое механизированное хозяйство, создавать большие совхозы, сдавал тысячам единоличников и десяткам колхозов тысячи га

под рис, заключая арендные договоры на своих плантациях.

В разгар посевной кампании владивостокский окрик ~~то~~ установил отменить арендную плату в 12 руб. на рисовых плантациях. Этим хотели стимулировать рост посевных площадей. Но рики провели это восстановление в дни, когда в воду упали последние зерна семян. Сдатчики палец о палец не ударили, чтобы довести это решение до корейских крестьян. Так это было и в Синтухинке.

В этом первый гордиев узел «корейской проблемы». Корейцев, пришедших к нам, надо землеустроить и сделать это скорее, чем делается это сейчас.

Узел второй — в коллективизации.

Я видел не раз, как за трактором, подымавшим целину для артели, шли грачи, за грачами — кореец, отмерявший свой участок. На этом участке он саял сам, сам полел, сам жал. Молотил он с вой рис на общественном току и сдавал свою долю правлению артели, за контрактовавшему урожай.

В итоге: незначительное обобществление, просто коллективный наем тракторов для вспашки и грейдеров для оросителей. И рис по контракту — в обмен за работу, полив и внимание.

Имея систему плотин, оросителей, единое водное хозяйство и массу других технико-экономических рычагов, можно регулировать землеустройство корейцев только на базе крупного культурного хозяйства и коллективизации. Но рисосовхозы — Сантахеца, Шмаковки, — вокруг которых разворачиваются поселения рисоробов, забыли, что их дело бороться за определенные формы и методы хозяйствования.

Нужно ли говорить о том, что совхозы обязаны быть также и коллективизаторами окрестного крестьянства, в том числе и корейского? Об этом забыли отдельные зерносовхозы в первые месяцы своей деятельности, но затем спохватились и энергично ошибки исправляли. Рисосовхозы не имели прав на такие ошибки, ибо возникли позднее зерновых. Кроме того, они строятся как комбинаты, в которых машинно-тракторная станция обслуживает сектор государственной и сектор кооперативный — и совхоз, и колхоз.

Но коллективизаторской работы нет. Я искал на Ханке, вокруг нее и не уви-

дел ни одного факта, подтверждающего коллективизаторскую роль совхозов, их влияние, их руководство, особенно в корейском селе.

— Это дело не наше. Это дело Колхозсоюза. Нам директив не дано, — говорил директор совхоза Сантахеца Кораблев даже на партийных собраниях.

Здесь, как и в аренде, упускали линию партии, извращали ее.

Третий узел «корейской проблемы» — в японобоязни и спрятавшемся за ней шовинизме.

Это правда, что корейцы идут к нам компактною массой, организовано. Это правда, что есть и японский контроль, и японская агентура над ними. Но вопросы иммиграции — вопросы административные, их могут урегулировать правительство и пограничники.

А партия не дала и не дает директивы хозяйственникам игнорировать, третировать, эксплуатировать корейского иммигранта только потому, что он временно безземелен и пробрался в СССР без разрешения.

Нужно ли спорить, кто более опасен на границе СССР, — невыявленный, хозяйничающий кулак, имеющийся здесь в изобилии, или подозреваемый «агент Японии» — вшивый, голодный корейский бедняк, выгнанный с родины империалистами.

Нужно ли спорить, кому будет другом корейский паупер: приютившей его, давшей землю, вырвавшей из тисков кабалы и рабского, чудовищного в своей примитивности хозяйства Советской стране — отчизне угнетенных, возвращающей народу культуру, политические права, радости жизни, или японскому сапогу, растоптавшему фанзы в Корее и выбросившему корейцев пинком из страны.

Надо бить, надо крепко и беспощадно бить по узким русопяттовским лбам, зараженным великодержавным, колонизаторским национализмом. Бить по тем, кто не умеет мыслить, как мыслят революционные интернационалисты.

В ряд с ними надо ставить оппортунистов, либеральных корейских националистов, пробравшихся в партию и коверкающих ее линию. Бить за то, что они не хотят вести жестокую классовую политику в корейской деревне.



## 4. ДЕТАЛЬ СОВХОЗА

Владимир Козин

## I

Конюшня совхозкомбината была крыта дефицитным стройматериалом: фанерой. Об этом ответственный за строительство инженер Шнойде говорил с насмешкой и покорным отчаянием: — Ой, возьмут меня когда-нибудь за удобное место и спросят: что ж ты, сукин сын, сделал с дефицитным товаром? — Да и в конверт, — добавлял прораб Шаманский, и у жирного прораба плясала в глазах ласковая издевка.

По утрам в конюшне было сумрачное спокойствие. Склонив над кормушками головы и ревниво заложив назад уши, лошади ели саман с ячменем. У фуражного ларя конюх Хмара рассматривал в копеечном заркальце обольстительные завитки своих рыжих усов. Над ларем запечатленная мухами висела таблица кормовых дач; рядом с неловкой старательностью синим карандашом была выведена раскосая надпись: «В конюшне непотребными словами выражаться запрещается, ибо это недопускается».

Я взял оседланного для меня коня, зануздal его и вывел под уздцы на юлю.

Великие холмогорья отрогов Парапа-миза застенчиво розовели в предчувствии солнца. Горбатая долина Шор-Араб, принадежающая двум государствам, оживленно сверкала новыми крышами комбината. Долину пересекал центральный склад; равнодушной мыслью совхозских строителей он был нелепо втиснут в порядок жилых строений, словно мордастый дог в ставку комнатных собачат. Совхоз строился без генерального плана, и здания возводились на случайных местах. В конце строительного сезона заехала в совхоз — тоже случайно — комиссия рабоче-дехканской инспекции. На ехидный вопрос комиссии: — Какие у вас были серьезные основания для подобного размещения построек? — инженер Шнойде, испуганно улыбнувшись, ответил торопливым шопотом: — Мы так вообще... без оснований. Места чересчур много было.

В стороне от сверкающих новою близною зданий высился остов верблюжьего навеса. У подножья надменных холмов темнела печь для обжига сырцового кирпича, мрачностью своих контуров похожая на индийскую гробницу. До весны тысяча девятьсот тридцатого года долина Шор-Араб знала только величавую поступь верблюдов и математическое безумие орудийных выстрелов (в долине было стрельбище). С весны в тесных просторах долины, в восьми километрах от границы, началась стройка.

Солнце выкатилось из-за холма; долина вздрогнула и очнулась.

Мимо конюшни, рассыпая шорох сухой травы, прошел шматок нагульных валухов. В стаде грубошерстных кастратов царил скука бессильного оживления: взбодренные солнечной прохладой утра валухи в вдохновенном неведении дружно ездили верхом друг на друге. Вслед за шматком в блистательной чалме и сером ойлике прошел пастух-джемшид; он сверкнул белками глаз и сказал мне чуть слышно: — Селям! — За ним просеменило стадо ослов; ослиные мудрые головы равнодушно свисали меж передних ног и едва не волочились по сырому песку. За ишачьим стадом цепочкой протянулись оседланные верблюды, и розовый простор утра наполнился сдержанным стоном верблюжьих ботал.

У ворот автогаража возникла тощая и кроткая фигура Васяткина — старшего механика, за порывистую энергию и бессонницу ночей премированного совхозом пятьюдесятью рублями. Что стоит гордость энтузиазма, оплаченная мелочью? Васяткин бы отказался от бездарной награды, но хладнокровная и смазливая жена его хотела иметь еще одну пару рижских чулок и сумочку — ту, которая в витрине нового кушкинского кооператива и которая — прелесть.

— Доброе утро! — крикнул я в ответ на усталую улыбку Васяткина и сел в седло.

— Куда так рано? — спросил крошечный механик; он приблизился ко

мне и вынул свою детскую руку из блестящей шоферской перчатки.

— В Кушку. Разве не знаете? Свиньи пришли. Целых три вагона.

— Ну? Значит, дело начинается?

— Начинается, — подтвердил я и дал коню хлыста.

## II

Декабрьское солнце со старческой нежностью ласкало мужественные стволы голых тополей. Тополя, как brave усы, простодушно украшали рябую морду поселка Моргуновского. словно сытый боров, лежал поселок среди опустошенных огородов. По лысым огородам, в сладкой гнили небранной ботвы бродили пестрые коровы и беспечно рылись свиньи. Поздняя осень юга Туркмении была властительна и ясна.

В синем небе торчал каменный кулак аметистовой горы. На склонах ее в гордом одиночестве лепились фисташки. Кругом великие холмогорья с неистовым бесстрашием попирали друг друга.

Я выехал из долины Шор-Араб; дорога завернула к железнодорожному полотну и поселку Моргуновскому.

Два слова о нем.

Взятием крепости Кушки закончилось завоевание русскими Туркмении. Это было в тысяча восемьсот восемьдесят пятом году. В последующие годы царское правительство приступило к созданию материальной и идеологической опоры своего господства в крае. Была сделана ставка на русского поселенца. На него возложили историческую и хозяйственную миссии: быть проводником русского влияния среди мусульманского населения и пограничным производителем зерно-фуражных запасов для армии.

Переселенцы из Харьковской губернии были поражены девственным обилием отведенных им земель, несусветной жарыщей и свободолюбием кочующих афганских племен. Бабы причитали: — Хиба це жисть? — и называли афганцев чертяками. Мужики получили от хитроумного правительства по сотне нарыло, купили добрых коняк и успокоились. Так началась просторная и дюже крепкая жизнь предприимчивых украинцев на самой южной точке русских среднеазиатских владений.

Постепенно поселок раздобрел — и

превратился в крохотную Украину. Безграмотные колонизаторы крестились на иконы, вывезенные из ридной Украины, сеяли бобровую пшеничку, осенью кололи боровов и черными ночами отбивали свои отары от чересчур свободолюбивых соседей. Зажиточный, в скрипучих сапогах поселенец сделался фермером и неутомимым эксплуататором края. Он старательно белил свою хату, проводил арыки, разбивал тенистые садовочки, охранял на границе дынями и кавунами засеянные бахчи, держал красных немецких бычков и два публичных дома: один для господ офицеров, другой — полтиннишный — для низших чинов (стосковавшихся по далекой рязанской родине).

В общем жил: богател, плодил обильное и предприимчивое потомство, по вечерам звонкими девичьими голосами играл песняки про Сагайдачного, занимался немножечко контрабандой и попутно своим деятельным существованием выполнял важные государственные миссии — колонизационные миссии русского торгового капитала.

## III

Утро. Ночные туманы оворачивают прочь с дороги. Арыки полны обильной осенней водой. По железнодорожному пологну плывут веселые маки девичьих бок. Какие девчата! Горячие и розовые от ходьбы, раннего утра и сочной молодости!

Дорога бежит вдоль Моргуновского. Придорожный Гребенчук хранит суровую прохладу ночи. Речка Морен-Су, проснувшись, радостно бормочет, как девчонка. Сжатые люцерники уныло желтеют. На испитых люцерниках озорничают тонконогие стригунки. Я пою коня на излучине. Конь постепенно раздувается; он звякает железом недоуздки и пристально смотрит в лиловый простор загадочных далей.

За поворотом, вознесенная над толпой могучих холмогорий, открывается Кушка.

Справа видна приземистая аркада крепостных ворот, вобравших в себя линию железнодорожного пути. Ворота громадны и ржавы, как история прошедших веков. Теперь они всегда раскрыты, и на рваных листах их шатают-

ся грузные росписи красноармейских фамилий. За воротами и крепостной стеной сверкают обескращенные макушки гарнизонных церквей. С краю смотрит заурядный купол вокзала — конечной советской остановки в трех километрах от границы.

Дорога ведет к бывшим Алексеевским воротам. Слева от дороги кавалерийский взвод, выйдя на занятия, топчет рыжими конями красное подножие величественных холмогорий. В воротах я встречаю совхозский трандулет, запряженный парой ревнивых гнедых. В дребезжащем трандулете сидят Самуил Дьяконов и секретарь совхоза Наталья Георгиевна — женщина радостной и мужественной красоты.

— Куда так рано? — кричит мне рыжий Самуил, и секретарь забавно машет ручкой.

— Свиной принимать, — отвечаю я, проносясь в ворота. Лужа. Школа. Исполком. Рядом строгий беспорядок новой стройки. Я забираю вверх по улице, направляясь к вокзалу.

#### IV

Мы откатали дверь вагона и настлали доски.

Свиньи, обеспокоенные шумом, в тревожной нерешительности затопали в разные стороны по изнавоженному полу. Гуртоправ Шмадрин схватил ближайшего подсвинка за уши и под истеричный визг выволок его на сходни. Отсыривший в вагоне поросенок боком сбегал на землю и, отряхнувшись, поспешно помочился. Потом, успокоенный пленительной нежностью утра, с довольным видом потрусил прочь.

Мы разгрузили все вагоны и погнали стадо через Кушку.

Кушка, омытая ночью свежестью, розовая и безмолвная, раскинувшись, спокойно лежала на круглых холмах. По холмам и горбатым улицам тянулись к вокзалу длинноногие казармы и сбегали праздничные домики, построенные в давнопрошедшие времена инженером фон-Шульцем. Прохожие красноармейцы и жены гарнизонного комсостава, пораженные видом необычайного для Туркмении стада, останавливались и с благожелательной укоризной смотрели вслед: обогретые солнцем хряки вели

себя в стаде энергично и непристойно. Юрки поросята, обидчиво и нагло визжа, сбивались в пугливые кучки и мчались напролом в первый попавшийся закоулочек. Взрослые свиноматроны, обремененные грузом истрепанных сосков, сновали поперек стада и возмущенно подхрюкивали. Вокруг них, рваные и лапотошные, суетились гуртоправы; они привезли с собою из Нижегородского края рыжие бороды и деятельную сноровку, уснащенную цветистыми растудитными выражениями.

Стадо рысцой миновало привокзальную площадь и вышло к крепостным воротам. Здесь, напротив аптеки, помещалась единственная в Кушке кондитерская.

Дверь кондитерской приоткрылась; в дверях возникла низконогая фигура директора совхоза Абаса Бендалиева.

Директор был в каракульской шапочке драгоценного цвета сур и прорезиновом плаще. В правой руке он держал угрожающих размеров пустой портфель; в левой — растрепанный и загнутый сверток; из свертка высовывалась верблужья колбаса, яркая, как ободранный труп.

Увидев беспокойное свиное стадо, директор разом остановился посреди тротуара.

Я подошел к нему и кивнул головой.

— Здравствуйте, — с безразличной приветливостью ответил Абас Бендалиев на мой поклон. Потом сосредоточенно нахмурился и спросил:

— Это наши свиньи?

— Да. Прибыли с поездом вчера вечером.

— Так.

Лоб директора пересекла складка угрюмого созерцания. Он стоял перед дверью кондитерской — тяжелый и неподвижный, как остывший паровоз, и с грозной задумчивостью смотрел на беспорядочное движение свиного стада.

Взрослые медлительные свиньи, стремительные подсвинки и обидчивые поросята прерывистой и грязной волной катились мимо директора. Возбужденные и беззастенчивые хрячки вскакивали на бегущих маток и выплывали на ходу задними ногами взволнованный талец. Наиболее упорные и ловкие, здоров пятак к небу, так вытанцовывали

минуту или две. Директор усмехнулся и стал к стаду боком.

— Как свиньи... ничего? — спросил он пренебрежительным голосом.

— Стадо сборное. Есть дельные метисы с английской белой и беркширской. Есть и беспородные. И брак.

— А они что-нибудь кушали?

— Их кормили в вагонах.

— Угу. Как они безобразничают!.. — и директор неодобрительно поднял левую бровь.

## V

Мы загнали стадо во двор свинарника; гуртоправы, отдуваясь, сели на колду и огладили рваные бороды.

День был просторный и синий; остывшее солнце смотрело спокойно, как старость. Двор блистал жаром щепок и новоструганных станков. Гавкин-дед, молчаливый и неповоротливый, упрямо крутил колесо соломорезки; под ноги ему весело сыпалась люцерновая резка; сухой аромат травы был вкраплен в ясный день. Свиньи торопливо взрывали двор, деловито чесались и повизгивали. Громадная матка, богато одетая в сверкающую парчу нежной щетины, развалившись розовыми окороками, умирительно грелась на солнце. Пронырливые подовинки сутились как зачарованные. Мы дали свиньям отдохнуть; потом принялись устраивать стадо в станках неудобного помещения.

Свинарник совхоза временно был оборудован во дворе жителя поселка Моргуновского Бондаря Луки.

Мать Бондаря — старуха с обиженным лицом и блудливыми глазами — полторы недели мучила себя, детей-бродячей и хитрозадых соседей, разрешая навязчивый вопрос: соблюсти ли прямую хозяйственную выгоду, сдав ненужную часть двора в аренду совхозу, или, отказавшись от риска пускать во двор казенное учреждение, пренебречь приятной обеспеченностью арендных доходов. Соседи Бондаря — нераскулаченный Панченко и беспокойный стяжатель Листопад Борис — крутили тугими, осевшими на плечи головами и певуче долбили растерявшуюся старуху: — Совхоз? Це дило треба разжувати!..

К концу второй недели замученная собственной нерешительностью старуха

согласилась сдать заднюю часть двора в аренду и подписала договор, а подписавши, всплеснула иссохшими руками и затосковала: — Ой, чую, вы ж у мене после весь двор оттягаєте! — У вас оттягаєшь! — раздраженно сказал юный заведующий свинарником Гавкин-младший: — Вам, бабушка, для доброго соседа дерьма и то жалко!

В заарендованной части двора, в глинобитной конюшне и раскосом сарае совхоз приступил к устройству и оборудованию временного свинарника.

По этому поводу между животноводческим цехом совхоза и стройконторой началась затяжная и невеселая борьба. Этот внутривосхитительный театр борьбы имел непредвосхищенные в истории человеческих войн формы и содержание: цех боролся не с лихорадочным коварством упрямого врага, а с властительным бесчувствием его мысли и угасшею волею.

Стройконтора помещалась в первой комнате от входа в совхозуправление. Высокие потолки и окна, легкая окраска стен и просторная кубатура здания создавали впечатление строгой и солнечной ясности. В строительной конторе стояли три стола: для инженера Шнойде, прораба Шаманского и счетовода Шмарадько.

Ответственный за строительство совхоза Мобер Христианович Шнойде артелями каменщиков, плотников и кровельщиков именовался Молр Кресьянович. Так было проще и понятнее. Инженер был серебристо сед, сух, как осенний лист, высок и горбонос. Он всегда носил изящную фетровую шляпу, загаженный плащ, едва прикрывавший седалище, и спустившиеся до щиколотки брезентовые сапоги. Говорил неслышно, с ленивым напряжением открывая рот, словно издыхающий ястреб. Энергично высеченные черты его лица и поджарая нервность фигуры были обманчивы: инженер Шнойде страдал печальной неорганизованностью мышления и растерянностью в поступках.

Прораб Шаманский — гидротехник по образованию и госторговский заготовитель по стажу — был толст, насмешлив и быстр в движениях. Суровое и гневное революционное прошлое его, отмеченное историей гражданской войны

в Туркмении, сменилось в настоящем скромностью одинокого существования. Но молчаливая преданность труду и взволнованная самоотверженность в любом практическом деле остались навсегда.

Счетовод Шмарадько был надоедливым философом в повседневной жизни и тупицей в своей профессии.

Борьба между животноводческим цехом и стройконторой начиналась обычно с полудня, когда аккуратно составленная старшим зоотехником сводка невыполненных обещаний, незавершенных работ и непроверенных распоряжений конторы разбухла до губительных размеров и становилась похожей на перечень особо известных статей уголовного кодекса. Тогда зоотехник Крамен брал блокнот, автоматическое перо и решительно говорил: — Иду к Шнойде!

Инженер обыкновенно сидел за пустынным столом и с бесцельною старательностью вырисовывал восходящую кривую малюсеньких квадратиков. Крамен отыскивал для себя стул и вежливо начинал:

— Мобер Христианович! Вы обещали, что с сегодняшнего утра будут работать на свинарнике три плотника. Повидимому, это были астральные существа, потому что обнаружить их при всем своем желании мы не могли.

— Да, сволочь народ, — покорно подтверждал Шнойде: — К тому же, нет у нас плотников! Была одна артель летунов жулика Куманенко, да упорхнула в Катта-Курган за круглым рублем. Мы, — говорят, — жрать вашу вонючую верблюжатину и колбаску из мяса гавгав не станем... Зимогоры, одним словом!

— Совершенно и очень правильно, — с веселой уверенностью вмешивался в разговор Шмарадько: — Народ нынче стал летчиком. Пол-России, можно сказать, на колесах!.. Про себя я хотя бы честно скажу: жил я себе в Центральной черноземной области и при самых порядочных обстоятельствах. Ну — с женой развелся. Разведенная супруга на улицах меня в отчаянной злобе ловит и всякими выражениями обкладывает. Я и сбежал — подался... да так до самой Кушки и докатился. Ну, здесь — стоп: конец социализма — дальше ехать некуда!

— Мобер Христианович! Я считаю себя обязанным напомнить вам, что по устройству свинарника до сих пор почти ничего не сделано. Не будьте по привычке задним умом крепки: все необходимые работы надо произвести до прибытия свиней. Где ваши плотники и кирпичники?

— Нету. Пересадите мне какую-нибудь бабью железу — я вам буду рожать. А так — нету! Ездил десятник и в Ашхабад и в Самарканд, — на биржах одни старые бумажки валяются... Надоела мне вся эта канитель, и жена плачет: по городу стосковалась. До чего дожили, а? — и Шнойде усмехался с грустью и доверием.

— Я тоже скажу, — подходя к Крамену и ласково смотря ему в глаза, начинал Шмарадько: — Хотя у меня на голове и не инженерская фуражка, зато целиком инженерская голова, и всякое сознание я понимаю. Приехал я сюда прямо как в Америку и вижу одно разочарование: во-первых, начальник верхом на начальнике, и каждый чуть что — на крышу и кричит кукареку. Затем — беспорядок и жалование задерживают. Сегодня я бухгалтеру прямо так и отрапортовал: если денег не дадите, я — человек откровенный — завтра с матюком приду. За что, спрашиваю, должна быть осилена, отравлена и выброшена за борт наша несчастная, беспортошная жизнь?

— Мобер Христианович! В свинарнике до сих пор не возведена стена, не настланы полы, не сделаны корытца. Как мы будем принимать свиней? Кто будет отвечать за это?

— Вот я и говорю, — равнодушно отзывался Шнойде: — Ей-богу, всех нас посадят. Все равно: месяцем раньше, месяцем позже!..

— Двух плотников я вам завтра без бабьей железы дам! — Прораб Шаманский кивал головой Крамену, вылезал из-за стола и злобно хлопал дверью.

На другой день в тех же безнадежных формах возобновлялась борьба за каменщиков или стекольщиков.

## VI

В самом конце строительного сезона в Кушку из Ашхабада приехала комиссия представителей рабоче-дехканской ин-

спекции и республиканского наркомзема.

Комиссия с первого же дня пребывания в совхозе была поражена плечистым размахом совхозного строительства и вдохновляющим чувством больших перспектив. Для наиболее быстрого и сжатого ознакомления комиссии с историей, географией, экономикой и планами совхоза было созвано широкое совещание специалистов. В своем докладе на этом совещании старший зоотехник Крамен коснулся в частности истории постройки свинарника.

— История создания свиноводческого цеха в совхозе, — сказал Крамен звучным и уверенным голосом, — есть история сомнений и нерешительности, история борьбы взглядов и идей, решительнее говоря, есть один из эпизодов классовой борьбы на советских окраинах. Люди, которым в пределах Туркменгосторга была поручена инициатива создания отправных планов животноводческой части совхоза, действовали, повидимому, с заранее обдуманном намерением, стараясь предусмотрительно ограждать себя бумажным забором от будущей возможной ответственности. Поэтому, когда правительство поставило перед госторговскими комбинатчиками вопрос о том, какие же отрасли животноводства географически и экономически могут быть оправданы в условиях Кушкинского района и крупного государственного производства, то смиренным мудрые аппаратчики, выросшие на медленных дрожжах помещичьего хозяйствования, решили с подкупающей простотой и безобидностью: представить всего и понемножку, то-есть создать крупнейший в Союзе совхоз на организационных принципах бакалейной лавочки (смех). В этом отношении наш совхозкомбинат, в котором на ряду с эксплуатацией фисташковых рощ, солеработками, обширным богатым полеводством и культурой лекарственно-технических растений представлены овцеводство, молочное дело, птицеводство, кролиководство и свиноводство, напоминает мне лаконическую вывеску одного уездного парикмахера: «Стригу и брею, он же и мадам». (Смех. Возгласы: — Товарищ Крамен, покороче!.. — Ничего, ничего! продолжайте, пожалуйста!). Таким об-

разом люди, призванные планоно руководить совхозом, были людьми с психикой курицы из единоличного двора, людьми с хуторской идеологией, людьми со ставкой на многоотраслевое хозяйство. В области крупносельскохозяйственного свиноводства они решили начать дело с поголовьем в пятьдесят свиней!

Это первый этап, имевший место ко времени начала организации совхоза, то-есть к марту месяцу тридцатого года.

После того, как стройконтрора совхоза, отталкиваясь от этой планоргпечки, создала свои рабочие планы и приступила к осуществлению их, в госторговских кабинетах произошло неожиданное, — повидимому, не без постороннего вмешательства! — оживление хладнокровных умов: именно издательская свиная цифра «пятьдесят» была зачеркнута и над ней робким почерком и жидкими красными чернилами было начертано «сто». То-есть социалистическая буря в одном стакане воды с горделивым идиотизмом была увеличена до двух стаканов. (Смех. Возглас: — Крепко сказано!)

Дальше началась чехарда планов, которая, как и всякая игра, никаких утилитарных целей не преследовала. Вконец задерганные и замудренные бумажные свиноматки то растекались численно до эпизоотического предела в двести пятьдесят свиномест, то внезапно потухали по какой-то загадочной ускользающей кривой. Мне кажется, что госторговцы, подобно средневековым схоластам, просто верили в возможность реального существования самих понятий, в частности такого понятия, как «свиноматка». Иначе, по-моему, трудно объяснить силу извращенной страсти ашхабадских плановиков, страсти к бесконечному манипулированию одними отвлеченными понятиями.

— Товарищ Крамен, — выразительно зевнув в кулак, сказал председательствовавший на совещании Абас Бендалиев: — пожалуйста, покороче!

— Хорошо. Я отрежу своему докладу некий обобщающий хвост. Будем покороче!

— В середине осени Туркменгосторг нам сообщает: свиноводства в этом году в совхозе не будет. Тогда строители забрасывают вырытые под свинарник кот-

лованы и, не озираясь, переносятся к другим производственным сооружениям. А месяц тому назад мы получаем из Ашхабада телеграмму: «Вам отгружено сто подсвинков приготовьтесь приему».

— Подложили-таки свинью! — насмешливо сказал член комиссии Мизгирев. — Люблю слушать занимательные истории, — самодовольно улыбаясь, продолжал он: — Вот моя жена тоже так же: шесть лет жили с ней — жили, чорт знает как развлекались — ничего. Потом, когда я и думать перестал, вдруг раз: — Костя, я беременна!

— Когда мы получили эту телеграмму, — закончил Крамен сообщение, — нам больше ничего не оставалось, как заарендовать временное помещение под свинарник в поселке Моргуновском. О том, чтобы в таком свинарнике возможен был переход свиного количества в качество, не стоит и думать. В виду определенной антисанитарности помещения я опасаясь, как бы нам вообще не лишиться за зиму и самого количества!..

## VII

На следующий день я ранним утром пошел в совхозуправление: нужно было составить акт приема свиней и успеть к двенадцати часам отправить гуртоправов с поездом домой — в далекий и неведомый Нижегородский край.

Деревья у моргуновского ручья и мельницы были от инея седы и грузны. З стоячем тумане таяко путались очертания холмов и строений. Неожиданными великанами выступали у коновязи лошади совхозской военизированной охраны. Сухой песок под ногами был в необычайных снежных плешинах. Доска через арык непривычно белела над черной водой. Я осторожно проскользнул по доске, поздоровался с артелью армян-кровельщиков и вошел в совхозуправление.

Самым крупным отделом совхоза был сельскохозяйственный.

Отличительной чертой его являлись: разнообразие объектов деятельности и разнокалиберность людей, ведающих этими объектами. Здесь измышляли, спорили, налаживали, путали, изменяли, руководили, увязывали, вычисляли, планировали зоотехники, агрономы, лесоводы и экономисты. Здесь царил пол-

ный разноразовой возрастов, взглядов, идей, степени образования, трудоспособности, развития и стажа. Здесь были расточительная энергия тупиц и дерзкая увертливость беспечных прожектеров; восторженность смелых организаторов и тихая растерянность пожилых интеллигентов; отшлифованные опытом знания и неуверенная мысль технического молодняка; копеечная жадность вечно хмурых обывателей и высокомерие специалистов-ловкачей. Здесь были типы с законченной психо-анатомической формулой: преданный взгляд, совершенно верно и спина кренделем, и людишки, о которых товарищи с завистливым презрением шептали: — Нет, вы только посмотрите на Гавкина! И день и ночь рвется, сука, к партбилету!..

Зоотехник Крамен был крепкий, легко приспособляющийся и лукавый человек. Про себя он говорил: — Формы производственных отношений, меня породившие, умерли, а я жив. Кто же я такой? Я — социальная сирота. У меня с окружающей общественной средой скрытый и губительный для меня разлад. Идеалы этого общества — не мои идеалы. Цели — не вдохновляющие меня цели. Мое сознание — сознание островитянина. Я — массовый одиночка. Производство потомства — для меня акт бессмысленный: я — пустая величина, и дети мои будут утятами для озадаченной коурицы. В жизни для меня остались: скромная гордость сознания, что обреченная на одиночество мысль моя... все-таки движется! — и невеселое любопытство смертника к содрогаящейся вокруг него чуждой среде. Я честен и работоспособен, но я знаю, что это — качества всякой сытой лошади. За хлебную охалку сена и мануфактурный овес я готов работать у любого хозяина, если кнут его не слишком усерден. Я — одомашненное животное. Это не звучит гордо, но это так: мне чужда идейная пристальность в работе. Но, повторяю, я честен по отношению к любому работодателю. В Афганистане говорят: черная собака или рыжая собака — все равно собака...

Но это была обдуманная откровенность хитрящего человечка: зоотехник Крамен твердо разбирался в социаль-

ной символике цветов и имел упрямо выраженные вкусы. Он работал, но сдержанно и хладнокровно. Высококвалифицированный специалист, он оживленно суетился и был приятно взволнован только тогда, когда получал в рабочее время из совхозского склада новые ботинки или прорезиновый плащ. Вышколенная мысль его чаще была занята настойчивым разрешением вопросов добывания предметов, необходимых для безобидного существования, чем делами сложного совхозского производства.

— Изю всех энергетических ценностей одно из самых дорогих — серое вещество человеческого мозга. Высокоорганизованным обществом оно расценивается примерно так же, как в кормовых продуктах белок в сравнении с жирами и углеводами, — во время рабочего перерыва сказал как-то Крамен мне, одесситу Дьяконову и выжидательно улыбающемуся экономисту Багрию. — В Америке Форд плотит круглые оклады своим инженерам не только за то, что они сигают по заводу и организуют, но и за то, что они думают — за серое вещество их изощренности. У нас же систематически думают только профессионалы — научные работники. От практических же деятелей организованного мышления, повидимому, не требуется!

— Форд своим инженерам присылает даже билеты в театр, чтобы избавить их от излишних хлопот, — вставил Дьяконов, поглаживая выпуклость своей рыжей лысины.

— Внушите эту мысль нашему директору, — подстрекающим тоном предложил Багрий.

— Абасу? Плевать ему!.. Сторож Рахман, который подает чай, куда ему дороже, чем все специалисты совхоза, в купе взятые. Абас сейчас взволнован только тем, что плотит алименты разведенной жене, за которую не так давно дал калым в триста рублей золотом. А совхоз для него — так, неприятность... в роде геморoidalной шишки: и беспокоит, и избавиться трудно.

— Когда пригнали свиней, — сказал Крамен, — в первый же день пал хороший подсвиннок: простудился дорогой. Я сообщаю об этом Абасу. — Ну, — ис-

пугался Абас, — а акт составили? — Составил. — Хорошо. Только, пожалуйста, не потеряйте акта!.. — А о свиньях — ни полслова.

— Плюс ко всему у нас слаб рабочий ком!..

— Да это не рабочком, а меланхоличная глиста! — весело крикнул Дьяконов. — У нашего Митрия в голове каждый день столько же мыслей и намерений, сколько у всех рабочих и служащих, — он со всеми соглашается. — Митя, — говорю я ему, — надо бы устроить собрание по вопросу о поднятии трудовой дисциплины. — Вот это верно! Хорошее дело, — говорит Митя. — Но ведь, Митя, мы к этому собранию еще не готовы, надо кой-какие материалы! — Правильно, не готовы, — соглашается Митя. Наш Митя, как семейный горшок, кто захотел, тот на него и сел!

К столу Багрия, у которого велся обстоятельный разговор, подошел ученый лесовод, лесомелиоратор и ботаник Письчук. Он весною кончил ленинградский институт и по окончании получил две путевки: на Кольский полуостров и в Кушку, — на крайний север или на крайний юг. Письчук удивился своей насмешливой судьбе; спросил у знакомых, что лучше: быть замороженным или зажаренным? — и, удостоверившись еще раз в великом разнообразии человеческих вкусов, заскучал. Потом поразмыслил и, приняв во внимание мануфактурный кризис, поехал на самую южную точку Союза — в Кушку.

Письчук был молод: курносая округлость его лица смотрела наивно и восторженно; глаза, когда он говорил, сверкали с упрямым и нелепым ожесточением. В жестах своих он не знал задерживающих границ: руки его и податливые мышцы лица одновременно вытанцовывали, скакали и дергались в разных направлениях. Говорил он громко, решительно и путанно.

— Я, — сказал Письчук, подходя к столу экономиста, — категорически протестую против дирекции. Почему до сих пор не проведена в жизнь постройка фишашкообрабатывающего завода? Завод должен быть построен немедленно! — Письчук ударил кулаком по столу и с властной медлительностью обвел нас взглядом.



— Сию минуточку! — сказал издаваясь Самуил Дьяконов: — Стукните по столу кулачком еще разик, и заводик будет готов. Прошу вас, стукните, пожалуйста, в интересах мирового пролетариата!

— А? — грозно спросил Письчук. — Это вы говорите мне? Вы, из-за происков которого я едва не был невинно арестован?..

— Вас хотели привлечь к ответственности только за то, что вы, ворвавшись в райисполком, назвали всех присутствующих контрреволюционерами.

— И правильно назвал! Правильно! — закричал Письчук с величавой мукой избиваемого пророка. — Они же нагло отменили мое запрещение охотиться в наших фисташковых дачах.

— Потому что это запрещение противозаконно и противоречит политике усиления заготовок дикого мяса. А законов вы не знаете и, пересев с вузовской скамьи на канцелярский стул, дуется, как прыщ и что-то из-под себя измышляете.

— Нет и трижды тысячу раз нет! Я действую в интересах охраны фисташковых рош совхоза, в интересах эпохи и... пролетариата!

— Опять пролетариат! Это просто не умно...

— Пусть я не умен! Это — клевета, но пусть!.. А вы... вы нахально ухаживаете за женой специалиста Камаринского, когда тот находится в служебной командировке.

— Письчук, не ревнуйте! Это устарелое чувство.

— Я? Ревновать? Я не могу ревновать: у меня — молодая жена и ребенок.

— Как? — задохнулся Дьяконов и, обессиленный, упал на стул.

— Да так! — потрясенный неожиданностью собственного мышления, закричал Письчук. — Мне больно смотреть на вас, такой вы безморальный! Но я добьюсь своего, и фисташкообрабатывающий завод, единственный во всем Союзе, будет построен. Будет! Верю.

— Конечно будет. Вопрос только в сроках. Не может же совхоз, существующий всего восемь месяцев и не имевший в этом году даже фисташкового сырья, делать сразу такие капитальные

вложения. Это значило бы обескровить весь организм. У вас сейчас по отношению к заводу просто влюбленное состояние, и вы думаете, что во всем мире существует только одна прекрасная женщина.

— Нет, я не думаю — я действую. Я докажу...

— Товарищи, — уныло сказал старик-лесничий, входя в комнату, — рабочком выдает путевки на дамские костюмы. Кого интересует?

— Дамские? Путевки? — и Письчук исчез.

— Какой активный идиот! — торопливо бросил Крамен, тоже направляясь к двери.

## VIII

Акт приема свиней был составлен. Я понес его на подпись Абасу Бендалиеву.

Кабинет директора был пуст; на столе одиноко лежал портфель, рядом висел рыжий плащ.

— А где Бендалиев? — спросил я у секретаря, выходя в смежную комнату.

Секретарь с проказливой хлопотливостью рылся в гигантской книге приказов; настойчивые пальчики Натальи Георгиевны в деловом воодушевлении трепали мертвые страницы. Грудь ее, большая и легкая, как надутый парус, стройно вздымалась над столом. Пышные и бледные волосы разметались в стороны, придавая лицу выражение беспечности и лукавства. Глубоко человеческое величие и взволнованная работоспособность этой женщины были пленительны и незабываемы.

Возле секретаря стоял Колесник — бывший клоун, картежник, бабий пересмешник, певун и забулдыга, но ловкий молотобоец и свой парень в доску.

На последнем собрании при выборе его в члены союза Колесник, поднявшись с пола, где он сидел, и отвернув лицо в сторону, сказал с насмешливостью и неожиданным волнением: — Ну, чего там смотреть да под'елдыкивать? Вот он — я! Парень хороший. По моему мнению, надо меня избрать. Так и быть, скажу я вам: если выберете в союз, буду как чорт работать до конца пятилетки, а нет — завтра же подамся в родную станицу под Майкоп, либо в Самарканд. А то и на Урал!

Днем Колесник всегда был грязен и оборван; вечером — щегольски одет. Вечерами ходил он по слепым улицам поселка Моргуновского и волнуящим голосом пел незатейливые песни городских окраин. Голос его был звучен, просторен и строг.

Веселая морда Колесника была старательно вымазана сажей; развалившееся пальто не прикрывало голых грудей; на ногах беспомощно болтались туркменские кауши. Надвинув рассеченный козырек фуражки на нос, Колесник застенчиво бубнил секретарю:

— А потому такой отчаянный вид у меня, что продулся в карты. Все знают, и рабочком знает. Я уже покаяться — по всем правилам. Ну, никогда больше не буду! Похлопайте у Дьяконова, Наталья Георгиевна, чтоб мне выдали новую прозодежду: в кузне — грязь, и, когда дожди, насквозь каплет. Кого будут греть за это — не знаю, ну, а пока что мне от этого не легче!

— Колесник! — сдержанно и мягко сказала Наталья Георгиевна, — когда же вы остепенитесь? Жениться вам, наверно, надо!

— Жениться? Нет. Жена — коллектив всей жизни. Ну, а поскольку сплошной коллективизации у нас еще нет, так и жениться погодить можно.

В комнату стремительно вошел Самуил Дьяконов.

— Где Абас? — спросил он быстро, пожав всем руки, рассказал анекдот, написал телеграмму, любезно изогнувшись, шопотом пообещал машинистке достать рижские чулки и согласился выдать Колеснику прозодежду.

— Наталья Георгиевна, куда смылся директор? — язвительно спросил Крамен, появляясь в дверях.

— Право, не знаю: вышел часа полтора тому назад, ничего мне не сказал.

— Товарищи, кто видал директора? — трогательным тенором произнес белобрысый бухгалтер и боком пронес сытое тело в дверь. — Я не могу, — сказал он, обращаясь к Крамену, — составить без директора окончательный расчет для ваших гуртоправов.

— Следующий поезд идет через три дня. Если мы не отправим гуртоправов сегодня, то по договору совхоз должен будет уплатить им за вынужденную за-

держку рублей сто лишних, — напомнил Крамен певучему бухгалтеру.

— Загадочное исчезновение! — подсмеиваясь, шепнул Дьяконов. — Уж не украли ли нашего директора джемшиды? Это такие мелкие ворюжки, — обязательно спондят, что плохо лежит!

— Где же выход? — лениво спросил откормленный бухгалтер.

— Дать в воздух несколько залпов! — предложил Крамен. — Бендалиева больше всего интересует количество истраченных сотрудниками патронов. Увидите — непременно появится.

— Наталья Георгиевна, — сказал я, — пошлите, пожалуйста, курьера и уборщицу разыскать директора: через час поезд должен пройти!

— Как только товарищ Оба выезжает из совхоза, весь совхоз впадает в трудовой анабиоз, трагическую спячку... По-моему, руководство совхозом давно взывает о смене! — с высокомерной сдержанностью промолвил Крамен.

— Когда Оба уезжал в Ашхабад (голос Самуила был полон веселой и презрительной издевки) и встал вопрос о том, кто его будет замещать, то наш самолюбивый дир заявил: — Мне не нужен заместитель, — я сам себе буду заместитель!.. — Ничего, товарищи спецы! Все изменяется — и даже климат, сказал Ленин.

— Где это вы прочитали?

— У Ленина, в томе.

— Ну, врете: такой фразы у Ленина нет!

Гудок кушкинского поезда был внезапен и отчетлив. Из высоких окон совхозуправления были видны: под белыми клубами грузного пара задорно наяривающий в осеннее пространство паровоз; за ним с игрушечным оживлением бегущие зеленые и желтые вагоны и на конце — товарный красный.

— Ах ты, мать честная! — с покорной досадой сказали бородатые гуртоправы — и заскучили.

— Владимир Романович, нашел! — закричал в дверь Дьяконов, светясь рыжей улыбкой. — Идите, директор уже в кабинете!

— Поздно!.. А где он был?

— В кибитке хезарейцев пил зеленый чай.

## IX

Я сказал Крамену: — Директор найден! — и мы пошли в директорский кабинет.

Абас Бендалиев в одиночестве административного безделья сидел за грузным и блистательным столом. На полированной пустыне стола лежали бумажка и розовый портфель. На выдвинутой доске равнодушно истекла паром пиала зеленого чая. Высокая выпуклость потолка рождала в кабинете торжественную и скучную прохладу.

За сизым пролетом окна молотки армян-мастеров выстукивали по кровельному железу деревянный галоп. На арычном мостике фарфоровый джемшид спокойно изнывал возле упрямого верблюда. Вдоль арыка с беспечной стремительностью мчался на пегой коняке вооруженный охранник. За охранником, самовлюбленно жеребцуя, скакал, загнув шею, оторвавшийся от конюязи конь. Беззвучные движения животных и людей за окном казались нарочитыми и вздорными.

Мы сели в кресла, и Крамен (умный подхалим!) выжидательно всмотрелся в лицо Абаса.

Лицо директора было сурово и торжественно, как на боевом знамени траурная кайма.

Особенно любопытно было наблюдать за Абасом во время ответственных совещаний с приезжими центровиками. Абас всегда последнему предоставлял слово себе и начинал говорить, заботливо выталкивая языком изо рта непослушные фразы. Темная бронза его лица в это время лукаво блестела. Крепкие морщины расплывались в улыбке и кажущемся смущении. Наивная кокетливость его жестов была проникновенна и зарательна. Взгляд беспрестанно устремлялся вверх — словно директор был курицей, ловящей в воздухе ускользающую муху.

Но вот уже четвертый день, после обличительного собрания, лицо Абаса было мрачным и неприступным.

В конце этого собрания к столу президиума незаметно протискался косоглазый конюх Кривоносов и, ловко стянув с правой ноги сапог, молча потряс им над зачарованными головами при-

сутствующих. Потом, насладившись безмолвным вниманием, бережно положил сапог на алый стол подле графина и с наигранным спокойствием сказал: — Прошу президиум освидетельствовать полную непригодность этого спецсапога, в котором я, как таковой, вынужден работать.

— Да-да. Действительно! — поспешно заволновался председательствовавший Письчук, и растекаящаяся улыбка боком села на его толстые губы: — Сапог, товарищи, действительно... абсолютно обрезанный!

Тогда со своего стула решительно поднялся замдир Оба — широкоплечий неврастеник. Он пренебрежительно покосился на сапог и сбросил его на пол. Потом засунул руки в карманы бриджей и, отчеканивая слова, сказал:

— Действительно, сапог обрезанный, но не больше и не меньше, чем сознание ученого лесоведа товарища Письчука. Мы, марксисты, — а к таковым я причисляю и Письчука, ибо он комсомолец! — должны не только констатировать явления, но и анализировать их, воздействовать на них, управлять ими и подчинять их себе. Я спрашиваю вас: почему сапог конюха Кривоносова оказался разрезанным и негодным? — И бывший питерский рабочий товарищ Оба с патетической и мужественной силой произнес незабвенную речь о профсапоге.

— Я задал простой вопрос, — сказал Оба и вынул руки из кармана; зрелая шишка на левой стороне его шеи вздулась, и в рысьих глазах сверкнули недобрые искры. — И на этот вопрос отвечаю я сам: сапог конюха Кривоносова был обрезан соломорезкой. (Долгая пауза). Как мог произойти этот невозможный по конструкции машины случай? Только так, что конюх Кривоносов дьявольским усилием задрал вверх правую ногу и сунул сапог под вращающиеся диски ножа. Момент случайности, товарищи, здесь полностью исключен. Остается предположить: или недопустимое во время работы озорство, или умышленную порчу профобуви. Как мы можем квалифицировать такой образ поведения рабочего на производстве? Как действие, направленное к уничтожению социалистического достоя-

ния, в данном случае — к порче спецобуви, в которой государство испытывает жестокий недостаток. Достойным ли является поступок рабочего Кривоносова? Нет, товарищи, позорным! Кривоносов приходит сюда, на рабочее собрание, и жестом обсчитанной любовницы (дружные смешки в зале), жестом оскорбленного мещанина бросает на стол сапог, сапог, им самим с величайшей натугой изуродованный! Это — поступок пролетария? А может быть, товарищи, исподтишка обдуманная линия поведения дяди из какого-нибудь другого класса?.. Я позволю себе обратиться с этим вопросом к товарищу Письчуку, который здесь умильно суюскал: — Да-да, действительно, сапог совершенно обрезанный!.. — И Оба, насмешливый и крутой Оба, привыкший брать жизнь за загривок и старательно встряхивать ее, скорчил такую непотребную гримасу, что конюхи, плотники, пастухи, охранники и шоферы ударили себя по бедрам и радостно загрохотали, и женщины в углу ласково зашелетели: — Ах, как выразительно говорит товарищ Оба!

После краткого и напряженного слова Обы был длинный миг взволнованной тишины. Конюх Кривоносов бесшумно надел незадачливый сапог и отодвинулся за шкаф. На пышных губах Письчука исчахла торопливая улыбка, Письчук насупился и заскучал. В тишине скрипнул стул под старшим конюхом Хмарой. Привычным жестом Хмара расправил рыжую завязь непомерных своих усов, вытянул руку к сконфуженному президиуму и безнадежно простуженным голосом сказал:

— Наш уважаемый товарищ Оба сделал шикарный доклад о вылазке с сапогом классового врага, то-есть конюха Пашки Кривоносова. Доклад этот полагаю признать удовлетворительным и клеймить Пашку, зачем полез правой ногой в соломорезку, когда всем известно, что с этим орудием работают только руками. Но, товарищи, к этому сапогу я прибавлю от себя нижеследующее: когда рабочие кушают карточный хлеб и мясо получают, все едино как лошадь овес, по норме, да еще при многочисленных семейных положениях, у нас директор товарищ Бендалиев взял

из склада ящик пастилы и индивидуально его ухряпал. Как, товарищи, это пролетарский поступок или же какой-нибудь иной?

После этого собрания лицо Абаса Бендалиева уже четвертый день было сосредоточенным и непрístupным.

В кабинете царила властительная скука. Изредка под осторожным нажимом стонала дверь и просовывалась встревоженная головка секретаря или чалма недоумевающего джемшида. В сиротливом великолепии блистал американо-шведский стол уехавшего в командировку Обы. За окном настойчиво хлопала оторвавшаяся фанера, и бешеные хвосты холодной пыли уносились в пространство. Начинаясь афганец — неистовый ветер, песчаный дождь, когда развеванная пыль набивается в комнаты как в ноздри и воздух похож на мутный плевок.

Разговор начал Крамен.

— Товарищ Бендалиев! Я не раз вам докладывал о том, что один из самых крутых вопросов жизнедеятельности хозяйства есть вопрос создания энергоспособного и устойчивого кадра постоянных работников. В настоящее время свиноводческий цех, как вам известно, уже заполнен свиноматериалом и является действительно функциональным отделом. Но, к сожалению, цех совершенно не обеспечен рабочей силой, о которой можно было бы высказаться не в отрицательном смысле. Из пяти рабочих по свинарнику один — закоренелый летчик, обнюхавший весь Союз и познавший все профессии, другой — неуклонный лодырь, третья — профессиональная сутяжница, наизусть знающая кодекс законов о труде со всеми комментариями и дополнениями, и четвертый — папаша заведующего свинарником Гавкин-дед. Один лишь старший рабочий — из демобилизованных красноармейцев, человек, прошедший твердую школу и честный в работе. Но, посудите сами, какая же это к чорту борьба за будущее, если сражаются одиночки, а вся остальная компания сопит под кустиком?.. Мы живем в пустыне, товарищ Бендалиев, и мы должны (Крамен положил ладонь на директорский стол и пальцами выстукал гамму непреклонной

решимости) самым энергичным образом организовать импорт в совхоз дисциплинированной рабочей силы. Иначе невозможны ни рационализация производства, ни подъем производительности труда, ни даже само производство!..

— Да, правильно, — нахмурившись, сказал Бендалиев. — Надо уволить Гавкина-младшего.

— Уволить? Гавкина? — Крамен вздернул брови и отодвинул свое кресло от стола; от удивления из рук его выпала папироса.

— Уволить, — подтвердил Бендалиев, осторожно беря в растопыренные пальцы пиалу и поднося ее ко рту. — Обязательно уволить! — Директор, привычно смакуя, сделал ряд мелких глотков и с настойчивым вниманием посмотрел в лицо Крамену: — Закон не позволяет отцу и сыну-начальнику работать в одном предприятии. Может выйти государственное преступление.

— Но ведь вы, товарищ Бендалиев, сами разрешили, и рабочком согласился: ведь кризис людей! Самый опасный кризис...

— Когда не было свиней, разрешал. Теперь свиньи приехали, — родственников согласно закону нужно ликвидировать.

— Но почему же заведующего свиначником Гавкина-младшего? Почему не уволить Гавкина-деда?

— Нам не надо таких специалистов: совсем сосунок и в лавке целый день вертится.

— Он в лавочной комиссии работает: общественная нагрузка! Сами понимаете, товарищ Бендалиев, нельзя... выбрали!

— Гавкин-младший — недоделанный спец. Комбинат должен экономить, чтобы висеть на шее у государства.

— Экономить на специалистах? То есть ради экономии выключить у трактора мотор!... Товарищ Бендалиев! Мы идем на самые непопустительные ухищрения, чтобы иметь в совхозе хоть на пятьдесят процентов заполненный штат специалистов. Мы не устаем кричать в ухо всем комиссиям, учреждениям, секторам: кадры, кадры! Мы — на самой последней окраине, мы изнываем в песках и сохнем под солнцем! Мы работаем в седле и с винтовкой в неисследованной зоне, лишенной коренного насе-

ления. Мы дрожим над каждым чело-вечком, как над каплей пресной воды, — и вдруг — уволить Гавкина!.. Правда, ему лишь двадцать лет, у него еще порожние мозги и его старательно разлагает родная семейка. Но ведь мы все здесь — пионеры. Мы все впервые познаем эту страну, на территориях которой полдога тому назад не было ни одного агронома... Товарищ Бендалиев! Если мнение старшего специалиста совхоза имеет для вас вес и значение, я буду настойчиво просить вас: дайте укрепиться отделу животноводства, а тогда — от количественного разрешения проблемы кадров мы сможем перейти и к системе прогрессивного качественного отбора.

— Ну, хай, — лениво и с пренебрежением ответил Бендалиев. — Свиной цех, правда, маленький, — мог бы обойтись и совсем без специалиста. Но — хай!.. раз вы, товарищ Крамен, просите. Пусть временно остается. Увольнению будет подлежать Гавкин-дед.

Мы поднялись и, взволнованные, вышли из кабинета.

— М-да, — сказал Крамен, отдуваясь и поправляя блистающий белизной воротничок. — Это — номер, чтоб я помер! Шибко, видно, не нравится Абасу семейка Гавкиных. Чувствую, дня через два он опять предложит уволить этого слюневода... Вот тебе и разрешили вопрос об импорте кадров! Придется-таки законсервировать сию проблему до приезда Обы.

В комнате секретаря, куда мы вошли из директорского кабинета, царило строгое рабочее оживление. Укоризненно покачивая встревоженной головой, безмолвно властвовала над ворохом бумажной писанины Наталья Георгиевна. С ревнивой старательностью, нахмутив лоб, выстукивала цифры бесконечных планов машинистка; стрекот машинки был сух и напреклонен. Крамен бросил на машинистку пыливый взгляд и улыбнулся вдруг с мальчишеским задором.

— Что ж ты хмуришь лоб, моя тонконосенькая? — услышал я его ласкающий шопот.

Мне стало весело: везде была жизнь — стремительная, лукавая и никогда не унывающая.

## X

Ночью опоросилась свинья; в помете было тринадцать розовых и беспокойных поросят.

Гавкин-младший ходил как именинник и принимал поздравления. С неожиданной и дерзкой настойчивостью выжимал Крамен плотников из строй-

конторы. Даже Бендалиев озабоченно сказал несколько раз: — Смотрите же, хорошенько ухаживайте за маленькими поросятами!

Большая книга совхозкомбината была открыта. Первые колонки взволнованной прозы прочитаны. Жизнь, перепрыгивая через страницы, торопилась вперед.

## 5. ЗАПИСКИ О КАЗАКСКИХ КОЛХОЗАХ

## Адалис

## Джаксы

Неба не было; тускло сияла выболешавшая от зноя пустота. На сотни километров простиралось безнадежное, серое солнце. Земля страшного цвета разбегалась от ветра, как дым. По бокам дороги тянулось тоскливое пожарище — бурьян, белый от пыли, сухие листья лопухов; мертвых листьев были тысячи, сотни тысяч. Самая черная наша осень не даст представления об их мертвизне.

Полулежа на досчатом дне брички, возница радовался и пел. Под крыльями светлых лохмотьев его тело чернело, как железо. По временам он вдыхал полной грудью огонь пустыни, чад, пепел, пыль. Возница был странен: когда уныние становилось нестерпимым, он поднимался и свирепо кричал:

— Джаксы!.. (Хорошо).

Мой возница был первым и знаменитым бедняком аула Кенес. В периоды колхозных неудач и брожений его имя, Саты, скрипело на зубах дехкан, как песок: «Зачем мы будем работать на таких, как Саты? Зачем мы будем кормить таких, как Саты? Я привел в колхоз кобылиц, а Саты — вшей; Саты будет красть клевер, жрать пшеничное зерно на полях, сосать общественных коров, шить рубаху из хлопка, нюхать чужих жен! Старики и муллы правы: по ночам мертвецы встают из могилы сосать кровь живых... Нищий все равно, что мертвец».

Но колхоз окреп, вырос, изменил психологию людей, объединил четыреста соток хозяйств. Посевной план был выполнен на шестьдесят четыре процента,

хлебоуборка встречена в боевой готовности, и второго августа к городу Мерке двинулся первый красный обоз.

Саты вез меня на кенаф еще задолго до обоза в Аулие-Ата, в один из периодов упадка. Периоды упадка в казахских колхозах, как приливы и отливы: в зависимости от притяжения к краевому центру, его поворотов, его фаз, рассылаемых им инструкторов. В те дни колхозу не светило: центр забыл о нем, отозвав партработников в крайком; агроном — толстозадое, пьяное трепло, самарский купеческий сын — презирал чужую землю, как падаль.

Вдобавок дул ветер, похожий на пловодье сулемы, — то был воздушный пожар-невидимка! И, прикасаясь к полям, он делал невидимками хлеб и хлопок, истончал их в золу. Мы ехали мимо казахских сенокосов, пепельно-стальных, как северные моря, мимо серых, ледяных сенокосов и полей пшеницы, жиденькой, как плохой овес: слабый хлопок походил на незадавшуюся гречиху; мы встречали одного за другим искалеченных представителей нищенского колхозного инвентаря. Но дощатая бричка, громыхая, пролетала через рвы и ухабы, и возница выл: «Джаксы!»

Эта бодрость могла внушить суеверный ужас.

При случае он дал объяснение. У меня записаны в переводе его простые слова:

— Мы ехали с товарищем среди пышных плодородных полей. Наши высокие колосья доходят человеку до самых икр. Зерно пшеницы больше зерна проса в пять раз: с'ешь десять зерен с кислым молоком, будешь почти сыт... Кругом лежали чудные сенокосы. Раньше ни-

когда казаки не собирали сена, трава пропадала. Теперь мы в первый раз сложили траву в кучу, и она наполовину не пропадет! Ты говоришь: наша трава черная и белая? По-казакски этот цвет как раз называется «зеленый»! Я показывал наш хлопок,—у него есть маленькие листики, через каждые два негодных листика один вполне годится: из хлопка можно сделать рубахи и штаны. Раньше там, где хлопок, было лысое место. Я радовался и кричал.

Прошло несколько дней сеноуборки. Бесконечной, безлесной равниной поздним вечером мне пришлось ехать верхом из 18-го аула в аул Ак-Су. Песок пустыни тихонько шипел под копытами коня. Меня окликнул глухой и страстный голос:

— Товарищ! Здравствуй! Договори со мной про войну! Я жду тебя в общественном саду, который мы посетили прошлым летом. Я жду тебя в общественном саду над холодной водой...

Под одиноким, маленьким деревом сидел возница. Здесь протекал арычок, такой узенький и слабый, что можно было узнать в нем воду, лишь приложив ухо к его груди.

Через три дня Саты послали ходоком в Мерке с жалобами на неисправные машины. В Мерке Саты добился всего, чего хотел. На обратном пути его ужалила степная гадюка. Он прошел в юрту, где жила его мать, поел, попил и умер.

### Первый разговор

(Переводчик Джушун Тулумбеков—бесстрастен)

— Почему ты плачешь, старик?

— Я плачу потому, что ты скушал куже.

— Тебе жалко куже, старик?

— Мне не жалко куже. Я плачу потому, что ты был так голоден. Слава времени Ленина, мы едим два раза в день!

— Нет, я не голоден, мы едим четыре раза. (Куже — кунак с кислым молоком. Кунак в переводе — друг. Кунак — сорт мелкого проса. Его варят в молоке, и варено заквашивают. Куже хранят в сушеных бараньих желудках. Эти вкусные, прозрачные мешки покрыты коростой грязи).

— Очень хорошо!

— Почему же ты плачешь, старик?

— Я плачу опять потому, что ты скушал куже.

— Опять тебе жалко куже, старик?

— Я плачу потому, что ты так болен! Мы ездим к хорошему доктору, чтобы у нас не пропадали носы. Почему ты не лежишься тоже? Твой нос красивый и чистый, но он мертвец; я это понял. Ведь русские не едят нашей пищи, плюют на куже и на арьян. Русские не едят из нашей посуды; им воняет от наших турсуков и от наших рук. А тебе я достал из-за пазухи свою деревянную чашку и налил тебе куже из турсука. Я подал тебе угощение собственными руками. Бедный сирота!.. Тебе даже не воняет от нашей пищи! Ты ед куже из моих рук и не бранился, и не плевал!

— Нет, я совсем не болен. Твой обед, по-моему, пахнет потом и нищетой, я отлично слышу, но я знаю этот запах с детства, он не пугает меня. Я жрал на своем веку всякую гадость. Пот и работа пахнут одинаково у всех — у русских и у казаков, один чорт.

— Мне будет сто лет через десять лет, про меня однажды писали в газете. Я много чего видел: всякие джайяу, удовольствия, сны, смерть, войну, города Алма-Ату, Аулие-Ату, Джаркент, землетрясение, разные аулы; я не видел таких слов, как ты говоришь. Я верю тебе: у тебя драгоценные часы на руке, крепкое, большое платье и хурджум из хорошей желтой кожи,—мне сказали уже, что он называется портфель. Я слышу твой богатый, ученый голос.

— Почему же ты плачешь, старик?

— Я плачу потому, что ты скушал мой обед из моей чашки. Джасасун русские рабочие, братья казакских дехкан!..

### Бред

По ночам роса, как болото; гор не видно; холодно, ржут кони. К юрте председателя стекаются всадники. У соседних юрт бесятся псы; к тонким кольям привязаны телята и бараны. В ямах тает лиловый огонь; женщины варят мясо.

Впереди тускло сияет темечко встающей луны; это свет над юртой председателя: верхний, открытый круг называется «солнцем юрты».

Председатель сидит на кошме в кругу членов правления и бригадиров. Разговор о кенафе: «Он гибнет; его душит бурьян; чтобы кенаф не погиб, надо рыхлить, окучивать, полоть, пускать воду, — колхозники не хотят (народ отбился от рук, народу нужна плетка). Слишком утомительно созывать колхозное собрание. Лучше бы район прислал ухаживать за кенафом комсомольцев и учеников».

Сыштен конский храп; кони пихают юрту.

Председатель лениво бранит секретаря ячейки: «Ириджек, ты должен был хлопотать, тебе верят в райкоме; я выводел тебя в люди не затем, чтобы ты сопел; если мы не выполним план, нас разгонят. Разгонят и арестуют и выгонят из партии».

Рабочий, присланный с шефзавода, просит: «Перевод керек!»<sup>1)</sup>

— Они говорят просто так, по семейным делам, — улыбается переводчик.

Керосиновая лампа коптит. В «солнце юрты» сыплются роскошные звезды. Секретарь ячейки вертит в пальцах камчу. Бригадирь хотят кульчитая. Жена председателя хочет, чтобы бригадирь ушли; кульчитай из-за них, чего доброго, простынет; его надо скорей подать мужу и гостям.

Бригадирь прочно уселись: они тоже люди, они родственники жены председателя и родственники его приемного отца, работают целый день, подвергаются опасности; колхозники их ненавидят. Придется делить кульчитай на всех!

Председатель ругает переводчика — секретаря колхоза:

— Почему ты не можешь ответить дорогим гостям, сколько уже собрано сена? Уж не я ли должен помнить все цифры? Я вывел тебя в люди не для того, чтобы ты смердел.

Я прошу: — Перевод керек!

— Он говорит, что мы сейчас будем ужинать, — улыбается секретарь колхоза, — ложитесь ближе к председателю, дорогие гости, уже дают.

Жена председателя — активистка Джамилэ; дочь председателя — комсомолка Шарка. У них лица круглые и тонкие,

как «солнце юрты»; длинные, выпуклые глаза; у матери в морщинах копоть.

Кульчитай — вареная баранина с вареным тестом, похожим на желтое атласное тряпье; пар от кульчитая пахнет прачечной.

Председатель кричит: — Абду-Вали, слей нам на руки! — Абду-Вали Умаров — недавний батрак; член правления колхоза; кандидат партии. Он обносит собрание узкогорлым кувшином с водой; Джамилэ обносит гостей полотенцем: «свои» утираются тряпкой, на которой поставлена чашка с едой. Чашка поставлена перед председателем; гости и приближенные подтягиваются к еде; бригадирь ждут остатков.

— Мы живем во времена большого напряжения, — говорит за ужином председатель по-русски, — левый уклон, можно сказать, раздавлен; раздавить правый будет не легко, особенно у нас. Казаки еще совсем дикари, совсем темные люди.

Председатель колхоза не казак; он просвещенный кавказец. Он старый революционер, по его словам, и бежал сюда в 1910 году от гонений правительства. Одиннадцать лет он служил десятником на Среднеазиатской железной дороге. Его усыновил бай — богатейший бай Дарбазов, выдал за него свою дочь. Аул уважил богатого бая и сердитого' десятника. Бая раскулачили; на степях его стал колхоз. Активистка, байская дочь Джамилэ ездит делегаткой в город. Фамилия председателя — Тазидинов. Он бывший меньшевик.

— Гражданин Тазидинов! Почему Джамилэ и Шарка не ужинают с нами?

— Не знаю, дорогие гости, не могу знать.

Все члены правления, понимающие русский язык, переглядываются и смеются:

— Разве женщины могут есть вместе с мужчинами? Это неприято. Нельзя.

Кульчитай председателя всегда из гнилого мяса; председатель скуп.

Блюдо с об'едками переходит к бригадирам. Старик Калтабаев со свистом обсасывает мосол. У Калтабаева сифилис в третьей стадии; безносый, с тихими глазами, он похож на смерть.

— Ну, теперь перейдем к очередным вопросам дня, — говорит председатель.

<sup>1)</sup> Буквально: «Дай перевод!»



Джамилэ и Шарка ложатся спать на широкий помост, занимающий четверть юрты. Из груды подушек и тряпья слышен их сдавленный шопот. У входа ржет конь. С коня спрыгивает тщедушный человек. Замученный и сорокалетний, он выглядит лет двадцати.

— Адильханов, — шелестит собрание, — вот Адильханов.

Председатель сжимает нам локти:

— Его надо арестовать, я говорил вам. Он разлагает колхоз, он — бунтовщик.

Адильханов садится, сжимает камчу в желтой, сухой руке, водит беспомощными, страшными глазами. Он — начальник технических культур.

Заседание открывается. Председатель делает доклад о состоянии уборочных работ: «Дисциплина неслышанно пала. Треть колхоза не выходит на поля. В разложении виноваты бригады. Организации труда — никакой. Район не присылает помощи. Руководства от района нет. Актив и правление бездействуют. Во всем этом лучше открыто сознаться. Он борется с разложением ночью и днем. Один в поле не воин. Активистов надо подтянуть».

Бригады кричат: «Мы не виноваты. Крестьяне не слушают нас; заставить их работать невозможно, нас обижают, нас не хотят уважать, мы получаем ничтожное жалованье; народу нужна камча!»

Вскидывается двадцатипятилетний: «Вы — не актив. Вы — паразиты. Вас надо сменить, выблядки. Товарищи! Надо сменить их на колхозной сходке! Перевод керек!»

Старый сифилитик взлетает с кошмы.

— Нас сменить нельзя. Если нас сместят, кто же будет работать? Мы самые лучшие, и, кроме нас, в колхозе никого нет.

— Нельзя их сменить, — идет на пятную председатель, — потому что, кроме них, выбрать некого; они самые отборные; казаки — темный народ.

Я спрашиваю: когда их выбрали?

Председатель молчит.

— Нас еще не было, — вспоминают двадцатипятилетний и рабочий шеф-завода.

— Когда начинался колхоз, — отвечает переводчик-секретарь. Бригады глядят сонными, длинными, непонима-

ющими глазами. Секретарь партиячейки спит, вольно раскинувшись на кошме; его жирный от кульчитая рот облепили мухи.

Адильханов встает, качаясь на кривых ногах.

— Их не выбирал никто, колхозных сходок у нас не бывает. Бригады не значило правление. Правление тоже не выбиралось, оно основало колхоз и с тех пор осталось во главе.

Я спрашиваю: это правда?

Председатель щурит на коптящую лампу огненный кавказский взгляд, крутит седой кавказский ус, вытаскивает серебряные часы из жилетного кармана, сморкается в большой шелковый платок.

— Да, мы — основатели колхоза. Я скажу вам по секрету по-русски: если я уйду, колхоз распадется, он держится только мной. Иридженов, объясни товарищам.

Секретарь партиячейки спит. Заснули некоторые из бригады, успокоившись, что сменить их нельзя. Тонко храпит Шарка, раскинув красивые смуглые руки в серебряных браслетах. Роют землю кони по ту сторону юрты.

— Надо разбудить участников собрания.

— Они заснут опять.

Двадцатипятилетний шепчет на ухо:

— О, как тяжело работать, не зная языка! Переводят не так, как нужно, не то, что нужно, не переводят совсем. Они все тут родственники. И Адильханов говорит, что они все — баи. Проверить это нельзя: их скот, их кони в горах.

Адильханов улавливает свое имя, тоскливо улыбается. Выходит поглядеть, привязан ли его конь. Возвращаясь, читает «записку» нашей бригады: рисунок, изображающий ветлу; в небе закатывается луна; у ветлы три человека; четвертый приближается на коне.

Он понял. Мы встретимся глубокой ночью.

Уже воют псы. Перестали жевать кони. Пора кончать официальную часть.

— Разбудите участников собрания. Мы хотели информировать актив о рапорте XVI съезду. Мы хотели ознакомиться с формами учета в колхозе и формами организации труда.

— Бригады заснут снова. Информировуйте тех, кто не спит. Мы каждую ночь собираемся, сидим до рассвета. Информировуйте тех, кто не спит: меня, Кайтая, Алтая, Заира и Пусры. Актив информируйте завтра. Мы подготовим отчет.

Псы визжат и воют. Иридженев ворочается.

Председатель повторяет:

— Каждую ночь мы собираемся у меня в юрте, мы обмениваемся мнениями; завтра ночью мы соберемся опять, будем сидеть до рассвета. Пожалуйста завтра ночью ко мне.

Двадцатипятилетний встает, потягиваясь, вздрагивая. Адильханов отвязывает коня.

— Хайр, хайр, товарищи, хайр.

Смеется Алтай, милый, жирный, похожий на гималайского медведя; кулак, дрянь, зверь:

— У мене лапша и пельмени. У мене русский примус. Иди ко мне сидеть ночь.

— Нет.

Роса, как болото. Земля — черный воздух. Небо — ветер. Искать ветлу, единственную в пустыне, цепеня от холода с гор, ждать.

Завтра произойдет революция.

### Добрый кузнец

В ауле номер четыре (глубинный сыпной пункт), он же кишлак Тюлькубас (Лисья голова), в зоне мягких и мощных ветров, веющих с Тянь-Шаня, некто Нагман Шукураниев, боясь сенофуражных заготовок, поселяет клевер в саду. По темноте и невинности мало ли что может изобрести середняк!.. Разъездным работникам редактор газеты советовал: «Помни о живом человеке». Редактор — очеркист. Газета работает при окружке.

В саду Шукураниева есть персиковые кусты. Два огромных и светлых ореховых дерева задуривают головы гостям непрерывным поступательным шумом. Без умолку заговаривает зубы вода в арыке, обгающем сад, как мышь; кипит и волнуется клевер; взбалтывается с шелковым шумом тяжелый кумыс в четвертях; хозяин угощает с доброй, тихой улыбкой.

Между округом и Тюлькубасом лежали пустыни и пески. Шестисотник

Андреев весь распух и почернел от укуса фаланги. Надо было часто голодать. На нищих кочевках преследовали иступленные собаки. Пыль раз'ела зубы и гортань. Солнце, климат, почва, рельеф местности были бесчеловечны.

Незаконный клевер Шукураниева поднялся в рост пятилетнего мальчишки, удивительно приятный и живой. Его щекочущее тепло — температура человеческого тела. После мертвых переездов лечь в такой клевер — до слез.

Хозяин кормит мягоньким кульчитаем. Он и брат его говорят:

— Твои слова — золотые слова; нельзя гнать живых людей в колхоз насильно; расскажи нам, товарищ, что было на шестнадцатом съезде, чтобы мы понесли эти золотые слова темным людям в горах. Уж мы обязательно понесем!

Сердце всплывает к горлу шаром сливочного масла. Над полными, седыми горами висит полная, седая луна.

В кишлаке Тюлькубас днем и ночью открыта харчевня. В большие пиалы кладется жареный, жирный картофель, потом наливается бронзовый бараний бульон. На тонких ишеничных лепешках телесного цвета выколот круглый узор, означающий «колесо бытия». Он типичен для всех хороших лепешек, имеет отдаленное отношение к религии, выдуман давным-давно служителями буддийского культа. Обед с двумя лепешками стоит шестьдесят копеек; работники из центра и с мест сладострастно урчат.

Ночью Шукураниев обходит сад. В своем саду он, как вор; за глиняным дувалом ворчат соседские собаки. Сынишка стоит на стреме, прижавшись сердцем к сонному молодому коню.

Шукураниев наладил на арыке великолепную мельницу. Мельница работает ночью, когда в арыке много воды.

«Сталин, сказал: все, что растет в саду человека — собственность человека».

Приятно жить по слову законов.

Прекрасная мельница растет в саду и обмолачивает зерно соседей, они платят хозяину зерном. Он не сеял. Он нуждается. Каждое утро с добрым и тихим лицом он запрягает арбу, наваливает на нее мешки, кошмы, клевер.

Старшая жена хозяина и трое детей едут в поля подбирать колхозный ко-

лос. Колхозы безудержу теряют колос, потому что не умеют справиться с машинами. Но у хозяина две жены. Две жены, два коня, две коровы. Он может обеспечить себя, как птичка. Он учит соседей поступать по его бесхитроственному примеру, пока рик организует ударную комсомольскую бригаду по уборке колхозных следов.

В полдень длинные синие стрекозы всплывают над водой. Вода на мельнице мирно стрекочет. Два худых, как кузнечики, батрака, счастливых своей судьбою, окапывают хозяйский арык. Их пот пахнет простоквашей.

— Отдыхай, справедливый товарищ! Пусть дом Шукуралиева будет твоим домом, мои дети принесут тебя люля.

Невинные, толстые дети хозяина, похожие на черных голубей, веселятся тряпочками и палочками.

Добрый и тихий хозяин держит пиалу с молоком.

«Помни о живом человеке».

Хозяин не сеет и не жнет, а берет от колхозов подряды на кузнечную работу. В кузнице работает он сам и его брат, в кузнице играют подростки-подмастерья; пока молодые, пусть поиграют: они учатся мастерству у мастера по просьбе их нищей родни; хозяин не берет с них денег, — он еще платит им изредка сам. Простой, милый человек, почти колхозник, — всякий проведет его: колхоз уже чуть-чуть не отказал ему в хлебе за то, что он бедный кузнец.

— Пей, кушай, товарищ!..

Неустанным трудом сколотил он двух коров. Из коров полезли телята. Немного молока у него всегда найдется: кобылье — для мужчин и джигитов, коровье — для женщин и детей.

— Спи, товарищ!

Работники из центра и с мест спускаются с гор усталые, как волки. Напротив дома Нагмана — райисполком. С Тянь-Шаня веет глубоко человеческий ветер. Кузница Нагмана — на углу. Его брат, слабый здоровьем, живет при кузнице. У брата — чистенькая, глиняная комнатка и аккуратный очаг. У брата есть новенькое ведерко с пустыми маковыми головками. Мак в переводе — кукнар.

Из маковых головок варят успокаивающий чай. В русских деревнях этим чаем поят невыносимых младенцев. Варить можно послабей и покрепче. Кабак, где пьют крепкий маковый чай, называется кукнар-хане.

Порядочный мусульманин не пьет макового чая и не шляется по кукнар-ханам. Но если добрый человек должен бедняку за работу, он угостит его маковыми головками. Жадность, злую память, вражду, зависть, любовь к чужой собственности залечивает маковый чай.

«Помни о живом человеке».

Клевер непередаваем. Нет ничего равного ему по щекочущей нежности и теплоте. Его легкие листики льнут к рукам и щекам отдыхающего, как ресницы ребенка; он растет в саду; он растет там по наивности сеявшего его; клевера по существу так мало, что он не подлежит сдаче. Его вырастил Нагман Шукуралиев, тихий, добрый кузнец, у которого всегда найдутся молоко и подушка.

Нагман Шукуралиев — подлец и классовый враг. Его надо лишить голоса, выгнать из Тюлькубаса, стереть его следы, отнять у него лошадей, коров, жен и детей, вырвать его корни, уничтожить его как класс.

# Литература и искусство

1. ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ.—Проблемы марксистского литературоведения. Сознание и творчество.  
2. Д. БЛАГОЙ.—Социология творчества Тютчева. 3. З. МУР.—Пацифисты.

## 1. ПРОБЛЕМЫ МАРКСИСТСКОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ СОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО

Статья вторая<sup>1)</sup>

О БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ

Вяч. Полонский

### I. Искусство и фрейдизм

1

Убеждение в «бессознательности» творчества принадлежит к числу самых распространенных. Мы встречаем его в обывательских представлениях, в «ученых» трудах, в рассуждениях критиков, в признаниях художников и поэтов. Удивительного здесь мало, если вспомнить, что это традиционное убеждение — одно из древнейших. Всеобщность придает ему подобие бесспорности. А между тем нет другого понятия, более нуждающегося в научном обосновании. Стронникам «бессознательности», принимающим ее на веру, кажется, будто где-то «там», в «науке» кто-то без них и до них, доказал с полнейшей очевидностью, что «бессознательность» творчества ясна, как день. «Достаточно известно, — писал например Овсяннико-Куликовский, — то первенствующее значение, которое в деятельности мысли принадлежит так называемой бессознательной сфере ее»<sup>2)</sup>.

Достаточно известно! В таком духе писали буквально все, кто решился опереться на «бессознательное» как активный, творческий фактор. «Мы

все хорошо например знаем, что в творчестве колоссальную роль играет подсознание» — уверял в Комакадемии своих слушателей П. И. Лебедев-Полянский<sup>1)</sup>. А. К. Воронский, коснувшись «бессознательного», выразился чуть ли не теми же самыми словами: «Сплошь и рядом наше сознание является лишь послушным орудием бессознательного... Теория бессознательного в основном установлена незыблемо»<sup>2)</sup>. И А. Фадеев в известной статье «Столбовая дорога пролетарской литературы», отождествляя «интуицию» с «бессознательным», заявлял: «Огромная роль так называемой «интуиции» в художественном творчестве не подлежит никакому сомнению»<sup>3)</sup>.

Можно было бы привести таких примеров сколько угодно.

А если задать вопрос: где, когда, кто именно незыблемо<sup>4)</sup> установил «бессознательность»<sup>4)</sup> творческой деятель-

<sup>1)</sup> Вест. Комакад., № 12, 1925, 252.

<sup>2)</sup> «Искусство видеть мир», изд. «Круг», стр. 24.

<sup>3)</sup> Сб. «Творческие пути пролетарской литературы». Сб. второй, Гос. изд., 1929, стр. 71.

<sup>4)</sup> Необходимо заметить, что некоторые авторы пользуются терминами «подсознательное» и «бессознательное», не устанавливая между ними существенного различия. Другие отличают «подсознание» от «бессознания». Мы будем пользоваться термином «бессознание».

<sup>1)</sup> См. «Новый мир», кн. 4 с. г.

<sup>2)</sup> Собр. соч., т. VI, стр. 21.

ности или «первенствующее значение бессознательной сферы», или «колоссальную» роль подсознания, или то, что «сознание» сплошь и рядом оказывается «послушным орудием» бессознательного, — путного ответа нам дать не смогут по той простой причине, что ни «научная психология» вообще, ни научная психология творчества в частности и никакая другая наука таких бесспорных положений не устанавливали. Напротив, в «науке» по сие время указанное именно положение и является «спорным». При этом учения «материалистические» отрицают всевозможные «откровения», «наития», «прозрения» стремятся к тому, чтобы лишить интуицию ее «иррационального», мистического характера. Учения же идеалистические, наоборот, стараются обосновать всевозможные «внезапные», «иррациональные» и «мистические» системы.

Нет необходимости говорить, что противником «господства» бессознательного является также школа марксистской психологии, та именно школа, которая больше других имеет оснований претендовать на науку.

## 2

Д. Н. Овсяннико-Куликовский считал доказанным никем убедительно не доказанное положение, будто в деятельности мысли первенствующее значение принадлежит именно бессознательной сфере. «Подавляющее большинство умственных актов совершается именно здесь, за порогом сознания»<sup>1)</sup> — уверял он. Он подчеркивал далее, что в этой сфере протекают все процессы мысли «от простейших ассоциаций до настоящих умозаключений». Именно здесь, за порогом сознания, — учил он, — «осуществляются

«бессознательное» в виду его большей определенности. Авторы, отдающие предпочтение «подсознанию» перед «бессознанием» по существу говорят о «бессознательном»: они хотят лишь приблизить его к «сознанию». Но существо дела от этого не меняется: «подсознание» — значит лежащее за «порогом» сознания или «под» этим порогом. Другими словами, это то же самое «бессознательное».

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. VI, стр. 21—22.

в больших умах сложные интуиции, научные, философские, художественные, наконец — у гениев — здесь же вырабатываются великие творческие идеи»<sup>1)</sup>.

В приведенных строках — все существенное, что характеризует теорию «бессознательного творчества».

Когда В. Ф. Переверзев например учит, что партийность художника определяется не сознательными тенденциями, а «подсознательными переживаниями»<sup>2)</sup>, когда он противопоставляет подсознательные переживания сознательным тенденциям, делая ударение на господстве «подсознательных», или когда говорит, что «подсознательная сфера психики властно определяет собой творческий процесс, часто даже вопреки сознательным устремлениям человека»<sup>3)</sup>, — он очень близок Овсяннико-Куликовскому, хотя и добавляет, что «подсознательное» — это голос «класса». Голос класса или голос природы, этот «голос» управляет человеком, помимо его «сознания», вопреки «сознанию». Пред нами лишь вариант теории, утверждающей примат «бессознательного». Также точно Д. Горбов, когда выдвигает «угадывание», как смысл искусства, когда «подсознательные, подкожные восприятия» он противопоставляет мыслям, идеям и понятиям социального субъекта, лишь повторяет разжеванные и пережеванные трюизмы идеалистов. Развивает ли Абрам Эфрос в своих «Профилях» учение, противопоставляющее «вчувствование» в произведения искусства — их «уразумению», предписывает ли он художникам «думать меньше, а еще лучше — не думать совсем», — он, как и Д. Горбов, лишь рабски пересказывает затертые шаблоны апологетов «безумного» творчества. Теория «бессознательного» мышления есть «эпигонство» буржуазного иррационализма, давно потерявшего, казалось бы, право на существование.

Это не значит однако, что теорию эту можно сбросить с весов в виду ее ничтожности.

<sup>1)</sup> Собр. соч., т. VI, стр. 57.

<sup>2)</sup> «Печать и революция», 1923, № 4, «На фронтах текущей беллетристики».

<sup>3)</sup> ПИР, 1929, № 1.

Исключительный успех фрейдизма среди людей, причастных к искусству, можно объяснить отчасти тем, что это учение нашло подготовленную почву. «Фрейдизм» и оказывается той «научной психологией», какую имеют в виду, когда говорят о незыблемо обоснованном бессознательном, о том, что «сознание» человека является сплошь и рядом лишь «послушным орудием» бессознательного, что именно последнее играет «колоссальную» роль в искусстве. Эта школа в настоящее время является главным, да пожалуй, и единственным, наиболее последовательным и ярким пропагандистом могущества «бессознательного».

В романе «Волга впадает в Каспийское море» Борис Пильняк очень коротко выразил это популярное убеждение: «У людей, — написал он, — всегда есть две жизни — жизнь, данная мозгом, долгом, честью, открытыми шторками сознания, и вторая жизнь, данная бессознательным в человеке, инстинктом, кровью, солнцем». Фрейдистская основа этой «философии» не подлежит ни малейшему сомнению. Она характерна не для одного Пильняка.

Влияние фрейдизма можно обнаружить простым глазом в произведениях многих современных писателей. «Рождение героя» Либединского в этом смысле так же показательно, как многие вещи Пильняка, Буданцева, Замятина, Вс. Иванова. Беда Либединского заключается не только в неусвоенном гегельянстве, как его упрекали, а в прочно воспринятом фрейдистском толковании психики. Это беда, повторяем, не его одного: она является общей не только многим беллетристам, но и критикам. В той же книге «Вестника Ком. академии», которую мы цитировали, в речи по поводу доклада В. М. Фриче «Фрейдизм и искусство» П. И. Лебедев-Полянский упрекал Фриче в «узости». «Получилось от доклада впечатление, — говорил он, — что во фрейдизме нет ничего такого, что помогло бы критикам и историкам литературы легче и яснее разобраться в отдельных вопросах искусства и вообще творчества». Тов. Лебедев-Полянский убежден, что в вопросе о значении подсознательного «Фрейд разрешил боль-

шую и важную задачу». Он, далее, высказал взгляд, будто без психоанализа мы (т.-е. «марксисты-критики». — Вяч. П.) не сумеем достаточно полно объяснить и конкретного вопроса о музыкальности, живописности произведения и т. д. И в своей статье «Механика творчества и литературная критика», напечатанной сначала в журнале «Под знаменем марксизма», а позднее вошедшей в сборник статей «Вопросы современной критики», он доказывал необходимость сочетать «марксизм» с «психоанализом». По его убеждению, марксизм без психоанализа неспособен раскрыть подлинных глубин художественных произведений. Чтобы приобрести настоящую силу и тонкость, марксизм должен обратиться за помощью к психоанализу. «Психоанализ подкрепит критика-марксиста»<sup>1)</sup>. Не в диалектике формы и содержания, а именно в психоанализе видел, он «твердое обоснование мысли, что «форма неотъемлема от содержания».

«Психоанализ, — уверял т. Лебедев-Полянский, — с каждым днем завоевывает отдельные области жизни и знания, его ожидает великое будущее. В соединении с марксизмом он явится могучим орудием для критики искусств, равно и для других форм идеологии».

Если такую оценку фрейдизму давал П. И. Лебедев-Полянский, — чего ждать от других?

В своем увлечении фрейдизмом он не был одинок, — не случайно на дискуссии о фрейдизме в Ком. академии много говорилось об увлечении некоторых марксистов фрейдизмом. Но фрейдизм и марксизм — несовместимы.

Фрейдизм методологически, при всех замечательных частных наблюдениях в области индивидуальной психологии, настолько методологически слаб и плоск, хотя и претендует на «глубинность», настолько реакционен в своих основах, что его влияние на литературу должно быть признано определенно вредным. Именно фрейдизм в последние десятилетия создал фикцию

<sup>1)</sup> «Вопросы современной критики», Гиз. 1927, стр. 60.

«научного» будто бы обоснования незыблемого господства «бессознательно-го» в духовной жизни человека вообще и в художественном творчестве в частности. Увлечение это не подорвано. Власть фрейдистских заблуждений велика. Она долго еще будет сказываться в нашем искусствоведении. Фрейдизму мало было посвящено времени в борьбе с буржуазными и мелкобуржуазными влияниями. И в вопросе о «сознании» и «бессознательном» мы не сумеем разобраться с полной ясностью, если вновь не обратимся к фрейдизму и не попытаемся выяснить, заслуживает ли это учение того, чтобы с его помощью «подкрепить» марксистский метод литературной критики.

## 3

В наши дни шум вокруг фрейдизма затих. Но еще недавно учение это совершало триумфальное шествие по всему миру. Иным казалось, будто идеи Фрейда действительно завоевали вселенную. Кружки фрейдистов появились в разных странах света. Было создано международное объединение фрейдистов. Издания фрейдистов приобрели огромную популярность. Фрейдистский метод лечения — знаменитый «психоанализ» — завоевал право гражданства: от молодых «психоаналитиков» некуда было деваться. Ни одна научная теория не одерживала таких быстрых побед, как фрейдизм. Множество литературных произведений было «построено» на основе фрейдовских «открытий». Много критических исследований, иногда огромных по объему, как напр. известная книга Отто Ранка об инцестуозном мотиве в мировой поэзии, разносили по миру результаты открытий Фрейда. Понятие «вытесненных бессознательных влечений», господствующих над сознанием, вошло в оборот. Этим успехам способствовала социально-политическая обстановка, сложившаяся в первые десятилетия нашего века. Фрейдизм — такое же закономерное явление буржуазного упадка, как философия Шпенглера, как интуитивизм Бергсона. Сейчас фрейдизм потускнел. Редет фаланга фрейдистов. Меркнет и слава «психоанализа» как целительного метода. Поверхностность, дилетантизм, чрез-

вычайное легкомыслие иных его адептов сократили круг влияния фрейдизма. Он перестал «шуметь», покинул публичные аудитории и бульварные еженедельники. Но он посеял зерна, которые продолжают давать свой цвет. «Открытие», поразившее в свое время, как откровение, то, что каждый по следам фрейдистов как бы ощупывал в глубинах своего «я» — прочно засело в мозгу обывателя, беллетриста, даже критика. Отыскав в себе и «затаенные намерения», открыв в душе своей «ад» запретных желаний вплоть до инцестуозных, и ужаснувшись своей собственной «сложности» и «глубине», писатель счел непоколебимо, научно доказанным примат «бессознательного» над «сознанием».

А если прибавить сюда невытравленные остатки мистических воззрений, неистребленные следы религиозной веры в силы, действующие за спиной человека, неумершие остатки всяческих суеверий, питающихся ленью мозга, детскими воспоминаниями, слабостью критической и вообще научной мысли, — живучесть традиции сделается ясной.

Какие же откровения поведал миру знаменитый венский психиатр?

\*\*\*

Зигмунд Фрейд на фактах клинических исследований, на анализе живых человеческих переживаний действительно попытался дать естественно-научное обоснование господству «бессознательного» в человеческой психике. Врач по профессии, он искал метода лечения душевных болезней. Он имел дело главным образом с неврозами, с проявлениями заболевшей человеческой психики. Это кладет особый отпечаток на его теорию. Но выводы из своих наблюдений он распространил на всю историю человеческого развития. Теория приняла следующий вид.

На огромном пути развития человека, как биологической особи, руководящими были потребности сексуальные. Организуя их силу Фрейд назвал «принципом удовольствия». Потребности размножения и питания, самое чувство жизни были выражением сексуальной основы. Работу «принципа удовольствия» он показывает на развитии ре-

бенка, начиная с появления его на свет. Все существование младенца пронизано сексуальностью. Он сексуально наслаждается мягкостью материнской груди, теплотой высасываемого молока, его ароматом, запахом кожи. Он наслаждается материнским телом. Он с наслаждением сосет свой собственный палец, из своих прикосновений к миру он извлекает сексуальные наслаждения. Он находит их даже, когда совершает «под себя» необходимые отправления. Весь мир младенца, по Фрейду, — мир сексуальных ощущений. Половая жизнь ребенка начинается с его появлением на свет. Сексуальное чувство возникает задолго до того, как развивается и крепнет сознание. А так как развитие индивида повторяет развитие вида, то, распространяя этот вывод на историю человека вообще, Фрейд приходит к заключению, что до появления «сознания» в человеке настоящей «прародиной» его было существование, руководившееся исключительно сексуальными влечениями.

Но «прародина», уступившая место «сознанию», сделала это, во-первых, без борьбы, а во-вторых, не уступила вообще. Показывая развитие ребенка, первые столкновения его с миром действительности, Фрейд изображает, как появляется на сцене новое начало: «принцип реальности». Покуда младенец на руках матери, беспомощен, он существует «бессознательно», руководясь «принципом удовольствия». Его желания удовлетворяются. Он не получает отказа ни в чем. Но наступает момент: у ребенка отнимают грудь. Это — первое страдание, которое причиняет ему «реальность» жизни. Он научается ходить — окружающие предметы оказывают ему сопротивление. Он ошибается о них. Ребенок растет, растет и требования окружающей среды. Принцип «реальности» вторгается в его жизнь. «Принцип удовольствия» сталкивается с «принципом реальности». Возникает борьба. В этой борьбе формируется опыт человека. За принципом удовольствия стоит мир сексуальных влечений, хотений, пристрастий, все индивидуально-биологическое, природное. За принципом реальности — жизнь с ее законами, об-

щество окружающих людей, требования коллектива, диктующего индивиду свои нормы, права и морали, — мир социальный. Принцип реальности побеждает. Принцип удовольствия ступает, как будто смиряется.

Перенесите борьбу этих двух принципов в историю человеческой культуры, — вы получите представление о фрейдовском понимании развития человека как общественного животного. История человеческой культуры, по Фрейду, и есть история борьбы социального принципа «реальности» и индивидуального принципа «удовольствия». Биологическая особь сталкивается с законами общества. Или она смиряла свои вождения, укрощала их, или восставала против общества, боролась и конечно погибала.

Что же произошло в итоге этой длительной борьбы?

Общество с первых шагов своего существования, борясь в интересах целого с популяционными отдельными своими членами жить по «принципу удовольствия», выработало систему принудительных мер, сложную сеть воздействий, противостоящую сексуальным влечениям, особи. С малых лет и до старости общественный человек находится под регулирующим и направляющим влиянием этого аппарата. Все попытки его жить по принципу «удовольствия», т.-е. не ограничивать своих потребностей, сталкиваются с мощью общественных запретов. Биологическая особь смиряется. Она подчиняется обществу. Она становится «социальной особью». Больше того: она проникается интересами общества. Это значит: в психике индивида вырабатывается сложный аппарат, собственными, внутренними силами борющийся с влечениями, контролирующийся «хотениями», ограничивающий их. Этот аппарат и есть «сознание», возникшее и развившееся под давлением принципа «реальности». «Сознание» выражает и закрепляет победу этого принципа.

Что же делается с потребностями, влечениями, вождениями, которые диктовались принципом «удовольствия»? Исчезают ли они? Нет, — отвечает Фрейд. — Они не исчезают, они заго-



няются «внутри». Они вытесняются.

Психический аппарат, создавшийся под действием принципа реальности, победил, но не до конца. «Я — сознание», рассудок, разум, высшая психическая способность, может подавить и обуздать биологические влечения. Обученные, усмирённые, они удаляются в глубь психики, скрываются в область, лежащую вне сознания, они образуют бессознательную сферу. Эту сферу в противоположность «Я» Фрейд называет «Оно». В ней сконцентрировано все то, что, будучи вытеснено «принципом реальности», пытается все же вырваться на свободу, т.е. все-таки жить по «принципу удовольствия»<sup>1)</sup>.

В человеке, по Фрейду, происходит постоянная борьба этих враждебных сил: бессознательной, биологической стихии, «оно» и силы сознательной, социальной стихии, «Я». «Я — сознание» стоит на страже социальных интересов человека, бодрствует, зорко, как тюремщик, следит за попытками «оно» проскользнуть на волю. Эту работу сознания Фрейд называет «цензурой». Сознание изгоняет из своих пределов антисоциальные, вредные для общества влечения. Вытесненные влечения, продолжая существовать, как свернутая пружина, стремятся развернуться, прорваться в сознание, захватить действующий аппарат человека. «Цензура» закрывает им прямые пути; они пытаются проникнуть путем обходным. Они маскируются, принимают различные символические формы, условные знаки, они бушуют во время сна, когда ослабевает или замолкает «сознатель-

ный» аппарат психики. Они прорываются в работу фантазии.

Фантазия — способ творческой переработки вытесненных влечений: она и создает искусство. Не находя выхода в реальность, сексуальная энергия через фантазию переключается в творчество. Но когда напряжение «бессознательного» не находит выхода в творческой деятельности, оно разряжается в «неврозах», в извращениях психики, в истерических и других болезненных формах.

Отсюда становится ясной роль, какую в искусстве приписывает фрейдизм «бессознательной» сфере. Работа фантазии строится не на принципе «реальности», а на принципе «удовольствия». Подавленная сексуальность, «оно», находит в искусстве (и в религии) свое проявление и освобождение. Образы фантазии, равно как и сны, являются «масками», «символами», за которыми скрываются вытесненные сексуальные влечения. Искусство, т.е. фантазирование, есть в сущности «сон наяву». Образность, все особенности художественного зрения, философия и психология искусства, — так учит фрейдизм, — имеют корни в вытесненной сексуальности писателя.

В чем же однако заключается самое «влечение», изгоняемое «сознанием»? Что именно скрывается за этими «масками», «символами», «образами фантазии»?

#### 4

Мы говорили об этом: первый комплекс чувств, испытываемых ребенком, — половая связь с матерью. Ребенок «бессознательно» живет с нею. Это чувство пропитывает все его существо. Он не хочет отдать мать никому. Мать — его достоиние. Когда ребенок, начиная сознавать окружающее, сталкивается с отцом, он ощущает отца как соперника, как врага. У ребенка возникает ревность к отцу. Он отца ненавидит: отец покушается на его достоиние. Так возникает основной «комплекс»: по имени знаменитой античной трагедии Фрейд назвал его «комплексом Эдипа». Всякий человек, по его теории, в «бессознательной» сфере имеет этот ком-

<sup>1)</sup> Как мы увидим дальше, по теории Фрейда явления «бессознательной» сферы не могут в прямом виде сделаться явлениями «сознания». Между «сознанием» и «бессознанием» лежит пропасть. Но ряд фактов указывает на то, что некоторые элементы психики могут то появляться в сознании, то исчезать и вновь появляться, не трансформируясь, не превращаясь в «символы». Фрейд вводит поэтому новое понятие, среднее между «сознанием» и «бессознанием», которое он называет «предсознательным». Предсознательными оказываются такие явления психики, которые, не будучи сознательными, могут все же стать таковыми. Это отличает их от «бессознательных» явлений, которые могут проникнуть в сознание лишь обходным путем. Об этом — ниже.

плекс. Другой вариант комплекса — влечение дочери к отцу и ненависть к матери.

«Эдипов комплекс» — основа фрейдизма. Именно это вот «инцестуозное», или, переводя на русский язык, «кровосмесительное» желание, и есть то самое, что требует по принципу «удовольствия» своего удовлетворения. Взглянув с этой точки зрения на историю человечества, фрейдизм обнаруживает, что в основе мировоззрений, религиозных культов, искусства лежит, как руководящий, организующий «комплекс Эдипа». Если люди, группы и классы, борясь с природой, друг с другом, ведя войны, совершая революции, низвергая троны и тиранов, стремясь к счастливому будущему, создавая утопии и идеалы, искусство и культуру, полагают, будто их борьбой руководит сознательное стремление, они заблуждаются: в основе этой борьбы лежит «бессознательное оно», вытесненные «инцестуозные» влечения. Это работает «комплекс Эдипа» в разных своих вариантах. Политические и социальные идеалы — лишь «символы», «маски», которыми пользуется «бессознательное», чтобы обмануть бдительность «цензуры», чтобы прорваться в «сознание». Вы полагаете напр., будто капиталистическая эксплуатация и сам капитализм, его экономическая и политическая системы, его «дух», явились следствием борьбы за материальные интересы? Ничего подобного: «дух капитализма» есть следствие вытесненной любви, т.-е. «эдипова комплекса». Он, кроме того, имеет корни в анальной эротике. Это доказывал один из вернейших учеников Фрейда — с одобрения учителя — пастор Пфистер. Вы полагаете, что революция есть движение масс, восставших против эксплуатации за свои материальные и духовные интересы? Ничего подобного, — отвечает другой фрейдист, Кольнай: прообразом всякой революции является восстание сыновей против отца, т.-е. борьба за «мать», стремление убить «отца», захватить «мать». В современном анархическом движении проявляется, по уверениям Кольная, «инцестуозные», «кровосмесительные», скрытые желания, направленные на «мать». Вот что из глубин «бессознательного» руководит борьбой против

государства, церкви, капитализма. Борьба против монарха, против капиталиста, помещика есть опять-таки замаскированное стремление убить «отца», чтобы овладеть «матерью». Одним словом, во всей деятельности, во всех человеческих намерениях, планах, мечтах, фантазиях и снах обнаруживают себя «бессознательная» сфера, «эдипов комплекс», «инцестуозные», «кровосмесительные» влечения.

Понятие «эдипова комплекса» осложнено присоединением других «комплексов»: «кастрации», т.-е. лишения «мужественности», «нарцисизма», т.-е. перенесения любовного стремления на самого себя, «гомосексуализма» и т. п. Но все они группируются вокруг «комплекса Эдипа». Культура, искусство, религия, все формы идеологий — все это лишь «символы», в которые обряжаются вытесненные влечения. Когда они не находят выхода в символической работе сознания, они превращаются в «неврозы» — болезненные извращения психики. Чтобы их ликвидировать, обезвредить, надо раскрыть, обнаружить их «бессознательное» существо. В этом и заключается задача «психоанализа». «Психоанализ» — метод, который ищет в глубинах «бессознательной сферы» истинного виновника заболеваний. За масками, символами, иероглифами, которыми загрировал и законспирировал себя «эдипов комплекс» или какой-нибудь из его вариантов, надо открыть его подлинное лицо. Обнаруженный «сознанием», «разоблаченный», он теряет силу.

В искусстве, где вытесненные влечения гримируются как образы фантазии, и в общественной жизни, где они принимают символические формы общественных идеалов, программ, платформ и т. д., фрейдизм обнаруживает ту же сексуальную, инцестуозную, вытесненную основу. Критика фрейдистов, т.-е. весь «психоанализ», именно и заключается в поисках и обнаружении «эдипова комплекса» или его разновидностей. Отто Ранк в упомянутом выше труде во всех произведениях мировой поэзии обнаружил следствие «бессознательной» работы «комплекса Эдипа»: «крот истории», который «глубоко роет», на деле оказывается неисправимым кровосмесителем; не сознавая своей «преступно-

сти», он «изживает» ее в художественной, теоретической и всякой иной деятельности. «Эдипов комплекс», — как писал один из фрейдистов, Виттельс, отколовшийся впрочем от школы, — это тот локомотив, который промчал триумфальный поезд Фрейда вокруг земного шара<sup>1)</sup>.

Такова «глубина глубин» фрейдизма. Если оставить в стороне основную «теоретическую» литературу фрейдизма, достаточно прочесть переведенные на русский язык работы З. Фрейда о Леонардо да Винчи, И. Нейфельда о Достоевском и наконец «труды» нашего отечественного фрейдиста проф. И. Д. Ермакова о Пушкине и Гоголе, чтобы оценить по достоинству метод фрейдистского литературного анализа. Последние книги доставят читателю особенно много веселых минут. Ему, пожалуй, покажется, будто проф. И. Д. Ермаков задался целью «высмеять» учение Фрейда, привести его к «абсурду». Но проф. Ермаков — искренний фрейдист. Надо заметить, что курьезные «излишества» автора книг о Пушкине и Гоголе не являются его индивидуальной чертой или отличительным свойством нашего «доморощенного», так сказать, фрейдизма. Они характерны для фрейдистских литературных исследований вообще. Вздорность заложена в самом методе фрейдизма, в основной посылке его. Книги Пфистера или Кольная, которых я коснулся выше, в своей области не менее чудовищны, чем иные умозаключения Ермакова. Таков «психоанализ», как «метод», как «система».

Из «эдипова комплекса», если его положить в основу развития всей человеческой культуры, иных выводов нельзя было и сделать. А если отнять «эдипов комплекс» от «психоанализа», останется пустое место.

\*\*\*

Мы не ставим своей задачей дать полное изложение учения Фрейда. Мы оставляем поэтому в стороне много частных проблем (напр., учение об «Я — идеале» и др.). Мы не касаемся также его психиатрической практики. Нас интересует лишь понятие «бессо-

знательности», широко популярное в искусствоведческой литературе. Именно во фрейдистском «бессознательном» черпают свою аргументацию сторонники и защитники «безумного творчества».

Трактовка Е. Замятиним «искусства», как «сна» на яву, навеяна фрейдизмом. «Медиумизм» Бориса Пильняка — из того же источника. И все апелляции к «науке», будто бы где-то когда-то твердо обосновавшей господство бессознательной сферы над сознанием, имеют в виду тот же фрейдизм, на время как будто заставивший смолкнуть критическую мысль. Теории «безумного» творчества, иррационализм, интуиция, вдохновение разными путями ведут все к тому же «бессознательному», скрытому под порогом сознания, повелевающему сознанием.

## 5

Но замечательная вещь! Изображая сознание в виде «кучера», который едет куда приказывает «бессознательная сфера», фрейдизм, вопреки намерениям, на деле, своим собственным материалом доказывает обратное: не все-ликие «бессознательного», а именно силу «сознания».

В самом деле.

Все, что отделяет человека от животного, что отличает его будущее и настоящее от звериного прошлого: культура, успехи общежития, завоевания общечеловечности, — есть плоды именно «сознательного Я». Бессознательное «оно» — вместилище темных, биологических, звериных инстинктов. «Оно» слепо и жадно; «оно» стремится только к удовольствию, готово пожрать весь мир во имя своего голода. «Оно» безлично. «Оно» совершает преступления, не задумываясь и не испытывая раскаяния; «оно» лишено самоконтроля, безвольно, похотливо, прожорливо. Проявляя себя в реальной действительности прямыми путями, непосредственно, «оно» нарушает общественные интересы, становится социально опасным. Чтоб играть культурную, положительную роль, вытесненные влечения должны найти обходные пути, прорываться в сознание в форме символических актов, художественных образов,

<sup>1)</sup> Ф. Виттельс, «Фрейд, его личность, учение и школа». Гос. изд. Лен. 1925. стр. 100.

работы фантазии, творческой работы вообще. Только сублимируюсь, перерабатываюсь, «бессознательное» становится фактором культуры. Таким образом культура, искусство, творчество есть не что иное, как трансформация, переключение, переработка сексуальной энергии. Но этот процесс происходит при участии «я», под нажимом и контролем «сознания». Человек «рационализирует» происходящие в «бессознательном» процессы, и эта рационализация остается как завоевание культуры. Смысл, вкладываемый в рациональные формулы, не соответствует действительным, по Фрейду, скрытым влечениям, скрытым потребностям «оно», но самая рационализация есть процесс культурного оформления бессознательных влечений.

Приведенные только-что положения о борьбе «я» и «оно», «сознательного», социального фактора, с «бессознательным» биологически можно толковать в разных направлениях. Можно утверждать напр., что с точки зрения Фрейда «я» есть раб «оно», что подлинным господином является именно «бессознательное». «Оно» стоит за спиной «я», приказывает делать, что хочет «оно». Такое толкование широко распространено. Оно дает возможность строить реакционные выводы из теории Фрейда. Но из того, что было нами сказано выше, вовсе не явствует, что «сознание», «агент» реальности, фактор, выдвигаемый именно «социальностью», для обуздания фактора «биологического», влечит «рабское» существование. Как можно игнорировать то обстоятельство, что «подсознательному» удастся проникнуть в «сознание» лишь обходным путем, под прикрытием масок, воплотившись в формы образов, символов, условных знаков, т.-е. только обманув бдительность «цензуры», обойдя строгую требовательность «сознания»? Ведь если «сознание» есть «раб» бессознательного, рушится самый смысл «гримировки», к какой принуждено прибегать «бессознательное», чтобы проникнуть в «сознание». Тогда исчезает почва для болезненных извращений психики. Обосновывая как будто могущество «бессознательного», подчеркивая стихийную силу «оно», фрейдизм, быть может,

вопреки своим желаниям, силой вещей, логикой фактов, поскольку он на них опирается, обосновывает могущество «сознания», господство «я» над «оно». Там же, где торжествует «оно», где «сознание» дезорганизовано, поставлено «на колени», мы получаем «неврозы». Самый метод лечения психоанализом в том ведь и заключается, что «бессознательное», вызвавшее нервное заболевание, будучи разоблачено, обнаружено, раскрыто «сознанию», теряет свою болезненную силу. Став доступным «сознанию», оно перестает быть неврозом. Сознание является здесь в облике целителя душевных болезней. А нас хотят уверить, будто «я — сознание» — раб «бессознательного». История культуры, если изобразить ее в терминах «сознания» и «бессознательного», заключается в отступлении «бессознательного» перед «сознанием», «оно» перед «я».

Именно диктатура «сознания» «вытесняет» влечения в «бессознательную сферу». Необходимость обмануть бдительность «цензуры», стоящей на часах, и заставляет «оно» принимать фантастические, символические, иероглифические обличья. И лишь когда «цензура» спит, только во сне «бессознательное» может жить по своей «глупой» воле. Отсюда, по Фрейду, неожиданные и непонятные, чудовищные сплетения сонной фантазии. В снах, — учит фрейдизм, — и находят свое проявление, — опять-таки не в прямой, буквальной, но иносказательной, символической, скрытой форме, — все вытесненные, загнанные, терроризованные «сознанием» влечения. Не находя выхода в реальность, они обнаруживаются в снах.

То же самое происходит в искусстве. Искусство, по Фрейду, вызвано к жизни не социальными потребностями, но биологическими процессами: избыточная сексуальная энергия, вытесненные желания сублимируются в образы фантазии. Искусство играет, таким образом, биологически защитную роль: оно избавляет организм от «вытесненных желаний».

Неисчислимое многообразие эстетических форм, богатство образов, идейная насыщенность искусства, пафос, которым, как огнем, оно озарено, стремления, которые в нем закрепляются, страсти индивидуальные и социальные, на-

ходящие в искусстве воплощение, глубочайшие идейные искания, которыми оно полно, социально-организующая роль, какую оно играет,— все это, оказывается, подсказано, обусловлено и предопределено первичной унаследованной «сексуальностью», неизжитыми кровосмесительными влечениями. Древние саги и современная поэзия, Гомер и Шекспир, эпос и лирика, роман и трагедия, мотивы социальные и философские, — все они, как радиусы к центру круга, сходятся к «сексуальной» точке, к «чреву» матери. Это именно и обосновывал Отто Ранк в книге, которая выше была упомянута.

Искусство превращается в символику, за которой, как лицо под маской, скрывается однообразное, примитивное, унылое, как песня людоеда, вытесненное инцестуозное влечение, «эдипов комплекс».

## 6

Основной грех «фрейдистской» концепции ясен: она гиперболически сексуализирует мир, вопреки нашему объективному знанию о мире. Одному из частных, правда могучих биологических инстинктов фрейдизм придает генеральное значение, устраняя все прочие. Этим он искажает картину мира, извращает ее и, само собой разумеется, обрекает на ошибочность все свои выводы, построенные на извращенной основе. Это отчетливо можно увидеть на фрейдистском толковании искусства.

Вытесненные сексуальные влечения занимают, разумеется, значительное место в поведении человека. Но они, во-первых, не обязательно «инцестуозны» и, во-вторых, не являются всеопределяющими в поведении. Они имеют очень крупное значение в жизни общественного человека. Но не им принадлежит организующая, руководящая роль. Сознание человека действительно много сил потратило на обуздание «сексуальной энергии», но возникло «сознание» не в ограниченной борьбе с этой энергией, а в неограниченной борьбе человека с природой, в борьбе за существование, потребности которого шире потребностей сексуальных: инстинкты питания и самосохранения столь же

«фундаментальны», как инстинкт размножения. «Бессознательное» (воспользуемся условно этим термином) является вместилищем не только «сексуальных», «биологических», «индивидуалистических» вытесненных влечений, но также вместилищем всех инстинктов и навыков, выросших и укрепившихся в борьбе за существование и в социальной борьбе, которая шире, глубже и многообразней борьбы за удовлетворение сексуального голода. Фрейдизм понимает дело так, будто сексуальные влечения, вытесняемые принципом «реальности», загнанные в «подполье», продолжают там жить неизменно и вечно. Но это — абсурд. Они не только «вытесняются», но «умирают», иначе не было бы никакого «развития», — все стояло бы на месте. Отрицать полное исчезновение некоторых «вытесненных влечений» — это значит утверждать их бессмертие, вечное их метафизическое существование, это значит отрицать их историческое возникновение, развитие и уничтожение.

Об этом много верно сказал В. М. Фриче в своей статье «Фрейдизм и искусство»<sup>1)</sup>

С точки зрения фрейдизма, полная победа «сознания» над «бессознательным» означала бы «конец» культурного творчества. В самом деле: если умрут «инцестуозные влечения», что же будет «сублимироваться», т. е. обнаруживать себя в «символах», условных знаках и т. п.? Если «принцип реальности» убьет «принцип удовольствия», тем самым будет убито искусство. Так как вся «культура» вырастает из сублимированных «инцестуозных» мотивов, смерть «комплекса Эдипа» означает остановку культурного развития человека.

Это — чепуха. Но она вытекает из существа концепции.

\*\*\*

Надо заметить, что такая пессимистическая точка зрения имеет своих сторонников, как это ни удивительно, даже среди пролетарских писателей. Так напр. А. Фадеев, полемизируя с В. М.

<sup>1)</sup> См. «Проблемы искусствознания». Госизд. 1930.

Фриче, замечает, что «если у будущего человека сознание поглотит инстинкты (да еще «без остатка»), то человек будет лишен чувства красоты»<sup>1)</sup> «Фриче не видит, — читаем мы далее, — что он, защищая искусство от фрейдизма, мимоходом ликвидировал самое искусство». А. Фадеев, защищая искусство от Фриче, перешел на точку зрения фрейдизма. Правда, он опирается на известное положение Плеханова: «Полезно познается рассудком; красота — созерцательной способностью. Область первой — расчет; область второй — инстинкт». Но Плеханов говорит о «чувстве красоты». Фадеев же, говоря о красоте, имеет в виду «искусство». Но ведь это разные вещи. Плеханов не считал «искусство» созданием одной лишь «созерцательной способности». Противопоставляя же «созерцательную способность» «рассудку» и включая ее в область «инстинкта», Плеханов ошибался. «Созерцание» в равной мере может быть названо «инстинктивной» способностью и «интеллектуальной». Ограничивая ее областью «инстинкта» и выводя из нее «красоту», Плеханов изменял диалектике. Эту ошибку повторяет за ним А. Фадеев, соскальзывая на почву фрейдизма. Отсюда и его испуг: если-де «сознание» победит «бессознательное», искусство умрет, не станет искусства. В таком умозаключении больше «фрейдизма», чем «марксизма». Выводить красоту из «инстинкта», ограничив ее «созерцательной способностью» — это значит оборвать связи «красоты» с социальным развитием человека, подорвать «идеологическое» содержание красоты, как социального отношения.



Такова фрейдистская концепция «бессознательного». Ее реакционность бесспорна. Сейчас замолкли голоса, пытавшиеся соединить Маркса с Фрейдом. Это не значит, что они смолкли вообще. Применяя терминологию «фрейдистов», можно сказать, что под давлением «марксистского сознания» эти попытки «вы-

теснены» в «бессознательное». Но они дают себя знать в особом пристрастии к уменьшению роли «сознания» в творческом процессе в пользу «бессознательной сферы». На эту опасность в борьбе за марксистское искусствознание не следует закрывать глаза. Но, чтобы ликвидировать ее, надо точнее договориться о «бессознательном».

На этот счет в нашей литературе нет не только единогласия, но даже простой ясности.

Если напр. П. И. Лебедев-Полянский заслугой фрейдизма считает именно то, что фрейдизм «подчеркивает бессознательный характер творчества», то В. М. Фриче утверждает, что бессознательное в марксистском и фрейдистском понимании — два понятия совершенно разного содержания.

## II. Марксизм и фрейдизм

### 1

На этом различии стоит остановиться. Именно в силу того, что понимание «бессознательного» не было строго дифференцировано, возникло убеждение, будто никакого принципиального, непримиримого противоречия между марксизмом и фрейдизмом нет. А. К. Воронский напр. в статье «Фрейдизм и искусство» уверяет, будто «марксизм никогда не отрицал динамики «бессознательного»<sup>1)</sup>. «Марксизм всегда признавал наличие индивидуально и общественно бессознательных намерений, тщательно заgrimированных и законспирированных» — повторяет он несколько дальше. Он приводит даже в качестве примера цитату из «18 брюмера» и опирается на Плеханова.

А. Фадеев в указанной уже статье «Столбовая дорога пролетарской литературы» также заявляет, будто «марксизм никогда не игнорировал и никогда не отрицал чувственного восприятия, переживаний, волевых импульсов людей, в том числе и различных бессознательных намерений человека»<sup>2)</sup>. (Курсив мой. — Вяч. П.). Что марксизм не отрицал «чувственных восприя-

<sup>1)</sup> «Столбовая дорога пролетарской литературы». Сб. 2-й. «Творческие пути пролет. лит». Стр. 99.

<sup>1)</sup> «Литературные записи». Изд. «Круг». Стр. 20.

<sup>2)</sup> «Твор. пути пролет. литературы». Сб. 2-й. Стр. 69.

тий, переживаний, волевых импульсов» и т. д., — это не подлежит сомнению. Сомнительно лишь, будто марксизм не отрицал... бессознательных намерений человека.

Вслед за А. Воронским и М. Григорьев также ссылаются на «марксизм», для которого будто бы в «динамическом бессознательном», обоснованном Фрейдом, «нет ничего принципиально нового». «Это положение неоднократно (неоднократно!!) отмечается К. Марксом» — уверяет он, приводя ту же самую цитату из «18 брюмера».

Перед нами использование авторитета Маркса во славу фрейдистской концепции «бессознательного». Действительно ли Карл Маркс в «18 брюмера» высказал мысль, подкрепляющую положение Фрейда о «динамическом бессознательном»? Обратимся к Марксу. Вот спорная цитата:

«... если в обыденной жизни различают между тем, что человек думает и говорит о себе, и тем, что он есть и делает на самом деле, то еще более следует различать в исторической борьбе между фразами и иллюзиями партий и их действительным организмом, их действительными интересами, между их представлением о себе и их реальной природой»<sup>1)</sup>.

Таков «документ», устанавливающий наличие в марксистской теории понятия «бессознательных намерений», индивидуальных и общественных. Но если бы даже Маркс в приведенной цитате и признавал наличие таких «намерений», то и тогда нельзя было бы, говоря о фрейдистском «бессознательном», ссылаться на марксистское «бессознательное»; это были бы разные понятия: фрейдизм отождествляет «бессознательное» с вытесненными инцестуозными влечениями. Маркс говорит о несоответствии слов и дел, иллюзий, действий и реальных интересов, какие скрываются за этими иллюзиями и действиями. Какое отношение имеют эти «реальные интересы», т.-е. классовые интересы, к «комплексу Эдипа», к вытесненным инцестуозным желаниям?

<sup>1)</sup> «18 брюмера Луи Бонапарта». Цит. по изд. Ин-та Маркса и Энгельса. 1926. Стр. 34.

Цитата, приведенная выше, ни о каких «вытесненных» влечениях не говорит, никакого отношения к «бессознательному», стоящему будто бы за сознанием, не имеет. Будучи вырвана из контекста, она отдаленно может приобрести некоторую долю убедительности: Маркс-де говорит о «бессознательных намерениях»!

Что же на самом деле говорит цитата?

## 2

Маркс пишет о столкновениях партий и фракций во французской революции 48 года: за шумной борьбой, за «флером» официальных выступлений фракций скрывались «классовая борьба и своеобразная физиономия этой эпохи». Маркс говорит о том, что «материальные условия существования, два различные вида собственности», а не «так называемые принципы» разделяли эти фракции. Он утверждает далее, что их вместе с тем «связывали с той или другой династией старые воспоминания, личные опасения и надежды, предрассудки и иллюзии, симпатии и антипатии, убеждения, символы веры и принципы...» «На различных формах собственности, на социальных условиях существования поднимается целая надстройка различных и своеобразных чувств, иллюзий, понятий и мировоззрений. Весь класс творит и формирует все это на почве своих материальных условий и соответственных общественных отношений»<sup>1)</sup>. Отдельный индивидуум, получая свои чувства и взгляды путем традиции и воспитания, может вообразить себе, что они-то и образуют действительные мотивы и исходную точку его деятельности. Если орлеанисты и легитимисты старались уговорить себя и других, что их разделяет привязанность к двум различным династиям, то факты впоследствии доказали как-раз обратное, — что противоположность их интересов делала невозможным слияние двух династий».

Дальше следует цитата, выписанная нами выше: «...и если в обыденной

<sup>1)</sup> Курсив здесь и дальше мой.—Вяч. П.

жизни различают между тем, что человек думает и говорит о себе...» и т. д.

Теперь, когда «посылки» Маркса перед нами, делается ясной его мысль, ни с какой стороны не подкрепляющая «бессознательных намерений», тщательно законспирированных и загримированных». По Фрейд, такие «намерения»<sup>1)</sup> прорываются в сознание в «символической», законспирированной форме потому, что, будучи «инцестуозными», «запретными», «антисоциальными», они вытеснены в «бессознательную сферу». Эти, именно вытесненные влечения, сублимируясь, и образуют все психологические и идеологические надстройки. А что говорит Маркс? Он утверждает, что взгляды и традиции человека, иллюзии, чувства, понятия и мировоззрения формируются на почве материальных условий и соответственных общественных отношений, т. е. на почве классовой борьбы. Здесь, как видим, корни «надстроек» принципиально иные, не имеющие ничего общего с основными «пружинами» развития, как его изображает Фрейд.

Эти взгляды, иллюзии, мировоззрения, передаваясь путем традиции и воспитания, хотя и возникли на почве классовой борьбы, тем не менее могут принимать такие формы, непосредственная связь которых с классовыми интересами, их породившими, может субъективно не сознаваться. Поэтому люди могут руководствоваться своими взглядами и иллюзиями, как если бы эти иллюзии и мотивы были бы действительными возбудителями их деятельности, тогда как за этими иллюзиями и мотивами стоят интересы класса. Потому-то орлеанисты и легитимисты уверяли себя и других, будто их разделяет привязанность к двум различным династиям, тогда как на самом деле их разделяла противоположность их интересов. Другими словами, перед нами несходство субъективных представлений людей об их собственной деятельности и объективного смысла этой деятельности; деятельность эта направляется не вы-

тесненными влечениями, не стремящейся прорваться в сознание неудовлетворенной половой энергией, но материальными, классовыми интересами; интересы эти осуществляются не через посредство «бессознательных намерений», стоящих за «сознанием», но именно в виде «сознательных актов» — иллюзий, мотивов, чувств, понятий, мировоззрений, т. е. идеологических субъективных представлений, создаваемых на почве известных общественных отношений. Энгельс в своем письме Францу Мерингу от 14 июля 1893 г. говорит об «идеологии», о «мыслительном процессе», который проделывает «так наз. мыслящий человек, хотя и с сознанием, но с сознанием неправильным. Истинные побудительные силы, которые приводят его в движение, остаются ему неизвестными, в противном случае это не было бы идеологическим процессом. Человек создает себе следовательно представление о ложных или призрачных побудительных силах<sup>1)</sup>».

Вот соображения, которые на первый взгляд можно было бы использовать для обоснования «близости» марксизма и фрейдизма. Но разве эти именно соображения при верном понимании не опровергают тезиса о «бессознательных намерениях», стоящих будто бы за «идеологией»? С точки зрения марксизма речь идет, с одной стороны, о «субъективных представлениях», какие составляют себе индивид и целые социальные группы в социальной борьбе, и с другой — об «объективном» классовом смысле, скрывающемся за этими субъективными представлениями. Но эти представления не есть «намерения», скрывающиеся в «бессознании», продиктованные сексуальной основой. Напротив, они — достояние сознания. Когда марксизм говорит о том, что субъективные представления людей не соответствуют объективному смыслу их деятельности, марксизм имеет в виду диалектику отношений субъекта и объекта, несоответствие «объективного смысла» — «субъективным представлениям», но это ни в какой степени нельзя понимать так,

<sup>1)</sup> Было бы правильнее говорить: «влечения», «желания». Фрейд говорит именно о вытесненных «влечениях».

<sup>1)</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс «Письма». Изд. «Моск. рабочий», М. 1923, 309.



будто под видом «субъективных представлений» бессознательно зашифрованы, скрыты интересы людей, представляющие собой не что иное, как сублимацию либидо.

Люди могут думать, что их чувства и взгляды являются самодовлеющими мотивами их деятельности. Люди ошибаются, потому что за этими чувствами и взглядами стоят их классовые интересы. «Фразы и иллюзии партий», это — внешность, которая скрывает реальные интересы, продиктованные борьбой, материальными условиями существования.

Можно ли эту «подлинную классовую природу», стоящую за «иллюзиями и фразами партий», отождествлять с «бессознательными намерениями», «вытесненными сексуальными влечениями», с тем биологическим «оно», о котором речь идет у Фрейда? Двух ответов тут быть не может.

С точки зрения Маркса «чувства и взгляды» являются «идеологией», т.е. субъективными представлениями, за которыми скрывается «объективная природа» этих представлений, классовая их основа, но не «бессознательные намерения», которые будто бы сублимируются в «символы» и «иероглифы», в чувства и взгляды.

Не «бессознательные намерения», а объективные условия материальной жизни, производственные условия, — вот что стоит за субъективными представлениями, за иллюзиями и фразами партий, за взглядами и чувствами, понимаемыми как подлинные мотивы деятельности. Вытесненные сексуальные влечения могут лишь в той или иной степени индивидуализировать характер того или иного отдельного представителя, вырастающего в определенных социальных условиях, играющих роль генерализирующего фактора. И всякое сближение «объективной классовой природы», стоящей за «надстройкой чувств, иллюзий, понятий и мировоззрений», с «динамическим бессознательным» Фрейда есть извращение марксизма, насилие над марксизмом<sup>1)</sup>.

<sup>1)</sup> См. также знаменитое место в предисловии «К критике политической экономии», где Маркс говорит о «реальном основании», на котором возвышается правовая, и политическая надстройка и которому соответствуют опре-

«Слова» партий и «дела» партий расходятся не потому, что «партии», кроме высказываемых взглядов и убеждений, т.е. явлений «сознания», имеют еще «бессознательную сферу», где «скрыты» подлинные неосознанные намерения. Классовая борьба, реальные интересы создают те или иные обманчивые, идеологические формы — субъективные представления, взгляды, убеждения, именно как сознательные формы. И когда марксизм «срывает покровы», т.е. вскрывает объективную «сущность» субъективных представлений людей, классов и партий, когда марксизм за пышной лепкой фраз, за поверхностью художественных образов, за сложным узором философских систем, за тем или иным «стилем» обнаруживает классовые интересы, он обнаруживает «объективный смысл» явлений, их действительную, а не воображаемую природу, но вовсе не занимается разоблачением «бессознательных намерений», зашифрованных будто бы в этих образах, системах, представлениях. Поэтому фразу Маркса: «если в обыденной жизни различают между тем, что человек думает и говорит о себе, и тем, что он есть и делает на самом деле», — нельзя эту фразу понимать в том смысле, будто настоящим «руководителем» человеческого поведения «является» «бессознательная» сфера. Ни из приведенной цитаты, ни из того, что писали Маркс, Энгельс, Ленин, Плеханов и другие теоретики марксизма, нельзя сделать такого вывода. Никаких «двух» начал в человеческой психике марксизм не различает. Двойственность же, несходство слов и дел, намерений и поступков, признаваемая марксизмом, имеет совершенно иной харак-

деленные формы общественного состояния. «Способ производства материальной жизни обуславливает собой процесс жизни социальной, политической и духовной вообще. Не сознание людей определяет их бытие, но, напротив, общественное бытие определяет их сознание». (Цит. по изд. 1923 г. Гос. изд. Украины, стр. XII. См. также: Ленин. Собр. соч. «Что такое друзья народа» и т. д. Том I. стр. 70). По Фрейду, «процесс жизни социальной, политической и духовной вообще» определяется не способом производства материальной жизни, а неизжитыми, вытесненными сексуальными влечениями, которые и оказываются «подлинным бытием», обуславливающим «сознание».

тер, вырастает на социальной, а не индивидуально-биологической, сексуальной основе.

По Марксу, Энгельсу, Ленину, «сознание» возникло и развилось не в процессе «вытеснения инцестуозных влечений», но в широкой и многообразной борьбе за существование, в борьбе с природой, в социальной борьбе. Узкий, биологический индивидуализм фрейдизма непримирим с социально-философскими методологическими предпосылками марксизма.

\*\*\*

Совершенно очевидно: на посылах фрейдизма нельзя построить марксистского искусства. Нельзя строить научную эстетику, опираясь на утверждение, будто, «помимо сознательно переживаемых человеком состояний, существует таинственная, бессознательная жизнь и, что еще более важно, она обладает высокой активностью: сплошь и рядом наше сознание является лишь послушным орудием бессознательного, прикрывает подлинные бессознательные намерения и поступки». Именно это утверждение, никогда не бывшее научно обоснованным, является основой, на которой вырастают идеалистические, мистические и религиозные концепции искусства.

3

Мы пришли к выводу, что попытка подкрепить Марксом фрейдистскую концепцию «бессознательных намерений», руководящих «сознанием» человека, была ошибочной в корне. Одной из причин самого возникновения такой попытки является крайняя многосодержательность, или, если хотите, бессодержательность термина «бессознательное». Он не имеет точного, раз и навсегда для всех принятого однозначного содержания. Фрейдизм понимает «бессознательное» как вместилище «инцестуозных влечений». Шопенгауэр, Шеллинг, Эд. фон Гартман обосновывали совершенно иное философское понятие «бессознательного». В искусствоведческой литературе «бессознательное» отождествляется иногда с «интуитивным» познанием. Можно указать еще ряд толкований. Мы встречаемся наконец с понятием «бессознательного» в марксистской ли-

тературе. Именно появление (довольно редкое) этого термина на страницах основоположников марксизма и создало иллюзию, будто марксизм несколько не расходится с Фрейдом по вопросу о признании «активно действующей сферы», лежащей за порогом сознания. Но эта иллюзия обязана своим существованием неправильному пониманию термина.

«Коммуна возникла стихийно. Ее никто сознательно и планомерно не подготовлял» — читаем мы например у Ленина<sup>1)</sup>.

Сторонники «бессознательного» попытаются истолковать это место так: если никто сознательно коммуны не подготовлял, т.е. если у людей, ее «делавших», не было открытых, осознанных «намерений» ее делать, это значит — у них были «тайные», «тщательно законспирированные», «загримированные», не «сознававшиеся», «бессознательные намерения» коммуны строить.

Но если понимать эту фразу Ленина в «фрейдистском» смысле, надо понять ее до конца. А понять ее по-фрейдистски до конца будет значить вот что: так как «бессознательные намерения» проникают в сознание в символической форме, «коммуна» является не чем иным, как «символом», скрывающим «подлинные намерения людей». Если читатель вспомнит, что мы говорили выше о попытках фрейдида Кольная вскрыть «подлинную» основу деятельности революционеров, читатель поймет, что с точки зрения Фрейда борьба за коммуны есть борьба за обладание матерью, а версальское правительство, расстреливавшее коммунаров, было, оказывается, символом «отца», который, скрепя сердце, принужден был «усмирять» восставших против него сыновей, увлеченных «инцестуозным» желанием. «Комплекс Эдипа» — вот истинное, хотя и «бессознательное намерение» деятелей коммуны. Если же отбросить «сексуальную основу», т.е. основной принцип фрейдизма, без которого фрейдизм перестает существовать, страдает и самое понятие «бессознательных намерений», ибо это

<sup>1)</sup> Собр. соч. т. XI. Стр. 275. Курсив мой.—Вяч. П.

понятие выросло на индустуальной основе и существование его без этой основы в буквальном смысле безосновательно. Утверждение же Ленина: «Никто сознательно коммуны не подготавливал» — не означает, что кто-то ее подготавливал бессознательно (т.-е. имел законспирированное, не обнаруженное сознанием, тайное намерение). Глупость такого вывода очевидна. Его можно сделать только при упорном нежелании понять, что «бессознательным» результатом деятельности людей могут быть такие факты, которые никогда не были ни в «сознании» (т.-е. не ставились субъектом как преднамеренная цель), ни в «бессознании»: они явились результатом условий (случайности и необходимости), лежащих вне человека и от его воли не зависевших.

«Никогда этого не было, да и теперь этого нет, чтобы члены о-ва представляли себе совокупность тех общественных отношений, при которых они живут как нечто определенное, целостное, проникнутое таким началом; напротив, масса прилагается бессознательно к этим отношениям и до такой степени не имеет представления о них как об особых исторических общественных отношениях, что напр. объяснение отношений обмена, при которых люди жили многие столетия, было дано лишь за самое последнее время»<sup>1)</sup>.

И эту цитату сторонники «бессознательных намерений» захотят, пожалуй, понять в том смысле, что поскольку-де масса прилагается «бессознательно», то, ясное дело, Ленин был сторонником наличия бессознательной, активно действующей сферы: он ведь устанавливает факт «бессознательной деятельности» массы. Но разве не ясно, что Ленин имел в виду совсем другую «бессознательность»: совершая ряд действий, ставя себе свои цели, масса в итоге вызывает вследствие обстоятельств, вне ее воли лежащих, целый ряд

следствий, которые являются на свет в виде «необходимых», «неизбежных», «объективных». Но это вовсе не значит, что такие необходимые, объективные следствия скрывались в «бессознательной» сфере массы, были «неосознанными», «скрытыми» намерениями ее и внутри руководили ее сознанием, проявившись в этих результатах. Эдсь действуют не «бессознательная сфера», не тайные, неосознанные влечения, гнездящиеся в глубине человеческой психики, вытесненные в «бессознательное», а случайность и необходимость, т.-е. законы, лежащие вне воли, вне сознания, вне организма людей.

В своей работе о Чернышевском Г. В. Плеханов несколько раз употребил термин «бессознательное». Так, говоря об этических и исторических рассуждениях Чернышевского, Плеханов замечает: «Он слишком склонен объяснять исторические события *сознательным расчетом их участников*»<sup>1)</sup>. Сторонники «бессознательного» с ликованием ухватятся за это утверждение. Ведь по их «бессознательной» догматике выходит, что, если Плеханов неодобрительно отзывался о склонности Чернышевского объяснять исторические события «сознательным расчетом их участников», отсюда неумолимо должен быть сделан вывод, что эти самые события объясняются их «бессознательным расчетом». Но, относясь неодобрительно к «рационалистическому» — предрассудку объяснять все исторические события «сознательным расчетом», Плеханов этому «историческому идеализму», согласно которому «*мнение правит миром*» (курсив Плеханова), противопоставлял точку зрения диалектического материализма, который устанавливал, что «исторический ход определяется в последнем счете не человеческой волей, а развитием материальных производительных сил». Следовательно Плеханов, возражая против «рационализма» Чернышевского, считавшего «сознание» рычагом исторических событий, противопоставлял «сознанию» не «бессознательную сферу», но производительные силы.

<sup>1)</sup> Ленин. Собр. соч. Т. I. «Что такое друзья народа» и т. д. Стр. 70.

<sup>1)</sup> Собр. соч. Т. VI. Стр. 311.

«Современный диалектический материализм, — писал он в статье «К 60-й годовщине смерти Гегеля», — несравненно лучше идеализма уяснил себе ту истину, что люди делают историю бессознательно: с его точки зрения исторический ход определяется в последнем счете не человеческой волей, а развитием материальных производительных сил».

«Люди делали и должны были делать свою историю бессознательно, — продолжал Плеханов, — до тех пор, пока двигательные силы исторического развития действовали за их спиной, помимо их сознания»<sup>1)</sup>.

Вот в каком смысле говорил о «бессознательности» исторического процесса марксизм. Перед нами основы социального детерминизма, т.е. обусловленности человеческого поведения материальными, объективными процессами, лежащими вне его воли, вне его сознания, о которых человек может создать неправильное «идеологическое» представление, иллюзии, чувства и т. п. Но «объективные силы», вне его сознания лежащие, заключены не в «бессознательной сфере», не в неудовлетворенной сексуальной энергии, а в общественном процессе, в условиях социальной борьбы, в производственных отношениях.

Мы видим таким образом, что понимать слова: «люди делали и должны были делать свою историю бессознательно» — нельзя понимать в том смысле, что они имели «бессознательные намерения» и эти бессознательные намерения выполняли, создавая историю так, а не иначе. Такое понимание — вздорное, ни в какой мере не является марксистским, противоречит марксизму, извращает марксизм.

Именно в указанном нами смысле писал Плеханов в «Основных вопросах марксизма» о первобытном коммунизме, который возник «сам собой» как бессознательный, т.е. необходимый, результат той организации труда, характер которой от воли людей совсем не зависел» (курсив Плеханова). «Бессознательное» понимается здесь не как проявление «бессознательной сферы», «законспириро-

ванных намерений», таящихся в человеке и не сознаваемых ими, но как необходимость, как сила вещей, диалектика материальных процессов.

\*\*\*

Приведенных примеров, думается, достаточно, чтобы обосновать высказанное выше положение о совершенном принципиальном несходстве понятий «бессознательного», как их употребляют марксизм и фрейдизм. Марксизм никогда не был узко рационалистическим умозрением. Отвергая диктаторскую роль рассудка в историческом процессе, марксизм не выдвигал в качестве «конструктивного» фактора «бессознательную сферу». Подлинным «конструктором», «организатором», «руководителем» деятельности — но обязательно через «сознание» людей — он считал социальный процесс, материальные явления, протекавшие во внешнем мире, обусловленные законами необходимости. «Бессознательное» в социальной жизни марксизм понимает как результат материальных процессов, происходящих вне воли человека и от этой воли независящих.

Оставив в стороне это «общественное бессознательное», вернемся к бессознательному индивидуальному, физиологическому, психологическому. Именно к тому, о котором, собственно, и ведется спор в современном искусствоведении.

### III. Сознание и бессознательное

#### 1

Говоря о «бессознательных» действиях и «бессознательном» мышлении, мы должны строго дифференцировать эти понятия. Наличие рефлексов, целесообразных по своей природе, вызываемых различными раздражителями, удостоверяет факт бессознательного характера многих действий. Но эти бессознательные действия ни в какой мере не удостоверяют существование бессознательных процессов мышления.

Наличие бессознательных действий не вызывает споров. Споры возникают, когда «бессознательность» обнаруживается в процессах мышления. Мы упоминали уже Овсяннико-Куликов-

<sup>1)</sup> Собр. соч. Т. VII. Стр. 54.

ского, придающего бессознательной сфере первенствующее значение в деятельности мысли. «Подавляющее большинство умственных актов совершается именно здесь, — говорит он, — за порогом сознания». Тут-то и возникает спор.

Вопрос о «бессознательном» принимает следовательно такую форму. Психика человека включает в себе, кроме части, которая осознает свою собственную деятельность, познает и обобщает ее и может полагать себе цели, еще часть не освещенную, находящуюся как будто вне руководства, еще недостаточно познанную, но имеющую свои законы, которые и надлежит открыть научному знанию. Для литературоведа центр вопроса состоит в том: оказывается ли эта «непознанная», неподотчетная еще область психики, не поддающаяся контролю и руководству, тем темным подвалом, где происходят творческие процессы, в интересующем нас случае, — художественное мышление? Действительно ли, — как писал Овсянко-Куликовский и с чем согласны все без исключения «интуитивисты», — в деятельности «мысли» первенствующее значение принадлежит именно «бессознательной» сфере? Правда ли, что именно в ней, а не в «сознании» вырабатываются научные, философские, художественные «интуиции», а у гениев — «великие творческие идеи»? Не в том суть, существует ли «бессознательная» деятельность или нет. Вопрос заключается в том, какую роль играет она в творчестве научном и художественном. Кто станет отрицать «бессознательность» врожденных рефлексов, инстинктивных движений? Но ведь одно дело — инстинкты, рефлексы; другое дело — мышление научное и художественное, создание идей и образов! Признать «бессознательность» рефлекторного механизма еще не значит признать «бессознательность» мышления. Иначе говоря, признание существования бессознательной части психики несколько не разрешает вопроса об ее роли в творческой деятельности.

Мы скажем наперед: передавать «руководящее» значение «бессознательному» в жизни человека, это значит ставить вещи головой вниз. Руководство,

целесолагание, координация, управленческие принадлежат «сознанию» и никому больше. Между «сознанием» и «подсознанием» нет даже состояния координации. Напротив. Здесь — ясно выраженное состояние субординации. Подчиненной является именно «бессознательная часть психики». Подчиняющее — именно «сознание». Это не значит, что «сознанию» всегда удается удержаться в «подчинении» бессознательное.

Это трудно уже потому, что, выражаясь словами В. М. Бехтерева, оно остается покуда еще «не подотчетным» сознанию. А раз оно неподотчетно, от него можно ожидать всяких неожиданностей. Иногда «бессознание» именно потому, что от него никто не ожидает сюрпризов, преподносит удивительные вещи. Это несколько не меняет общего положения его «подчиненности», его бессилия оказывать руководящее влияние на душевную жизнь человека. Такое состояние организма, при котором побеждает «бессознательное», т.-е. когда регулирующая, сознающая и управляющая часть сознания оттесняется и является состоянием патологическим, которое изучает психиатрия. Это есть разрушение личности, гибель социальной особи. Сомнамбулизм, лунатизм, различные виды аффекта, при которых сознание затопляется вырвавшимися из-под руководства эмоциями, и тому подобные состояния означают, что человек с выключенным сознанием перестает быть самим собой. Он превращается в безличное «оно», в игрушку стихийных сил, не регулируемых ничем, кроме сплетений биологических и физиологических импульсов. Господствующая организующая роль принадлежит сознанию, единственно ведущему, целесообразному, руководящему началу.

### 3

Бессознательное — обширная область наследственности, инстинктов, автоматических актов, влечений, биологических потребностей, физиологических ощущений, словом, область безусловных рефлексов — может оказывать усиливающее или тормозящее влияние на направление мысли, на характер творчества и конкретные его особенности. Она обуславливает те или иные реакции организма

на внешнюю среду, предопределяет то, что называется темпераментом, психической конституцией человека. Но надо категорически возражать против попыток наградить эту сферу мыслительной способностью, способностью без участия «интеллекта» решать математические задачи, комбинировать идейные сочетания, творить «образы», «угадывать», «проникать», «открывать», «изобретать». Надо категорически возражать против попыток возглавить «бессознательное» «интуицией». «Интуиция», как мы пытаемся показать далее, есть орудие именно сознания, а не бессознательного. «Бессознательная» область не является областью конструктивной деятельности. В ней ничего не «создается» и ничего не «открывается». Она является лишь огромным хранилищем, конденсатором биологического и социального опыта родового и индивидуального. «Бессознание» — слепо. Сознание ставит себе цели. Оно активно, конструктивно. Оно шире интеллекта. Ошибка «рационалистов» в том и заключается, что, говоря о «сознательной» деятельности, они имеют в виду работу изолированной рассудочной способности.

На умышленном «обеднении» сознания, т.е. отождествлении его с «рассудком», и возникают все «интуитивистские» теории, опирающиеся на «бессознательное». Оскопив сознание, ограничив его исключительной способностью «логического», «абстрактного» мышления, превратив его в «рассудок», они, совершенно естественно, источник творческой, конструктивной, богатой красками деятельности ищут за «порогом» сознания. Нередко под «интуицией» вообще понимают совокупность «чувственных познавательных функций», «чувственное мышление», оставляя на долю «сознания» мышление «понятийное», т.е. ограниченное, логическое, математическое.

Изучение творческого процесса вообще, художественного творчества в особенности, убедительно говорит, что, совершаясь при участии интеллекта, оно своими успехами обязано еще другим компонентам человеческой психики. Изолированная рассудочная способность, логическая сила ума, даже выдающегося, взятая сама по себе, бессильна создать живой образ, воспроизвести картину че-

ловеческой жизни, борьбу характеров и страстей, сохранить сложность и глубину человеческих взаимоотношений, краски, запахи, блеск, живость, конкретную материальность, что отличает произведение искусства от отвлеченных произведений рассудка.

Когда сторонники «рационалистических» теорий строят систему воззрений на искусство, опираясь на «рассудок», «интеллект», приписывая ему творческую эффективность психики, они совершают ошибку, принимая часть за целое. Игнорируя многообразие чувственного аппарата, дающего живые ощущения и впечатления, — а в художественном творчестве именно живость, конкретность, неповторимость составляют специфическую особенность, — рационалисты не только не могут объяснить существа художественного опыта, но даже правильно понять его.

С другой стороны, противники рационализма, сенсуалисты и интуитивисты, либо отрицающие, либо признающие за интеллектом известное значение в творческих актах, господствующую роль приписывают именно чувственной сфере, определяя ее разными именами, уделяя ей исключительное, руководящее, всеопределяющее значение. Подобно своим противникам они совершают тот же грех, принимая часть за целое, приписывая «чувственности» генерализующую роль, какую она, изолированная от интеллекта, противопоставляемая ему, не играет на самом деле. Но ведь в бодрствующем, в здоровом организме психическая жизнь едина. Это — целостный процесс, внутренне противоречивый и многообразный. В мышлении, т.е. в познании, научном или художественном равно, наличествуют все силы психики, все его средства и орудия не в качестве изолированных орудий, действующих каждое само по себе, но в качестве сложного комплекса, образующего единое целое, охватывающего внутреннее противоречивое многообразие частей. Творчество не есть работа только «ума» или только «чувств» и не арифметическое сложение их. Творчество есть деятельность самостоятельного «третьего», существующего именно как «единство», как «целостность» творческого сознания.

В живой психической структуре, в каждом психическом акте нет отдельных, изолированных актов «рассудочных» и нет изолированных актов «чувственных». В живой человеческой психике всякий рассудочный акт, всякое проявление интеллекта вырастает из чувственной сферы, питается чувственной сферой и воздействует на чувственную сферу. Всякий чувственный акт, возникая в организме как реакция на внешние и внутренние раздражения, сопровождается интеллектуальным процессом.

Говоря о творческой работе сознания, мы имеем в виду не арифметическое сложение деятельности разных органов. Всякий творческий акт, в котором принимает участие «рассудок» плюс «чувства», является не механическим сложением, но новым качеством, возникающим из того единого целого, которое действует как слитность, целостность, постигающая одновременно с помощью всех входящих в нее сил и средств. Человеческое сознание и представляет собой целостное, т.е. высшее синтетическое единство, включающее в себя многообразие деятельностей всех составных частей психики. Основная функция сознания и заключается в этом синтезировании. В каждый данный момент, как бы краток он ни был, человеческий организм одновременно испытывает множество разнообразнейших ощущений и восприятий, — зрительных, осязательных, вкусовых, звуковых, моторных, внешних и внутренних, ощущений настоящего и воспоминаний прошлого. Одновременно воспринятые, т.е. в одно и то же мгновение отражающиеся в сознании, они складываются не в механическую сумму, но в единое целое. Испытывание этой целостности и есть «Я — сознание», способное ощущать самое себя и противопоставлять себя миру и сливать себя с миром, и полагать себе цели, и вызывать преднамеренные образы, и комбинировать элементы опыта. Внутри этого единства мы находим отдельные способности или силы: способность мышления абстрактного, логического, которую мы называем обычно «рассудком», и способность, дающую конкретные, живые, чувственные ощущения, и способность сохранять

однажды пережитое и комбинировать накопленные элементы памяти, и целый ряд других способностей, сил, функций, которые действуют не каждая в отдельности, за свой страх и риск, как кому вздумается, но стройно, организовано, объединенно. Сознание можно сравнить не с механизмом, а с организмом.

В «мышлении образами» принимает участие не одна лишь чувственная сфера, доставляющая живые, непосредственные ощущения и представления, но также «рассудок», входя в это мышление как органическая часть. С другой стороны, мышление понятийное не есть работа одного «рассудка», изолированного от чувственной сферы. В мышлении образом, где доминирует «чувственный опыт», мы имеем мир в его запахах, красках, в вещной его конкретности и индивидуальности. В мышлении теоретическом, где доминирует понятие, мы имеем тот же мир в его абстрактном виде, в отвлечениях, схемах, аналитических разрезах. Но и то, и другое мышление есть функция сознания как целого, как высшего синтетического единства. Та или иная доля участия, та или иная система равновесия входящих элементов в конце-концов и определяет теоретический или художественный характер мышления. Разные «количества» тех или иных психических компонентов, разные их «пропорции», входящие в «целое», обуславливают то или иное его «качество». Другими словами, то, что мистики обозначают словом «интуиция», «прозрение», «наитие», «откровение», «непосредственное впечатление», есть не что иное, как работа сознания как целого, как «единства». Когда человек в процессе умственного труда привлекает к разрешению задачи часть сил своего сознания, задача может не удасться. Но он добьется успеха, если сумеет мобилизовать все силы сознания, весь набор орудий и средств как интеллектуальных, так и чувственных, когда он научится так управлять и руководить этим набором, чтобы превратить его в единое орудие, умеющее совокупным действием всех входящих в него частей искать, находить и создавать. Вот это уменьшение орудия «совокупностью», психикой как «единством» и

называется часто «интуицией».

К. С. Станиславский в своей известной книге «Моя жизнь в искусстве», дающей множество ценнейших наблюдений для психологии творчества, в одном месте дал описание такого творческого «усилия», которое он сам считает проявлением «интуиции»: «Я познал (т.е. почувствовал), — пишет он, — что творчество есть прежде всего полная сосредоточенность всей духовной и физической природы. Она захватывает не только зрение и слух, но все пять чувств человека. Она захватывает, кроме того, и тело, и мысль, и ум, и волю, и чувство, и память, и воображение. Вся духовная и физическая природа должна быть устремлена при творчестве на то, что происходит в душе изображаемого лица».

Здесь превосходно описан творческий «акт» как концентрация духовных и физических сил. Но этот акт есть не что иное, как творческое усилие «сознания», высочайшее проявление синтетической способности собирать в одном центре, в «Я», все богатства психических и физических механизмов человека.

М. М. Пришвин рассказывал мне однажды о том особенном умении, без которого нельзя быть хорошим стрелком. — Весь секрет в том, — говорил он, — чтобы уловить момент, когда надо спустить курок. Птица на лету; ружье колеблется в руках; нажмешь немного раньше, немного позже — промахнешься. Надо угадать сотую, тысячную секунды, чтобы попасть в точку. Эта «угадка», — объяснял М. М. Пришвин, — дается «интуицией».

А что представляет собой такая «интуиция»? — спрашиваем мы. — Каков механизм «угадывания»? Когда охотник ищет мгновения нажать курок, что происходит с его сознанием? Он собирает в одну точку все свои силы: и рассуждающую, математическую способность ума, и силу зрения, и способность ловить ритм, внутренне отмерять расстояние, вычисляя быстроту лета птицы и колебания руки — словом, всю совокупность чувственных и рациональных способностей. Этим совокупным действием, когда забыт весь остальной мир, когда сконцентрированы в одну точку все психиче-

ские силы, он и находит «момент». Если охотник обладает «тонкой» способностью объединять все свои инструменты в один, если при этом каждый из инструментов в отдельности достаточно тонок и остер — глаз, слух, быстрота мысли, четкость работы моторного аппарата, — он «угадает» момент.

Но ведь перед нами — работа «сознания», перед нами — психический акт, в котором нет ничего «бессознательного» или «подсознательного».

## 4

В искусстве мы имеем то же самое. Слова, брошенные Брюлловым, с легкой руки Льва Толстого ставшие знаменитыми: «искусство начинается там, где есть это «чуть-чуть», — эти слова обозначают лишь умение находить ту самую «точку», о которой мы только-что говорили. Если эту «точку» искать только «интеллектуальным» путем, ничего из поисков не получится. Но стоит привлечь к этой работе не один «рассудок» и не одну «чувственность», не порознь каждого из них, а то общее, единое, целостное психическое усилие, которое характеризует всякий напряженный творческий труд, — результат получится иной. Надо только научиться руководить работой своего сознания. Чтобы создавать произведения искусства, человек должен сначала овладеть особым искусством: управлять своими психическими орудиями так, чтобы они могли стать орудиями искусства.

Почувствовать «образ» как комплекс, как «единство» мыслей и чувств, как синтез идеи и содержания, — это и значит ощутить известную часть мира не «рассудочно» и не «чувственно», но высшим психическим «единством», которое, как неразделимые части, включает в себе и «рассудочный» элемент, и элемент «чувственности». Та или иная высота такой способности, равно как самое богатство способностей могут варьироваться в огромных размерах.

С точки зрения диалектической нет непримиримой противоположности между «алгеброй» и «гармонией», между мыслью и чувством, между понятием и образом. Они существуют в человеческом сознании раздельно и вместе с тем



слитно, как явления устойчивые и в то же время переживающие процессы непрерывных изменений и переходов, связанные между собой, переходящие одно в другое и уступающие место друг другу в зависимости от материала мышления и целей мышления. Диалектический материализм тем и отличается от метафизического материализма XVII—XVIII вв., что преодолевает рационализм этой философии, игнорировавшей чувственный опыт человека. С другой стороны, диалектический материализм преодолевает наивный реализм эмпириков, подчиняя эмпирический, сенсуалистический, чувственный опыт процессу рационализации.

Единство чувственного восприятия и рационального опыта в высшем синтезе, — таков путь диалектического материализма, открывающий плодотворные перспективы эстетической науке, где больше чем в какой-нибудь другой области властвовали либо сенсуалистические, либо рационалистические системы.

\*\*\*

Всего, что сказано выше, разумеется, недостаточно для «развенчания» легенды о «бессознательности» процессов творчества. Эта легенда имеет слишком глубокие корни, чтобы теоретические соображения без труда сумели их вырвать. Пристрастие к «бессознательному», «влечение—род недуга», диктуется не тем или иным предрасположением именно к «бессознательной» трактовке творческого процесса. Само это предрасположение вырастает на «социальной» основе. И теоретические представления о примате в творческом процессе «сознания» или «бессознательного» являются представлениями «идеологическими», т. е. такими, субъективное понимание которых может не совпадать с объективными процессами, которые их продиктовали.

Борьба «за сознание» или «за бессознательное» является лишь одной из форм идеологической борьбы. Она не изолирована от основных установок, защищаемых разными социальными

группировками в классовых столкновениях нашего времени.

И пролетарская, коммунистическая критика, разрабатывая основы марксистско-ленинского литературоведения, эту проблему должна разрешить в первую очередь.

Но поскольку проблема «сознания и творчества» есть проблема не только теоретическая, но и практическая, постольку анализ «творческой практики» должен помочь нам в уяснении теории. Другими словами, от общих соображений о «сознании» и «бессознательном» следует обратиться к самому творчеству и рассмотреть, каковы же пути и средства, с помощью которых осуществляются творческие «изобретения» в искусстве и науке.

Это составит содержание нашей следующей статьи.

Еще несколько слов: отдельные формулировки настоящей работы противоречат некоторым положениям, высказанным в иных из прежних моих статей. Не боюсь такие противоречия констатировать. Настоящая работа пишется не только в порядке критическом, но прежде всего в самокритическом. Я не считаю однако необходимым цитировать самого себя, подробнее комментируя свои обмолвки и ошибки. Я просто пересматриваю их. Результатом такого пересмотра и являются настоящие «очерки». Необходимость критической проверки «основ» науки о литературе не подлежит, разумеется, никакому сомнению. И если настоящие статьи имеют какие-нибудь действительные притязания, последние сводятся лишь к тому, чтобы уважаемые критики, сделавшие своей специальностью бесстыдное извращение моих писаний, делали это с соблюдением хотя бы минимальной пристойности, какой требуют интересы строящейся марксистской науки о литературе.

Вяч. П.

## 2. СОЦИОЛОГИЯ ТВОРЧЕСТВА ТЮТЧЕВА <sup>1)</sup>

Д. Благой

1

Социальное бытие Тютчева образуют два основных напластования.

Поэт Федор Иванович Тютчев принадлежал к старинному и зажиточному дворянскому роду. Видной общественно-политической роли представителя рода Тютчевых, за одним-двумя исключениями, не играли. Отец поэта, дослужившись в гвардии до чина поручика, на двадцать втором году жизни женился на родовитой Е. А. Толстой и вышел в отставку. «Затем, — по словам биографа, — Тютчевы поселились в Орловской деревне (в селе Овстуге, здесь и родился в 1803 г. будущий поэт. — Д. Б.), на зиму переезжали в Москву, где имели собственные дома и подмосковную, — одним словом зажили тем известным образом жизни, которым жилось тогда привольно и мирно почти всему русскому зажиточному, досужему дворянству, не принадлежавшему к чиновной аристократии и не озабоченному государственною службою».

Архаическая экономика семьи Тютчевых, принадлежавшей к тому помещично-дворянскому слою, который стоял вне линий общего экономического развития, мирно, «по-старинке» проживая свои крепостные доходы, обуславливала архаичность ее идеологии и особую старозаветность, «патриархальность» быта. Одним из главных устоев этого быта была религия. Другим устоем была крепкая семейная спайка Тютчевых, бывших для современников живым воплощением «семейственного счастья», уюта и патриархальной «прототы».

Усадебный патриархально-дворянский мир, вековой, неподвижный стародворянский уклад, — «предание и обычай», — такова была та социальная атмосфера, в которой проходило детство Тютчева.

Надежного охранителя и пестуна стародворянских традиций родители Тютчева нашли в лице воспитателя их Феденьки, поэта Раича. Раич был жи-

вым выходцем из архаического XVIII века. Представитель «высоких» традиций классической школы, Раич отрицательно относился к Пушкину, «унизившему», по его представлению, эти традиции. На поэзию он смотрел, как на «язык богов». Брать гонорар за поэтическое творчество почитал святотатством. Правда, в жизнь Тютчева уже в родительском доме врывалась некая свежая струя. Пятнадцати лет Тютчев, с детства отличавшийся исключительной пытливостью мысли и выдающимися способностями, поступил на словесное отделение Московского университета. Но и университет в то время носил выраженно-классовый характер. На словесном отделении основной тон задавал поэт и профессор Мерзляков, являвшийся в то время одним из главных столпов классицизма. С рук на руки Мерзлякову и сдал своего воспитанника Раич. Университет был окном, распахнувшимся из архаического, барского особняка Тютчевых, но распахнулось это окно на улицы той же патриархальной стародворянской Москвы.

Резкий разрыв Тютчева с патриархально-дворянским укладом произошел несколько позднее. Вскоре по окончании университета, в 1822 году, поэт уехал в Германию служить при русской дипломатической миссии в столице Баварии, Мюнхене. За границей, главным образом в Мюнхене, за исключением немногочисленных приездов на короткое время в отпуск, в Россию, Тютчев провел двадцать два года. Здесь, по его собственным словам, «расцвел великий праздник» его молодости: здесь он развился, созрел в человека и поэта.

Мюнхен эпохи двадцатых годов прошлого века был одним из самых оживленных политических и культурных европейских центров. Деятельность «просвещенного абсолюта», Людвига I, направлялась стремлением превратить старинный город средневековой Германской империи в «немецкие Афины» новой буржуазной Европы. Из феодально-усадебной орловской глуши, из старозаветного барского особняка патриархальной грибоедовской Москвы Тютчев попал в кипучий котел новой буржуаз-

<sup>1)</sup> Настоящая статья является частью моей работы о Тютчеве, печатающейся в сборнике «Тютчев и его время». Изд-во „Academia“.

но-капиталистической цивилизации, из глухого «средневековья» — «византийско-русского мира» (определение самим Тютчевым стародворянского быта его родительского дома) — в бурный и стремительный языческий «ренессанс».

Дух перемены, коренной ломки во всех областях пережитков средневековых идей и отношений, столь противоположный неподвижному, косным формам феодально-дворянской России — «византийско-русского мира», — охватывает поэта в Мюнхене со всех сторон, веет над всеми его столкновениями, встречами и впечатлениями от людей и событий Европы. Высшим выражением этого духа перемены была революция. На протяжении всего XIX века революция становится одним из основных двигателей европейской действительности. Под знаком готовящейся, происходящей или побежденной революции (периоды реакции) протекает вся жизнь большинства европейских государств. Не считая восстания декабристов, «несчастного бунта 14 декабря» (слова Пушкина), при жизни Тютчева произошли три больших европейских революции: июльская революция 1830 года, революционные взрывы 1848 года, наконец Парижская коммуна 1871 года.

«Византийско-русский мир», патриархальный стародворянский уклад и новая буржуазная Европа — революция — были двумя полюсами той социальной действительности, в которой протекала личная жизнь Тютчева и складывалась его психондеология: «билось полное тревоги» сердце поэта, трепетала «жилица двух миров» — его «вещая душа». Двойным выражением этого единого трепета была, с одной стороны, лирика Тютчева, с другой — его политические статьи и стихи.

## 2

Соответственно двум началам социального бытия Тютчева в его поэзии сталкиваются и вступают в своеобразное синтетическое сочетание две мощных стиливых струи: Тютчев начинает свою поэтическую деятельность на основе «высокой» архаической традиции русской классической поэзии XVIII века (Ломоносов, Державин и их последователи); вскоре по переезде за границу, в Германию, Тютчев испытывает глубочай-

шее воздействие новоевропейской литературной школы — немецкого романтизма.

В оде «Уралия», прочитанной студентом Тютчевым на торжественном годовичном собрании Московского университета в 1820 г., поэт — целиком во власти классической тематики и стиля. В оде им воспевается традиционный «космос» классицизма, воплощенная, принявшая определенившиеся, законченные формы социально-историческая действительность, «светозарный день», осуществленная «гармония» отстоявшегося классово-дворянского строя, иерархия «вышних сил», создавших и поддерживающих этот строй, — от верности, любви к отчизне и доблести (достоиние дворянства) до терпения и труда (удел «низших» слоев), — которые поэт заставляет толпиться вокруг «алтаря» и «трона», «связывать» и «поддерживать» «златыми цепями» огромное целое феодально-крепостнической Российской империи. Поэт чувствует себя общником, органической частью этого целого, наследником «Российского Пиндара» и «певца Фелицы», призванным по их следам восславить современное ему царствование «царя сердец» — Александра I.

Однако вскоре после переселения Тютчева в Германию связь эта разрывается. В поэзии Тютчева начинает звучать настойчивый мотив ухода от «домашних очагов», выпадения из «отцовского» мира, из классического космоса, — романтический апофеоз «странничества», «скитальчества» («Странник»).

Около этого времени Тютчев переводит с немецкого отрывок «Байрона». В нем нарисован во весь рост тот же романтический образ поэта — «вечного странника», уносимого «вихрем судьбы», «беглеца родного края», «покинувшего обитель отцов», «изменившего отцовским ларам». Во власти такого же непреодолимого «вихря», вырывающего из недр быта, уюта семьи, отторгающего от всяческих привязанностей, ощущает себя и сам Тютчев. Вскоре после «Байрона» поэт пишет стихотворение «Из края в край...» — этот выразительнейший *marche funébre* скитаний, в котором сожаление и тоска по остающему «милому душе» поглощаются

неудержимым стремлением, — «вперед! вперед!» — мрачной героикой обреченности.

Удел вечного скитальца Байрона близок и понятен поэту. Однако «ленивый», «бессильный волею», апатично-созерцательный характер Тютчева, вскормленный медленной, неактивной русской усадебной действительностью, не имеет ничего общего с воинствующим темпераментом потомка английских крестоносцев. Действенному и мятежному романтизму «восторженного хулителя мироздания», питомца «бурь и мятежей», «орла» Байрона Тютчев сочувственно противопоставляет другой тип романтизма, символом которого является излюбленный немецкими романтиками образ «Лебедя», — пассивный и мечтательный романтизм полного слияния с природой, мистических «всезрящих снов», одиноких «звездных» очарований («Лебедь»).

Между четырьмя только-что упомянутыми нами стихотворениями, написанными Тютчевым в Германии, существует тесная связь образов (образ «мятущего вихря» в отрывке «Байрон» и в стихотворении «Из края в край...», образы орла и лебедя в их противопоставлении друг другу в «Байроне» и «Лебедь» и т. д.). Непосредственным толчком к созданию всех их послужили произведения немецкой романтической поэзии.

Вместе с тем «Из края в край...» и «Лебедь» принадлежат к лучшим образцам тютчевской лирики. Неполная самостоятельность обоих этих стихотворений свидетельствует о том глубоко органическом характере, который имело воздействие на Тютчева тематики немецкого романтизма. Но следуя в основном романтической тематике, Тютчев вносит в нее некоторые специфически свои мотивы, сообщает ей специфическую окраску.

Под влиянием социально-общественных, философских и литературных воздействий нового буржуазного Запада патриархальное мироощущение певца «Урании», чувствующего себя неразрывной частью своего большого целого, голосом коллектива, его золотой лирой, сменяется в Тютчеве крайним индивидуализмом. Поэт отныне резко противопоставляет чуждой и враждебной ему «бесчувственной толпе» («В толпе людей, в нескромном шуме дня...», «Ты знал

его в кругу большого света...» и др.). Однако в то же время индивидуализм Тютчева — порождение европейской буржуазной культуры — наполняется в его поэзии особым содержанием, подсказанным переживаниями представителя нисходящего русского дворянства. Выпавший из прошлого, из «отеческого» стародворянского быта, Тютчев чужд «новому младому племени» — новым социальным формациям европейской современности. В окружающей его социальной действительности он ощущает себя «обломком прежних поколений», «сирой», «полусонной тенью», обреченной «брести за новым племенем», одиноким засохшим листом, случайно уцелевшим на «докучной» ветке обнаженного осенью леса («Как птичка с раннею зарей...», «Листья», «Бессонница» — «Часов однообразный бой...» и др.). В ряде стихотворений поэтом декларируется полная отъединенность от современной жизни, от «буйной години» настоящего, полная погруженность в себя, в «святилище души», — единственной хранилищницы прошлого, — в «царство милых теней», «безмолвных, светлых и прекрасных» призраков «великого, славного былого»:

Душа моя — элизум теней,  
Теней безмолвных, светлых и прекрасных,  
Ни замыслам години буйной сей,  
Ни радостям, ни горю не причастных.

Душа моя — элизум теней!  
Что общего меж жизнью и тобою?  
Меж вами, призраки минувших лучших дней,

И сей бесчувственной толпою?

Отвечая на вопрос, обращаемый поэтом к своей душе, — «Что общего меж жизнью и тобою?», — как бы является знаменитое «Silentium!». В «Silentium!» Тютчев утверждает полное отсутствие какой бы то ни было общности между ним и окружающей человеческой жизнью, призывает порвать все связи с внешней действительностью, замкнуться «в самом себе», в своей внутренней вселенной, дать обет «безмолвия». Еще острее эти настроения полной отъединенности выражены в стихотворении «Душа хотела бы быть звездой...», в котором высказывается парадоксальное желание «гореть в незримом эфире» невидимой с земли «дневной» звездой. «Гореть», подобно «божествам», «сиять» над ми-

ром в качестве некоего «светозарного бога» («Ты зрел его в кругу большого света...») таков удел, о котором мечтает поэт для одинокого человеческого «Я».

Однако на ряду с предельным возвеличением, почти «обожанием» своего «светозарного» «Я», оторвавшийся от классового - общественного коллектива, «покинутый на самого себя», поэт с особенной болезненностью ощущает все великое «сиротство», всю слабость, хрупкость, мимолетность, беспомощность отъединенного «бездомного» человеческого существования, ограниченно по самой своей природе («Проблеск», «С поляны коршун поднялся...», «Святая ночь на небосклон взошла...», «Бессонница» и мн. др.) и беззащитного перед лицом «стихийной вражьей силы» — внешних и внутренних процессов распада, разрушения. Все это порождает величайший пессимизм созерцаний Тютчева. Глядя на весенние льдины, тающие и исчезающие в «бездне роковой», поэт с горечью вопрошает себя: «О, нашей мысли обольщенье, ты — человеческое «Я» — не таково ль твое значенье, не такова ль судьба твоя?» («Смотри как на речном просторе...»). Человек — «быстро вянувший» «земной знак» («Сижу задумчив и один...»). Жизнь человеческая даже «не дым», а нечто еще более призрачное, ускользающее — «тень от дыма». Человеческая «мысль», «таинственно-волшебный» мир дум, всецело погружаться в который призывал поэт, на самом деле — всего лишь «призрак тревожно-пустой», «нигилистическая» «огнецветная пыль» («Дума за думой...», «Фонтан» и др.).

На помощь «бездомному сироте» — юэту — приходит романтический филолог Шеллинг с ее учением о «тождестве» внешнего и внутреннего мира — природы и человеческого «Я». Этим объясняется та жадность, с которой Тютчев проникается шеллингианством, преворая метафизические умозрения учителя в непосредственное «чувство мира», в ощущение действительности, в живую художественную плоть своих стихов.

От чуждого людского коллектива, от губительного «сиротства» души, в поисках чего-то более прочного, долговечного, нежели мимолетное и немощное

человеческое существование, поэт-шеллингианец устремляется в широкую всеобщую жизнь, в «божественный» плен природы. На ряду с призывом уйти от людей, погрузиться в глубь своего «Я», раздаются призывы «отвергнуть чувств обман», растворить свою «частную жизнь» в «животворном океане» жизни природной («Как ни гнетет рука судьбины...» и др.).

Лирика природы занимает в творчестве Тютчева исключительно видное место. Поэтическое мастерство поэта раскрывается в его «пейзажах в стихах» с особой силой. В обращении к природе, в чрезвычайно обостренном чувстве природы одновременно сказываются и исконная усадебная стихия Тютчева и последующий отрыв от нее поэта. Из «чадного», «беспокойного града» с его «шумным, уличным движеньем», «тускло-рдяным освещеньем» и «безумными толпами», со «знойной» и «жесткой» городской мостовой («Кончен пир, умолкли хоры...», «Пошли, господь, свою отраду...») поэт естественно порывается в столь близкий, с детства привычный ему «цветущий мир природы» — мир рощ, дубрав, полей и «безмолвных» нив, «убеленных лунной», озаренных «таинственным» «сумрачным» светом «непорочных» звезд.

В своем известном стихотворении «Итак, опять увиделся я с вами...», написанном Тютчевым в сороковых годах, по возвращении его в Россию, поэт отрекается от «немилой» усадебной родины. Однако несомненно, что в основе исключительно развитого в нем «чувства природы» лежат именно детские усадебные впечатления. Характерен в этом отношении восторг, с каким встретил Тютчев тургеневские «Записки охотника», пленившие его изображением природы той самой Орловской губернии и ее ближайшего окружения, в которой находится родовая усадьба Тютчевых, село Овстуг. Вместе с тем природа самого Тютчева, за исключением немногих стихотворений, главным образом позднейшего периода, совершенно лишена специфических черт, свойственных не только природе Орловской губернии, но и русской природе вообще. В тех редких случаях, когда природа Тютчева наделена конкретными признаками, она выступает как природа

швейцарских озер или итальянских побережий. Если природный мир Фета — мир «землеладельца средней полосы России», природа Тютчева — природа туриста, путешественника, посетителя прославленных европейских курортов.

Чаще же всего Тютчев живописует природу вообще, сосредоточивается на изображении «общеприродных» явлений и процессов, не связанных ни с какой конкретной обстановкой. Его солнечные восходы, вечерние сумерки, грозы, радуги могут «благовестить лучами», «проливаться на мир», «грохотать», «изнемогать в высоте» почти в любом месте земного шара, под любой географической широтой.

Обобщенно-идеальный характер природы Тютчева зависит от того, что он воспринимает ее не извне, как некую объективную данность, а в духе философии Шеллинга, как бы изнутри. Одиноким среди людей, Тютчев ищет мистического союза с «душой» природы, примышляя ей эту душу, проицируя в нее свои собственные внутренние состояния. Природа Тютчева — «не слепок, не бездушный лик» (см. программное стихотворение «Не то, что мните вы, природа...»). В ней дышит та же жизнь, которую человек ощущает в себе, но только безмерно более могучая — «божески-всемирная». Перед лицом этой вселенской жизни «частное» человеческое существование только «обман чувств», «греза природы». В живом общении, полном слиянии с «безбрежным океаном» жизни природной — не только спасение против немощей и печалей одинокого и ограниченного человеческого «Я», но и средство для поэта-индивидуалиста расширить себя без меры, включить, вобрать в себя всю вселенную. И Тютчев знает такие состояния. Поэту-романтику дано испытать «мгновения» экстаза, когда «небо протекает по жилам», когда «всё во мне, и я во всем» («Проблеск», «Сумерки», «Так в жизни есть мгновения...» и др.) Но это именно только мгновения. Таким же «обманом чувств», как отдельное человеческое «Я», оказывается через некоторое время для Тютчева и сама природа.

Поэт, современник «революционной эры», в которую, по его представлениям, вступил, начиная с июльской ре-

волюции 1830 года, весь европейский мир, остро переживал распад, гибель старого феодально-аристократического уклада. Он ощущал себя человеком «заката», которого застигла в пути «тьма», — «ночь» разрушающейся, падающей культуры, — который «посетил сей мир в его минуты роковые» — «минуты страшных переворотов», предвещающих «конец мира или по крайней мере начало конца», в эпоху «крушения всего земного», «в век, когда всё гуще сходят тени на одичалый мир земной» («Цицерон», «Памяти М. К. Политковской», Письма). То же трагическое мироощущение вносит Тютчев и в свое восприятие природы. Свойственное ранним стихам Тютчева переживание действительности как «гармонии», как мирового «строя», «порядка» сменяется прямо противоположной новой картиной мира. Тема «хаоса», столь характерная, основная для стихов позднейшего Тютчева, возникает впервые уже в «Урании». Но здесь «хаос» еще бессилен. Говоря о гибели Рима, падении античной культуры, поэт пишет: «Денница света закатилась, везде хаос и мрак...», но сейчас же перебивает себя: «Нет! — вечен свет наук, его не обнимает бунтующая мгла...». «Светозарный», «дневной» строй «Урании» не одолеть «злоствующему аду», «бунтующей мгле», «хаосу и мраку» — разрушительным природным и социальным силам.

Образ классического космоса — «сады-лабиринфы, чертоги, столпы» — возникает снова в одном из наиболее значительных стихотворений зрелого Тютчева «Сон на море». Но теперь этот развертывающийся на «высях творенья» дневной «блистательный» мир кажется поэту только «мгновенным» «радужным виденьем», «золотым ковром над бездной», «сном», «болезненным бредом», сквозь который прорывается подлинная мировая сущность — «грохот и гром» «безымянной бездны», бушующей «беспредельности». Если в «Урании» день торжествовал над ночью: «Где прежде мрачна ночь была, там светозарно дня явление», — по новому представлению поэта, все происходит как раз наоборот. Дневная природа — «златотканый покров», «легкая ткань», прикрывающая подлинный

мировой лик — лик «темной пропасти», смерти, ночной «бездны». Уже в двадцатые годы поэт характерно обращает мысли к «последнему часу природы», к временам «последнего катаклизма»:

Когда пробьет последний час природы,  
Состав частей разрушится земных:  
Всё зримое опять покроют воды,  
И божий лик изобразится в них.

В тридцатые и сороковые годы «состав частей земных» разрушается в сознании и восприятии Тютчева ежедневно:

На мир таинственных духов —  
Над этой бездной безымянной,  
Покров наброшен златотканый  
Высокой волею богов...  
День — сей блистательный покров —  
День, земнородных оживленье,  
Души болящей исцеленье,  
Друг человеков и богов!

Но меркнет день — настала ночь —  
Пришла и с мира рокового  
Ткань благодатную покрыва,  
Сорвав, отбрасывает прочь...  
И бездна нам обнажена  
С своими страхами и мглами,  
И нет преград меж ней и нами —  
Вот отчего нам ночь страшна!

Стихотворение это под названием «День и ночь» было опубликовано поэтом в 1839 г. Через десять с лишним лет, в 1850 г., Тютчев печатает другое стихотворение («Святая ночь на небосклон взошла...»), в котором те же образы и мотивы повторяются с буквальной точностью, — разительное доказательство того, что новое и столь парадоксальное восприятие действительности, с которым мы встречаемся в «Дне и ночи», не было в Тютчеве плодом мимолетного настроения поэта-импрессиониста.

Космос классицизма развоплощается. В мир «пышно-золотого дня» — мир красок, линий и форм, пластики и архитектуры — вторгается «вой ночного ветра», «безумные» и «ненстовые звуки», «грохот пучины», «песни хаоса» — музыка разрушения, гибели. Что в природе, то и в человеке. Ощущениями распада, разрушения проникнуто не только восприятие Тютчевым «внешнего мира», но и его «самосознание» (в рукописи так и было названо Тютчевым его стихотворение «Святая ночь...»). В человеческой душе разверзается та же «бездна», «шевелится» тот

же «родимый хаос», дышит та же «мятежная», «злая жизнь» («Итальянская вилла» и др.). И «злое», «хаотическое» непобедимо притягивает к себе поэта. «Страшные песни» хаоса являются для него «любимой повестью» («О чем ты воешь, ветер ночной?..»). Гипертрофированное одинокое «Я» поэта, изнемогая под своим собственным бременем, мечтает о «мгле самозабвения», «жадно» влечется к самоуничтожению. Поэт жаждет слиться с беспредельным хаотическим началом, «потопить» в нем «всю свою душу» («Как хорошо ты, о море ночное...», «Сумерки»). Он любит зло — «Люблю сие незримо во всем разлитое таинственное Зло...» («Mal'aria»). В любви его влечет к себе то же злое, хаотическое, «буйно-слепое» начало — «стенания» и «бунт крови», «угрюмый, тусклый огонь желанья» («Люблю глаза твои, мой друг...»). В своей любовной лирике он воспекает убийственную, губящую плотскую страсть («О, как убийственно мы любим...», «Предопределение», «Не верь, не верь поэту» и др.) и «самоубийство» — двух «кровных» близнецов, обвораживающих его своим равно «ужасным» обаянием («Близнецы»).

Такое же высокое зрелище торжествующего хаоса, как природа и человеческая душа, являет Тютчеву история и политика. В современной Тютчеву социально-исторической действительности поэт ощущает те же «ветры и волны», которые «воют» и «гремят» в его лирических стихах. В ней бушует тот же «ужасный вихрь, в котором погибает мир» (определение Тютчевым революции), вихрь, который самого поэта увлек от «домашних очагов», «сорвал с родимого сучка» «отцовского», стародворянского уклада. «Мир рушится» — гвердит Тютчев в своих письмах. «Запад исчезает, всё рушится, всё гибнет в этом общем воспламенении, — утверждает он в центральной из своих политических статей «Россия и революция», написанной им в 1848 г., — Европа Карла Великого и Европа трактатов 1815 г., римское папство и все западные королевства, католицизм и протестантизм, вера, уже давно утраченная, и разум, доведенный до бессмыслия, порядок, отныне немислимый, свобода, отныне невозможная, и над всеми этими развали-

нами, ею же созданными, цивилизация, убивающая себя собственными руками...»

И подобно тому, как хаотическое в природе и в человеческой душе неудержимо притягивает к себе поэта, — род экстаза порождает в нем и «самоубийство» староевропейской цивилизации, «роковое стремление к саморазрушению» — зрелище хаотического в истории. Ярким выражением этого экстаза является знаменитое стихотворение «Цицерон», написанное Тютчевым в 1830 году и явно подсказанное июльской революцией, которая, как мы уже сказали, была для поэта сигналом, возвещавшим «наступление революционной эры» в Европе:

Оратор римский говорил  
Средь бурь гражданских и тревоги:  
«Я поздно встал и на дороге  
Застигнут ночью Рима был».  
Так: но, прощаясь с римской славой,  
С Капитолийской высоты  
Во всем величье видел ты  
Закат звезды его кровавой...

Блажен, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые:  
Его призвали всеблагие,  
Как собеседника на пир.  
Он их высоких зрелищ зритель,  
Он в их совет допущен был,  
И заживо, как небожитель,  
Из чаши их бессмертье пил.

Однако в высокое зрелище всеобщей гибели старого мира рождает в Тютчеве, помимо декадентского «упоения гибелью», и другие настроения и чувства.

Тезой жизни и творчества Тютчева был стародворянский усадебный уклад, — классическая литературная традиция. Антитезой было выпадение из этого уклада — воздействие романтизма, немецкой «разрушительной философии». «Шестьдесят лет разрушительной философии, — пишет Тютчев о Германии, — совершенно сокрушили в ней все христианские верования и развили в этом отрицании всякой веры первейшее революционное чувство: высокомерие ума» (статья «Россия и революция» 1848 г.). Через два года, в 1850 г., он снова повторяет в письме к неизвестному: «Да, надо иметь мужество сознаться в том, что литература, философия, — всё это предание современной мысли, вся эта умственная среда, в которой наши умы, так сказать, зачаты, выросли и жили, — всё это пришло и неиз-

бежно должно было притти к... отрицанию самого принципа власти между людьми», т. е. к «революции *par excellence*» (по преимуществу). Философско-политическое мировоззрение Тютчева, выработанное им в тридцатые и сороковые годы и выразившееся в его политических статьях и стихах, представляет собою некий синтез: стародворянскую реакцию на буржуазно-революционный Запад, на разрушительное действие романтики.

Романтическое восприятие действительности явило мир одинаково обреченным во всех его областях — в природе, человеке, наконец в человечестве, в истории. Практика романтизма в личной жизни привела Тютчева к расстройству его общественного положения — к служебной катастрофе. Исправляя должность русского посла в Сардинии, Тютчев, как известно, совершил «поэтическую вольность»: несмотря на то, что ему было отказано в отпуске, поэт, бросив посольство, уехал без разрешения в Швейцарию венчаться со своей будущей второй женой (венчаться на месте, в Турине, было неудобно: со дня трагической гибели первой жены поэта не протекло года). Результатом самовольной отлучки Тютчева было увольнение его со службы и лишение придворного звания. В 40-е годы в Тютчеве сказывается стремление упрочить личную жизнь и упорядочить свое социально-общественное положение — вернуться на службу. Одновременно с этим Тютчев ищет выхода из трагического пессимизма своего мировосприятия. В одном из писем незадолго до смерти Тютчев писал: «Человек, лишенный известных верований, преданный на растерзания реальностям жизни, не может испытывать иного состояния, кроме непрекращающейся судороги бешенства». Еще в мюнхенский период, в конце двадцатых годов, будучи весь во власти романтической философии Шеллинга, он однако заявлял последнему: «Нужно или склонить колени перед безумием креста, или всё отрицать». В противовес «всё отрицающей» Европе перед Тютчевым из смутного полузабытого мира детских воспоминаний, оживляемых редкими посещениями старого родительского дома, возникал спасительный образ «православной» России, всплывающей «святым



ковчегом» над волнами всеобщего европейского затопления (заключительные строки «России и революции»). В письме начала сороковых годов Тютчев рассказывает о проводах его из Москвы родителями: «В день моего отъезда, который пришелся в воскресенье, была обедня, а после обедни неизбежный молебен, затем посещение одной из самых чтимых в Москве часовен, где находится чудотворная икона Иверской божьей матери. Одним словом, всё произошло согласно с порядками самого взыскательного православия... Ну что же? Для человека, который приобретает к ним только мимоходом и в меру своего удобства, есть в этих формах, так глубоко исторических, в этом мире византийско-русском, где жизнь и верослужение составляют одно, в этом мире столь древнем, что даже Рим в сравнении с ним пахнет новизной, есть во всем этом для человека, снабженного чутьем для подобных явлений, величие поэзии необычайное...»

Внутренняя жизнь Тютчева была, по его собственным неоднократным признаниям, судорогой если не бешенства, то «ужасной», «невыносимой», «отчаянной» тоски. «Чувства тоски и ужаса уже много лет как стали обычным моим душевным состоянием», жалуется он жене в 1855 году. «Тоска, — подтверждает биограф-очевидец, — составляла как бы основной тон всей его поэзии и всего его нравственного существа». Лирика Тютчева была в конечном счете проникнута всеобщим отрицанием. В поисках исхода из этих отрицания и тоски Тютчев «склоняет колени перед безумием креста», обращается к старым детским верованиям, к православному преданию, к исполненному для него «величия поэзии необычайного» древнему «византийско-русскому миру». Возвращение поэта в 1845 году, после двадцатидвухлетнего пребывания за границей, навсегда в Россию — не случайный биографический факт. Возврат «бездомного сироты» Тютчева в Россию, к «отцовским ларам», диктуется всем ходом и диалектикой внутреннего развития поэта. В русской николаевской действительности, в ее «неподвижных», «неизменных», «глубоко-исторических» формах и положительных верованиях ищет он спасения от «разрушительной философии», от ро-

мантического «нигилизма» бурно меняющегося буржуазно-революционного Запада.

Последующие политические события европейской жизни словно бы целиком оправдали прогноз о наступлении мировой революционной эры, поставленный Тютчевым в 1830 г. 1848 год потряс оглушительными революционными взрывами ряд стран Западной Европы. «Февральские, мартовские и апрельские дни, — вспоминает близкий друг Тютчева поэт кн. Вяземский, — возбудили и подвигли всё его нравственное существо». По словам кн. Вяземского, он был прямо «болен за Тютчева», боясь, что поэт «изнеможет под тяжестью впечатлений». Опасения кн. Вяземского были напрасны. События 1848 года не только не повели к «изнеможению» Тютчева, но, наоборот, послужили могучим толчком, возбудившим до крайних пределов его философско-политическую мысль и начавшее было угасать поэтическое творчество.

Непосредственным откликом Тютчева на современные европейские события является стихотворение «Море и утес». Стихотворение это образует мост, соединяющий лирику Тютчева с его политическими стихами и статьями, которые в свою очередь как бы дают лучший к ней социологический автокомментарий. «Море и утес» является одним из признанных лирических перлов поэзии Тютчева, в то же время не подлежат ни малейшему сомнению его политический генезис и резкая политическая тенденция (в «Современнике» 1854 г. стихотворение прямо напечатано под заглавием «Море и утес 1848 года»).

В подсказанных романтической традицией образах и звуках «Моря и утеса» возвращается уже знакомая нам тема «Урании» — тема «светозарного дня», которого «не одолеть бунтующей мгле». Волны европейского хаоса, европейской революции разбиваются о несокрушимые граниты николаевской империи. Пространным комментарием к этому стихотворению может служить написанная тогда же основная из политических статей Тютчева «Россия и революция». «Антихристианский» Запад, по мысли Тютчева, находится в полном подчинении у

революционной стихии. Революция представляет, по Тютчеву, логическое завершение, «последнее слово» «западной цивилизации» (в частности «католицизма»), сущностью, «душой» которой было предельное развитие личного начала — «самовластие», «абсолютизм человеческой воли», «обоготворение человека человеком», «апофеоз человеческого «Я» в самом буквальном смысле слова» (в католицизме — обожествление власти папы). «Основное учение, то новое учение, которое революция внесла в мир, — рассуждает Тютчев, — это очевидно учение о верховной власти народа. А что такое верховная власть народа, как не верховенство человеческого «Я», помноженного на огромное число, т. е. опирающегося на силу». «Революция, — снова повторяет Тютчев, — есть не что иное, как апофеоз человеческого «Я», достигшего до своего полнейшего расцвета» (статья «Папство и римский вопрос с русской точки зрения», 1849 г.). На Западе, по наблюдениям Тютчева, нет ни одного элемента, не пропитанного революцией. Единственной силой, способной противостоять революционному Западу, является христианская Россия, но не высшие классы общества, эта «подкладка Запада», усвоившая европейский образ мыслей и чувств, а «край русского народа», Россия крестьянская, край «смиренья», «долготерпенья» и самопожертвования, по преимуществу, — основных добродетелей, которыми держится «мирозданью современный» строй «Урании», «византийско-русский мир», «глубоко исторический» стародворянский уклад. Христианская православная Россия призвана утвердить священный средневековый принцип имперской власти, низвергнутый революцией, основать «вселенскую монархию», «великую гоеко-российскую восточную империю». Отсюда — неизбежность борьбы между Россией и революционной Европой, «борьбы не на живот, а на смерть» («combat à mort»). «Давно уже в Европе существуют только две действительные силы — революция и Россия, — начинает Тютчев свою статью 1848 г. — Эти две силы теперь противопоставлены одна другой, и, быть может, завтра они вступят в борьбу. Между ними никакие переговоры, никакие трактаты невозможны: существование одной из них рав-

носильно смерти другой. От исхода борьбы, возникшей между ними, величайшей борьбы, какой когда-либо мир был свидетелем, зависит на многие века вся политическая и религиозная будущность человечества». Из этой концепции вытекает и «славянофильство» Тютчева в узком смысле этого слова, его симпатии к «братьям-славянам»: в православных славянских народностях Тютчев видит естественных союзников в предстоящей России «роковой» и «неизбежной» борьбе со всей Европой. Таково в существенных чертах философско-политическое мирозерцание Тютчева, этот, говоря языком его же образов, «златотканый» византийско-русский «ковер», которым поэт пытается закрыть разверзшуюся под его ногами зияющую «бездну» буржуазно-индивидуалистического запада, «хаос» революции<sup>1)</sup>.

Однако силы, против которых борется Тютчев-идеолог и Тютчев-политик, являются теми самыми силами, во власти которых находится Тютчев, лирик-романтик. В тридцатые годы Тютчев обращается к давно умершему Наполеону со следующим патетическим пятистишьем:

Сын революции! Ты с матерью ужасной  
Отважно в бой вступил и изнемог в борьбе:  
Не одолел ее твой гений самовластный!..  
Бой невозможный, труд напрасный:  
Ты всю ее носил в себе!..

Стихотворение это, вероятно, помимо воли и сознания поэта, — насквозь автopsихологично. «Принцип личности, доведенный до какого-то болезненного неистовства, — вот чем мы все поражены, все без исключения» — признается сам он. Слова, обращенные им к Наполеону, можно с буквальной точностью отнести

<sup>1)</sup> Само собой разумеется, что ни о каком «имманентном» в обычном представлении развитии философско-политического мирозерцания Тютчева не может быть и речи. Политические построения Тютчева конечно не вырастали в некоем безвоздушном пространстве, в наглухо запертом «внутреннем» мире поэта, а складывались под непосредственным давлением конкретной и социально-исторической действительности. В частности конечно не случайно полное совпадение учения Тютчева о «всемирной империи», которую, по его чаяниям, суждено основать Россия с реальным буржуазно-дворянским империализмом времени Николая I и Александра II.

к самому Тютчеву. Он сам «носил в себе» начала того индивидуализма и хаоса, которым объявил «невозможный бой» в своих политических статьях и стихах. Отсюда то «страшное раздвоение», которое ощущает в себе Тютчев и следы которого носят многие его произведения. Так, незадолго до смерти он пишет стихотворное послание к Тургеневу в связи с выходом в свет романа последнего «Дым». В послании Тютчев решительно высказывается против пессимистической оценки, даваемой русской действительности автором «Дыма». Поэт выражает надежду, что «чары», под власть которых попал Тургенев, рассеются, и в его творчестве снова зазеленеет столь восхитивший его в нем некогда «могучий и прекрасный» «родной лес» — усадебная, деревенская Россия «Записок охотника» и «Дворянского гнезда». Между тем мы ведь знаем, что сам Тютчев в одном из своих прежних стихов приравнивал человеческую жизнь «тени от дыма» («Как дымный столп...»). Тургенев восхищался меткостью этого сравнения, цитировал его в письмах. Возможно, что именно этим сравнением и были подсказаны автору «Дыма» название и основной образ-символ его романа, в котором тютчевское общее созерцание действительности применяется к частному случаю — к жизни современной России. Ополчаясь в своем послании на Тургенева, Тютчев-идеолог и политический мыслитель в сущности воюет в нем против Тютчева-художника.

Стихи о жизни, как «тени дыма», отделены от послания к Тургеневу почти двумя десятилетиями. В уже упоминавшемся нами стихотворении «Море и утес» идеолог сталкивается с художником в пределах одной и той же пьесы. Стихотворение «Море и утес», как указывалось, является откликом на европейское революционное движение 1848 года, но литературно оно всецело подсказано (это прямо признавал и сам Тютчев) написанным тогда же и по тому же поводу стихотворением Жуковского «К русскому великану».

Оба стихотворения настолько похожи друг на друга (от одного и того же повода к написанию и основных образов до одинаковости метра, многочисленности прямых текстуальных совпадений, даже почти одной и той же величины: у Жу-

ковского — 39 строк, у Тютчева — 36), что при параллельном их прочтении охватывает невольное недоумение, — зачем понадобилось Тютчеву пересказывать своими словами всем известную пьесу Жуковского (стихотворение Жуковского благодаря своей злободневности было напечатано сразу в пяти газетах и журналах)? Ответ может быть только один. Очевидно, что-то в пьесе Жуковского, захватившей Тютчева грандиозностью и ответственностью ее образов, не до конца удовлетворило его, вызвало в нем, скорее всего бессознательную, потребность что-то изменить, а может быть, и что-то досказать. Действительно, более пристальное рассмотрение обоих стихотворений обнаруживает, что при резком сходстве между ними существуют и несомненные различия. Прежде всего из стихов Жуковского, начиная с самого их названия, торчит неприкрытая аллегория. Тютчев обнаженный антихудожественный аллегоризм Жуковского уничтожил, придав своим образам «моря» и «утеса» широкий символический характер. Это то, что Тютчев убрал из стихов Жуковского. Однако нечто он в них и внес. Критика справедливо отмечала в «Море и утесе» необычайную «стремительность и силу стиха», исключительное «богатство созвучий». Некоторые строки «Моря и утеса», живописующие натиск — «роковой приступ» — волн, действительно представляют собой как бы один сплошной звуковой повтор. «Волн неистовых прибоем беспрерывно вал морской с ревом, свистом, визгом, воем бьет в утес береговой» или «И, озлобленные боем, как на приступ роковой, снова волнны лезут с воем на гранит громадный твой» (ср. еще исключительную звуковую энергию начальных строк: «И бунтует, и клокочет, хлещет, свищет и ревет...»). Жуковский говорит в своих стихах о «вое» и «реве» волн. Тютчев ставляет этот рев и вой непосредственно звучать из его стихов. «Цельный духом», чуждый «раздвоенья» (см. стихотворение Тютчева «На смерть В. А. Жуковского»), прямолинейный консерватор и монархист, Жуковский был туговат на ухо в отношении революции. Тютчев, «жадно» внимающий «страшным», но и «любимым» «песням хаоса», слышал революцию. Больше того, Тютчев-идео-

лог в соответствии со всеми его политическими убеждениями и верованиями конечно был на стороне «утеса» — «неподвижной» и «неизменной» николаевской России. Однако поэт в Тютчеве выдает его с головой. Все средства выразительности, всё свое творческое воодушевление, весь темперамент художника Тютчев, сам того вероятно не сознавая, вкладывает в передачу мятежной музыки «бунтующих волн». В тютчевском «Море и утесе» ровно за семьдесят лет до Блока впервые в русской поэзии зазвучала подлинная «музыка революции» — пафос разрушения косных гранитных громад старого мира. Читая такие стихи, как «Море и утес», или совершенно совпадающие с ним по своей внутренней тональности пьесы: «О чем ты воешь, ветер ночной...», «Как хорошо ты, о море ночное...» и т. п., начинаешь понимать, почему Ленин особенно любил поэзию Тютчева, относясь к ней, по свидетельству мемуариста, с «преимущественным благорасположением» (П. Н. Лепешинский. «На повороте». Гиз. 1922. Стр. 96—97).

Осуществленный в философско-политическом мышлении Тютчева, выразившемся в трех его политических статьях синтез стародворянской России и буржуазной Европы, реально был конечно неосуществим. Особенно тяжелый удар идеологии Тютчева наносит Крымская кампания 1854 г. Россия вышла из борьбы с Европой не победительницей, а позорно побежденной. Гранитный «утес» николаевской монархии оказался трухлявым, насквозь изъеденным и источенным пнем. Потребна была спешная перестройка России на столь ненавистных Тютчеву-идеологу буржуазно-европейских началах. Неизменно враждебный революционному Западу, Тютчев железной логикой событий вынужден был целиком принять и поддерживать программу буржуазных реформ, клонящихся к европеизации России (отмена крепостного права, буржуазные свободы совести, слова и пр.). Всегда свойственная убежденнейшему монархисту Тютчеву специфически «стародворянская» оппозиция к конкретным носителям власти — чиновной бюрократии, «немецкой России» — в эпоху падения Севастополя приобретает особенно бурные размеры. В письмах этого времени Тютчев не щадит слов

для передачи «невывразимого отвращения — тошноты, смешанной с бешенством», которая подымается в нем при виде того, что происходит; громит «шутовскую нелепицу, гниль и подлость» правящих русских сфер, «глупость, испорченность и злоупотребления» бюрократического, чиновного аппарата, «уничтожение рассудка, притупление инстинктов, низость и невероятную ограниченность» высшего петербургского общества, наконец «чудовищную тупость» самого, недавно столь чтимого им царя Николая.

Все это пробивает зияющую брешь в политических воззрениях Тютчева. Поэт до конца дней остается воинствующим славянофилом, «московским Исайей», но это носит в нем характер словно бы какой-то инерции<sup>1)</sup>. Задуманный им большой труд «Россия и Запад», долженствовавший возвести в целную и стройную систему разрозненные высказывания его политических статей, остается характерно незавершенным. О своем славянофильстве сам поэт начинает отзывать с прямой иронией (см. хотя бы его письмо от 9 октября 1870 г. «Старина и новизна», XXII, стр. 267). Соответственно этому лирика Тютчева последнего периода окрашена безнадежным нигилистическим позитивизмом, столь противоположным и его прежнему романтическому «одушевлению» природы, и позднейшим тщетным попыткам «к ногам Христа навеки прильнуть» («О, вещая душа моя...») — «склонить колени перед безумием креста»:

Природа — сфинкс. И тем она верней  
Своим искусом губит человека,  
Что может статься, никакой от века  
Загадки нет и не было у ней.

<sup>1)</sup> Леонид Гроссман в эффектно написанной статье «Тютчев и сумерки династии» (впервые опубликована в «Русской мысли», 1918, 1, в дальнейшем трижды перепечатывалась автором в сборниках его статей) пытался доказать, что Тютчев после 1854 г. радикально изменил свои взгляды: «ввел революцию в исповедание своей веры», «ждал» от нее «спасения России», «радовался вступлению Европы в период народовластия» и т. п., и т. п. Однако построение Гроссмана, основанное на неправильно приведенных и произвольно истолкованных цитатах явно несостоятельно (см. об этом в моей статье «Новая книга по истории литературы», «Печать и революция», 1926, кн. 2).

## 3.

Творчество Тютчева, как и всякое подлинно художественное творчество, представляет собой полное соответствие между так называемыми «содержанием» и «формой».

Подобно тому, как в тематике и образности лирики Тютчева мы присутствуем при разложении, распаде классического «космоса» — «византийско-русского мира», — общий стиль ее являет собой распад «высокой», «классической» традиции, трансформируемой воздействием стиля немецкого романтизма. По интересным и убедительным наблюдениям Ю. Тынянова, «малая форма» стихов Тютчева, их «фрагментарная» композиция — «продукт разложения монументальных форм XVIII века». Поэзии Тютчева в высшей степени свойственен столь характерный для классической поэтики дидактизм, декламационно-ораторская патетика, классической оды, но — в соответствии с общей направленностью его творчества — поучения, восклицания, обращения и призывы его стихов чаще всего носят субъективно-лирический характер, обращены поэтом к самому себе, — к своей собственной душе или к дублирующим ее явлениям внешнего мира («О, вещая душа моя...», «О нашей мысли оболыщение, ты человеческое Я...», «Мужайся, сердце, до конца...», «Молчи, скрывайся и тай...», «О чем ты возьмешь, ветер ночной...», «Что ты клонишь над водами, ива, макушку свою...» и т. д., и т. д.). Благодаря этому «витийственность» классической лирики борется, а нередко и сочетается в поэзии Тютчева с ее исключительной музыкальностью, мелодизмом — «певучестью строфы» (В. Брюсов). «Тютчев — иногда певец, иногда оратор, и эти две стихии своеобразно уравновешены в его поэзии, придавая ей совершенно специальный характер» (Б. М. Эйхенбаум).

Разложение стилистического «космоса» классицизма можно проследить на всех элементах лирики Тютчева: переход в эпитете от ярких пламенных «красок» XVIII века к «оттенкам» (Тынянов); в зрительном эпитете — «сознательное лишение видимого плоти» (С. Абакумов) и т. п.

Но с особенной силой разложение

классического канона сказывается в тютчевской метрике. Два центральных в смысловой системе Тютчева его стихотворения «Silentium!» и «Сон на море» написаны сочетанием различных двухсложных и трехсложных метров. Особенно выразительную картину дает в этом отношении «Сон на море».

В этой, без преувеличения можно сказать, единственной во всей русской поэзии по изумительной стройности и выразительности метрической композиции пьесе имеем полный параллелизм между ходом образов и движением метров. Соответственно тому, как в классические «видения» и «грезы» «сна» врывается «хаос звуков» — «свист ветров», «грохот морской пучины», — ломается метр стиха: в симметричные амфибрахии «сна» (U U) вторгаются дактили (— UU) и анапесты (UU—), чередованием своих то падающих, то поднимающихся стоп, в подлинном смысле этого слова «звуконписующие» размах колеблющихся волн, дикий разгул разбушевавшейся стихии (более подробный анализ см. в моей статье «Тургенев — редактор Тютчева» в сборнике «Тургенев и его время» под ред. Н. Л. Бродского, Гиз, 1923 г.). «Вольными» ритмами «Silentium!» и «Сна на море» Тютчев зачинал настоящую революцию в области русского стихосложения, целиком отвергнув современные ритмы и осуществленную только в начале XX века символистами.

## 4

Поэзия Тютчева, по меткому слову Фета, — «утонченной жизни цвет», возникающий «на высях творенья» — в период дворянской «осени», дворянского ущерба, конца большой, сложной и богатой культуры. «Сущная его суть — le fin du fin» — отзывался о Тургеневе Тютчев.

И в мире этой поэзии нет ничего случайного, привесочного. Тот же Тургенев, исключительно высоко ценя общую лирику Тютчева, резко отделял от нее его политические стихи. Для огромного большинства последующих критиков, равным образом, соединение в Тютчеве одного из самых ярких представителей школы «чистого искусства», — «гениального певца-филосо-

фа», ставящего и разрабатывающего «вечные темы» о жизни и смерти, человеке и вселенной, — с реакционным политическим идеологом, служившим своими вдохновениями временной и давно «прешедшей» злобе дня, продолжало оставаться неразрешимой загадкой.

Только социологический анализ дает возможность до конца разгадать эту загадку, вскрывая в «страшном раздвоении» Тютчева, в его «двойном бытии» — поэта и политика — типичное диалектическое единство противоположностей.

### 3. ПАЦИФИСТЫ

#### 3. Мур

Бушующий артиллерийский бред, невидимые моря удушливых газов шагнули к писательским столам, повисли над рукописями, прерывая развитие романов. Только недавно при рассеянном молчании почти всех «радикальных» французских писателей прошла усмирительная военная кампания в Индо-Китае, только недавно большинство французских журналов достойно и торжественно отметило столетний «юбилей» Алжира, покорение которого, как известно, покрыло славой французское оружие; а теперь со страниц французских журналов все чаще раздаются тревожные возгласы: «Война!», писатели подписывают «манифест», призывающий к европейскому единению, все чаще происходят публицистические выступления романистов и поэтов, смущенных хозяйственной суебливостью официальных миротворцев и процветанием динамитных королей и пушечных императоров.

Европейская война воспитала во Франции фалангу писателей, творчество которых было об'единено антивоенным, пацифистским духом. Ромэн Роллан, как воплощение пацифизма, метался «над схваткой», Барбюс кричал из окопа, Дюамель разделял страдания обитателей лазаретов; всех их естественно было противопоставить М. Барресу, писателям-патриотам (каков например Жироу в «Клио»), тем, кто состязался в воспевании неизвестных и известных, подобно Фошу, героев «великой войны» (вершина здесь была достигнута позже — Ж. Дельтейлем в «Пуалю»), фашистским настроениям, какие можно найти в стихах Дриё ла-Рошелля, восхвалявшего войну, «убийцу умирающих народов», как чудесное средство для оздоровления человечества. Однако единство

пацифистской писательской «группы» было весьма относительно и недолговечно. Барбюс примкнул к революции. Дюамель совершил эволюцию, к которой следует отнести, как к перемещению стрелки пацифистски-среднебуржуазного барометра: нащупывание возможных врагов мира, возможных новых поджигателей; сначала — призыв к «защите цивилизации» от колониальных варваров; затем — спокойно агитационный групповой портрет парижских коммунистов — бездельников, краснобаев, международных авантюристов, быть может, чьих-то агентов, ведущих подзрительное подпольное существование («Клуб на ул. Лионэ»); наконец теперь — явная склонность с истинно ангельским терпением перенести новые испытания, которые выпадут на долю человечества при будущей «защите цивилизации». Столкновение логики событий с глубочайшей честностью Ромэна Роллана, с его ненавистью к социальной лжи заставила его, «апостола пацифизма», отречься от пацифизма, маскирующего подготовку к контрреволюционной войне против СССР, заставила его вступить в бой со старым миром (но теперь вместо трагического единоборства эпохи европейской войны — союз с революцией).

Писатели-пацифисты, не изменившие прошлому, замечая отход Роллана и усиленную деятельность новейших брианноподобных друзей мира, начинают чувствовать: пацифизм скомпрометирован. Его не объявляют вне закона, как в 1915 году, он, можно сказать, «числится на вооружении» во всех европейских правительствах, и оригинальность нынешнего положения старых, заслуженных пацифистов заключается

в том, что им приходится отмежеваться от традиционного пацифизма и хлопотать о каком-то новом, «истинном пацифизме» с безупречной репутацией.

Модным становится «критическое отношение к пацифизму».

L. Pierre-Quint спрашивает: Кто в Европе, кроме Р. Роллана, Эйнштейна и еще нескольких человек, может быть назван пацифистом? Те, кто удовлетворены лозунгами Лиги наций, программой соединенных штатов Европы, являются «воинствующими пацифистами», обслуживающими сегодняшнюю войну мирного времени и готовящими завтрашнюю, настоящую. Французские социалисты проводят отвлеченно-пацифистскую агиткампанию, ими выброшен лозунг: «Цивилизация в опасности»; но не сослужил ли этот лозунг в 1914 году службу милитаризму, и не следует ли ожидать, что и теперь социалисты отвлеченному пацифизму предпочтут конкретную капиталистическую цивилизацию? Пацифизма в сущности нет, его следует создать наново. «Одна из наиболее реальных опасностей, угрожающих нашей эпохе, заключается в том, что каждый считает себя пацифистом, не будучи таковым, — заявляет Жан Гээнно. — Поскольку пацифизм сталкивается с предрассудками, традициями, воспоминаниями, патриотической гордостью, поскольку он находит сочувствие только в сердцах доброжелательных, но слабых, — постольку он бесполезная болтовня».

Что взамен такой бесполезной болтовни преподносится нам?

Во-первых, — величайшая растерянность. Ялик в бурном океане. Как воздействовать на большинство европейского населения, «которое состоит из некоторых, стремящихся к войне, и множества других, не желающих мира» (Ф. Супо), на молодежь, на свежие фашизированные поколения буржуазии, «жаждущие опыта, трепещущие от нетерпения» (Б. Кремье). Наши гуманисты теряются перед непонятным человеческим океаном, а почти все они хотели бы его загипнотизировать, наперекор преступным правительствам. Здесь начинается область пацифистского, туманного, ни к чему не обязывающего «максимализма». Нужно, чтобы все на-

селение стало пацифистским, — одинокие борцы в роде Роллана помочь не могут. (Д. Брага). Коммунистами «узаконена» невозможность истинного мира в условиях капитализма. Все настоящие пацифисты должны действовать теперь же, должны объединиться в международную лигу. Нужно создать «мистику мира», более заразительную, чем фашистская мистика; ведь отвыкли понемногу драться на дуэли, — на очереди война (Ш. Вильдрак). У широких слоев населения слишком мало воображенья, и потому они беспечны; но если бы они могли пережить как действительность угрожающее Парижу уничтожение его бомбовозами, они объединились бы и начали бы бороться с военной опасностью (Ж. Шлюмбержэ «La Nouvelle Revue Française»). Ш. Вильдрак, Л. Дюртэн пытаются напугать аудиторию, изобразить грядущую катастрофу: промышленность и транспорт замирают, население бежит в поля, леса, горы, — голод, варварство. Б. Кремье мечтает: «усесться бы сейчас на старой каменной скамье у деревенского домика, окружить себя молодежью, французской и зарубежной, и рассказать бы им, как быстро в 1914 г. мир превратился в войну, «как молодые люди, отличавшиеся различными характерами, индивидуальной силой, собственными взглядами, после первого же приказа превратились в стадо одинаковых существ, одетых в мундиры, бритоголовых, повторяющих одни и те же формулы и движения, покрывающие вагоны надписями: «A Berlin!» «Nach Paris!»

Впрочем Кремье уже уводит за пределы расплывчатого пацифистского максимализма. Он уточняет и резко суживает деятельность истинного друга мира и человечества. Он с восхищением цитирует выступление Дюамеля в 1924 году; война — спор между мной и мной; проблема войны исключительно индивидуальная, индивид суверенен, и только он может решить вопрос о войне. И обращаясь к молодежи, которая окружает его каменную скамью и которая, как вы помните, увлечена авантюристским духом, трепещет от нетерпения, Кремье поучает: «Мы заблуждались, думая, что война — проблема социального, расового, национального порядка; это-

чисто индивидуальная проблема, решите ее каждый для себя, но заранее, — когда раздастся тревога, вы уже не успеете дать ответ». Наибольшая неприятность, связанная с войной, заключается для Кремье в том, что молодой человек, который не жаждет опыта, не трепещет, но не успеет закалить свой пацифизм, будет, как и его предшественники в 1914 г., унесен течением, раздавлен как личность, морально разрушен. Не просто мир, а мое, твое спокойствие духа. Трагедия переносится во внутренний мир «суверенного индивида», — какой богатый материал для будущих романов о больших, «подпольных» переживаниях изломанных войной мелкобуржуазных интеллигентов, как характерно это разрешение вопроса для современного «правого пацифизма»! Повторяя обещание Дюамеля, «отказываться войне при любых обстоятельствах в своем сочувствии и содействии», Л. Верт спрашивает («Monde»), не означает ли это, что Дюамель откажется занять свой пост старшего врача-хирурга и таким образом откажется от участия в кровопролитии. Недавно Дюамель, не замечаящий белого террора во французских колониях, подписался под «манифестом» французских академиков, профессоров, адвокатов и литераторов, протестующих против расстрела 48 вредителей питания в СССР. Эта подпись как бы играет роль ответа Верту и свидетельствует о том, что для сохранения духовного мира суверенного индивида могут потребоваться поступки, которые объясняются только классовой психологией; во всяком случае индивидуальная проблема разрешена, торжество пацифизма — налицо.

Раз есть «правый пацифизм», значит существует и левый. Редактор журнала «Еигоре» Ж. Гээнно смеется над утверждением: «Война — проблема индивидуальная». Пацифизм как раз и начинается со взаимных уступок индивида индивиду, народа народу. Гээнно мечтает о солидарности народов, подобной солидарности французских провинций: нации откажутся от своей суверенности, возникнет единая Европа, которая будет новой, мирной, если ее появление не окажется угро-

зой для существования СССР<sup>1</sup>). То, что у Гээнно дано в виде общего пожелания, исследователь творчества Пруста и Лотреамона Leon Pierre Quint положил в основу целого исследования «Ревизия идей «родины» и «нации» («Bifur»), которое должно подвести политический и экономический фундамент под величественное здание истинного пацифизма. Ни самозванным воинствующим пацифистам, ни социалистам, как упоминалось выше, доверять нельзя. Коммунисты — действительно за мир, но они отрицают возможность наступления истинного мира до разрушения капитализма. Следовательно «международный коммунистический режим, как и режим капиталистический, может обещать нам наступление мира только в виде результата большой работы, и чисто интеллектуальной и материально-организационной. Поэтому уже теперь нужно работать в интересах этого мира, нужно активно готовить моральную революцию со всеми ее политическими последствиями».

«Моральная революция» должна заключаться в решительном искоренении патриотизма, отца всех войн, врага человечества. Практически уничтожение патриотизма неотделимо от ряда политических мероприятий. «Соединенные штаты Европы» не могут гарантировать мир не только потому что о них хлопочут воинствующие пацифисты, но и потому, что они оставляют в неприкосновенности разделения Европы на много наций, «родин», очагов губительного патриотизма. Уничтожение суверенности наций осуществимо теперь же. Наступлением на патриотизм, на «идею нации» подготавливается слияние двух государств в сверхгосударство. Путем всеобщего голосования образуется международное законодательное собрание. Сверхгосударство строится на научных основах — на основе законов права и экономики. Армии сливаются (проект полного разоружения слишком пуританский, подобно «сухому закону» в Соединенных штатах и запрещению проституции в Швейцарии). Отдельные правительства обоих государств существуют на правах провинциальных. Мощь сверхгосудар-

<sup>1</sup>) Объединенная Европа никому не должна угрожать, — соглашается и Вильдрак.



ства так быстро будет расти, что рядом с ним не сможет самостоятельно существовать ни один народ. Все начнут присоединяться к сверхгосударству, стремясь получить защиту и помощь этого гиганта, «совсем как некогда вассалы приходили за защитой к своему сюзерену, отказываясь за то от своей независимости».

Такое объединение государств не только уничтожит военную опасность, но также вызовет экономические последствия, которые будут иметь значение революции. Границы, таможенные исчезают. Впервые становится возможной настоящая свободная торговля. Производство рационализируется, планируется. Каждая страна — т.е. каждая провинция сверхгосударства — специализируется: одна — на производстве хлеба, другая — на производстве кофе и т. д. Уменьшаются часы работы, наступает всеобщее благосостояние. Центральный эмиссионный банк выпускает общие бумажные деньги строго определенной, неизменной ценности. Исчезает смысл существования золотых денег, и вместе с тем — одна из основных причин экономического кризиса. Рождается новая интернационалистическая этика, — место отечества занимает человечество.

Эта не слишком оригинальная гуманистическая утопия, автор которой считает себя стоящим правее фантазеров-коммунистов, но более левым, последовательным и решительным, чем социалисты, — весьма характерна. За страхом перед войной скрываются страх перед революцией и стремление заменить ее «капиталистической революцией», которая не откажется ни от федеративности, ни от планирования производства. Фундаментом эпохи истинного мира должна быть сила, — объединенная армией двух государств, а не лицемерная бесполезная болтовня.

Допустим, что проект осуществим. Попробуем вместо алгебраических знаков подставить определенные величины. Франция и Германия образуют сверхгосударство. Сверхармия, как магнит, грозно притягивает Польшу и других вассалов, наконец — всю капиталистическую Европу. Но если кто-нибудь, например СССР, не захочет сделаться

провинцией капиталистического сверхгосударства, — самостоятельно существовать рядом с такой мощной силой ему не удастся. Быть войне — того повелительно требуют интересы мира! Таким образом проект гуманистического сверхгосударства недалеко ушел от идеи сверхгосударства папы римского, поэтизацией которой раньше занимался Делтейль, — не случайно автор его оглядывается на «мирное» средневековье.

Выступление L. Pierre-Quint напоминает: не всякий антипатриотизм революционен. В то время, как бунтарски-эпатирующий антипатриотизм сюрреалистов вступил на путь революционизирования, — «страшно левый», «надклассовый» мелкобуржуазный антипатриотизм оказывается освеженным, омоложенным ответвлением презренного воинствующего пацифизма.

А совсем «левый» «буржуазный марксист» Эм. Бэрль, автор книг «Смерть буржуазной мысли» и «Смерть буржуазной морали», нынешний политический трибун «Monde», вооруженный псевдомарксистской фразеологией и считающий себя специалистом по вопросам революции, сочетает «индивидуальный подход» Кремлю с «общеполитической» точки зрения и заявляет: с одной стороны, каждый рад войне по личным соображениям, — один — потому что ему изменила любовница, второй — потому что надеется разбогатеть; с другой стороны, пацифизм начинается вместе с уступками, а «французы не хотят» отказаться от выгод, полученных ими благодаря Версальскому договору.

Беспомощность настоящих пацифистов придает многим их высказываниям оттенок «возвышенной меланхолии»; верность буржуазному строю не позволяет им взглянуть действительности в лицо. Близорукость, нередко добровольная, заставляет говорить о какой-то отвлеченной алгебраической войне, которая может возникнуть между государствами X, Y, Z (смертным ли предугадать, каково будет новое воплощение свирепой богини Войны); добровольная близорукость помогает сосредоточить внимание на французо-германской границе — тактический ход, настойчиво разоблачаемый Р. Ролланом, указывающим на то, что европейскому

миру угрожает не французско-германская война, а военный союз германского фашизма с французским империализмом, направленный против СССР. Тактический ход, который впоследствии должен будет свидетельствовать о коварстве многоликой богини и о чистоте совести истинных друзей мира.

Анкета журнала «Еигоре» «Война и мир», из которой взята большая часть приведенных здесь высказываний, служит ответом на темпераментную речь Томаса Манна (перевод ее также помещен в «Еигоре»). Любопытно, как с полуслова понимают друг друга французские туманные «надклассовые» идеалисты и немецкий защитник «идеализма и гуманизма XIX века», весьма впрочем реалистически настроенный, торжественно «признающийся» в своем буржуазном происхождении и опасющийся войны по соображениям ничуть не туманным: война, предсказывает он, окончательно добьет большую эпоху буржуазной культуры. Из всех участников анкеты только Т. Манн (и Г. Манн) решились сказать, на чьей они стороне.

Гуманисты, мнения которых приведены выше, не отрицают (кроме Аллена) существования военной угрозы; не порвав, несмотря на свою надклассовость, с буржуазией, они не хотят отказаться от надежды на лучшее будущее, убеждают себя и свою аудиторию, что «все образуется» и что они могут этому помочь. Пьер Мак Орлан от имени деклассированных слоев мелкой буржуазии дополняет группу «Еигоре». Мак Орлан — один из тех воспитанников европейской войны, которых она, по определению Б. Кремье, раздавила<sup>1)</sup> и, следует прибавить, ничему в социальном отношении не научила. Он особенно остро ощущает процесс разложения послевоенной Европы и хоронит ее во многих своих самых сильных вещах. Вместе с тем его судьба является судьбой той части изломанной богемы, которая выброшена капитализмом за борт «настоящей жизни», но все же цепляется за тонущий корабль, мечтает о спокойном существовании. Пессимизм, страх перед непонятным людским окружением, ра-

стерянность, добровольная близорукость, маскирующая «предательство человечества» (как следует сказать, пользуясь высокой лексикой гуманистов), — все это, спрятанное и заглушенное в высказываниях истинных пацифистов, обнажено у ни во что не верящего, «раздавленного» Мак Орлана. «Так же, как господин Джон купил душу Петера Шлемиля, война купила наши души» («Revue des Vivants»). Война в сущности — наша молодость, — замечает он с горечью в другом месте. — Нечистоплотность войны, проявлявшаяся не на полях сражения, а в хитрости и суете людей тыла, в тайной жестокости военных трибуналов, направленной на всех, кто относился к войне с ненавистью пехотинцев, — эта нечистоплотность виновна в том, что теперь ничто не может гарантировать ценность крови». Она породила «темные силы, всегда рыскающие во мраке, и каковы бы они ни были, — военные или гражданские, реакционные или революционные, — каждый из нас смутно чувствует, что все они из разных соображений могут повести к виселице, эшафоту, к столбам, перед которыми расстрелянные бессильно повисают на веревках». «Наука, взятая на военную службу, обновила образ дьявола... Коммунизм тихо, исподтишка, изо дня в день объединяет людей со слишком богатым воображением». Раздавленному, деклассированному мещанину действительность кажется кошмарной свистопляской, бессмысленной, непонятной, — отсюда давшаяся теория Мак Орлана о «социальной фантастике нашей эпохи». Пессимизм, уверенность в том, что «социальная фантастика» и великая богиня Война непобедимы вызывают восклицания: «Не мешайте быть близоруким, не мешайте жить спокойно, пока возможно». — «Беспокойство нашей эпохи более литературно, чем реально. Конец, т.-е. смерть, никогда не отдалается, и все, что можно сказать или написать, ничуть не изменит этого печального результата индивидуальных усилий». Участие Мак Орлана совместно с Дюамелем в протесте против расстрела 48 говорит о том, что, несмотря на «философски» растерянное отношение к «социальной фантастике эпохи»,

1) К самому Кремье и его социальной прозойке выражение «раздавила» отнести нельзя.

он, так стремящийся к спокойствию и так мало им обладающий, готов предложить свои «индивидуальные усилия» тем же «темным силам», которым служат и собираются служить спокойные, «настоящие» буржуазные писатели.

Здесь опять напрашивается сравнение с сюрреализмом. В то время, как его история говорит о борьбе двух социальных начал среди мелкобуржуазной богемы, путь Мак Орлана — нарастающая победа буржуазного начала над заглушенным бунтарским.

В заключение вообразите, что мечта Б. Кремье как бы исполнилась, и посетители деревенского кабачка, окружив семидесятилетнего крестьянина, участника европейской войны, слушают его воспоминания. Дело происходит в 1960 году. Торжественное повествование старичка пародирует пафос будущих историков и творцов «европеяды»; по воле автора, сам того не замечая, он слегка посмеивается над героями: генералами, Пуанкаре — вот тип! — богачами, прятавшимися в тылу (когда для ускорения переброски воинских частей пустили в ход парижские красные такси, боши отступили, воскликнув: — А, это миллионеры, в своих автомобилях, если на нас идет армия миллионеров — лучше всего убраться по-добру, по-здорову!).

Старичок смеется не только над «воиками»-миллионерами. — Верден? — вот анекдот! А Марна? — что смеху было! А знаете, как немцы заблудились во время наступления на Париж? Жара была, жажда, все у них в голове и сме-

шалось. Вдруг увидели, идет к ним отряд вопящих сенегальцев, и как заорут: — Негры, негры! Уже Африка! — Офицеры бросились к картам. Одни думали, что неподалеку Лион, другие утверждали: Марна, но большинство уверено было, что они в колониях. Взяли их сенегальцы в плен, а они все повторяли: никогда не думали, что можно так быстро шагнуть и перейти через море, не заметив того.

Вся война — безобидная буффонада, не «похождения Швейка», а «Похождения бригадира Жерара». Да как иначе может выглядеть война, ловко отодвинутая на 30 лет. «Романтическая», лирическая дымка прошлого («в сущности это — наша молодость!») скрадывает все неприятные аксессуары — кровь, удушливые газы, смерть. В фарсе убитым нет места, наступление изображается по-буффонадному мило и немножко героически. Забудьте только, что настоящие слушатели симпатичного ветерана — наши современники, молодежь, трепещущая от нетерпения, и вы увидите, что Андрэ Вильбэф, автор романа «Славное было время», — по-своему тоже пацифист.

Конечно мы против войны, мы даже смеемся над ней, раним иронией ее вождей. Найдите здесь ненависть к врагам (мы просто посмеиваемся над этими простофилями бошами), жажду крови, патристическую, милитаристическую агитацию. Разве это война? Мир, истинный мир, освежающая эскурсия, отдых, приключения, смех, — хоть сейчас пошел бы снова!

А вы говорите — «свирепая богиня».

# Наука и техника

## О ГЕНПЛАНЕ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

Г. Ломов

**В**ладимир Ильич со всей остротой и ясностью поставил вопрос относительно базы социализма. Он писал: «Только тогда, когда страна будет электрифицирована, когда под промышленность, сельское хозяйство и транспорт будет подведена техническая база современной крупной промышленности, только тогда мы победим окончательно» (из доклада на VIII Всероссийском съезде советов 22/XII—20 г.).

Владимир Ильич придавал гигантское значение плану ГОЭЛРО и делу его осуществления. На осуществление какой-нибудь по нынешним временам средней электростанции затрачивались по тем временам гигантские ресурсы, гигантские силы. Владимир Ильич пристально следил за постройкой Каширской электростанции, за постройкой Шатурской электростанции. Вопрос о Волховстрое не сходил с порядка дня СТО. Его телефонные звонки тогдашним его помощникам бывали каждодневные.

Как выполнен план ГОЭЛРО? Количественно мы близки к выполнению плана ГОЭЛРО на 1/I—31 г. Но я считаю, что это далеко не все. Количественно мы близки к выполнению, но в осуществлении этого плана в районном разрезе есть зияющие пробелы. Вот отдельные примеры: по Северному району по плану ГОЭЛРО мы должны были иметь уста-

новленную мощность в 160 тыс. квт. На первое января 1931 года установленная мощность достигает 294 тыс. квт. Здесь следовательно значительно перевыполнен план. По Центральной промышленной (Московской) области по плану должно было быть 230 тыс. квт., имеем 556 тыс. В то же время на Урале, в районе, который в настоящее время выдвигается партией, выдвигается страной как вторая угольно-металлургическая база, по плану мы должны были иметь 165 тыс. квт., а имеем на 1 января 1931 г. только 41 тыс. На Кавказе вместо 180 тыс. квт. имеем 87 тыс. квт.

Сибирь и Ср. Азия должны были иметь 120 тыс. квт., имеют нуль. Это относится только к районным электростанциям. Донбасс имеет 93 тыс. вместо 420 тыс. квт. Когда подсчитаем все эти изменения с перевыполнением и недовыполнением, то по плану ГОЭЛРО должно было иметься районных станций на 1.425 тыс. квт., а фактически имеется на 1/I—31 г. 1.145 тыс. квт. По темпу строительства имеется в общем итоге полное выполнение. В районном разрезе имеются серьезнейшие прорывы, серьезнейшие сдвиги, и это необходимо учесть при построении плана на ближайшее будущее.

Тов. Ленин в блестящей брошюре «Грозная катастрофа и как с нею бо-

роться» (1917 г.) писал: «В несколько месяцев Россия по своему политическому строю догнала передовые страны. Но этого мало...»

Он ставит вопрос так: «Либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также экономически. Погибнуть или на всех парах устремиться вперед. Так поставлен вопрос историей.

В настоящее время лозунг «догнать и перегнать» осуществляется на деле. Съезд советов эту задачу поставил и дал срок примерно в 10 лет. Строя перспективный план электрификации, нужно исходить из каких-то конечных величин в деле роста нашей продукции в ближайшее время. Это количество должно определяться в первую очередь лозунгом «догнать и перегнать». Догнать по основным видам производства означает перегнать по таким видам производства, как например машиностроение. Чтобы догнать по чугуну, по углю, по нефти, надо гигантски перегнать в области машиностроения, ибо здесь нам придется проделать путь всего в несколько лет, который был бы рассчитан в прежние время примерно на 50 лет. Какие вырисовываются примерные наметки на 1937 год — на второе пятилетие? По чугуну Соединенные штаты Сев. Америки имеют максимальные цифры выплавки чугуна около 40 с небольшим миллионов тонн. В СССР в 1937 году, если исходить из теперешнего темпа, производство чугуна достигнет около 60 млн. тонн. Добыча нефти определяется цифрой добычи Соед. штатов (125 млн.).

У нас же цифра на 1937 год примерно должна быть около 150 млн. тонн. По углю соответственно 60 млн. тонн, чугуна будет добыто около 450—550 млн. тонн.

Комбинируя эти показатели с цифрами роста установленной мощности электростанций, можно говорить в плане ориентировочной наметки о цифре около 40—50 млн. установленной мощности к 1937 г. и не менее 70 млн. к концу десятилетия.

Конечно эти цифры сугубо ориентировочные. Но я их называю на основании того опыта и того обмена мнений, который имел место в Госплане, и надо думать, что они будут теми цифрами, на основе которых можно будет разрабо-

тать свой план. Я должен особенно резко подчеркнуть все значение и величайшую ответственность нашей электропромышленности в том, чтобы эти темпы, это развертывание осуществить на деле. Гигантское значение будет иметь вопрос изоляционных материалов и рост нашей медной промышленности. Добыча меди становится одним из самых узких мест в развертывании нашей электропромышленности, электростроительства.

Следует привести теперь и другие цифры, более близкие и более точные, цифры на 1932 год.

Если план по углю в этом году составляет 75 млн., то на будущий год он вырисовывается цифрой около 115—125 млн. тонн добычи. По чугуну в этом году — 8 млн. тонн, прокат в 1931 г. — 11,5—12 млн. тонн, прокат в 1931 г. — 7 с небольшим млн. тонн, на будущий год — 9,5 млн. тонн, по цементу производство в этом году равно 35 млн., в будущем году — 58 млн. Переработка хлопка в этом году — в 367 тысяч тонн, в будущем году — 590 тысяч тонн. Рост продукции на будущий год — в среднем на 50%.

Целый ряд отраслей легкой индустрии должен значительно выдвинуться вперед, в частности приведу кожевенную промышленность. В этом году она дает 85 млн. пар обуви, на будущий год принимается программа всеми нашими кожевниками 150 млн. пар.

Какое мы занимаем место в настоящее время по целому ряду производств? Основанемся на некоторых наших отраслях промышленности. В то время, как в этом году у нас будет 8 млн. тонн чугуна, Америка в лучшие годы давала 40 с лишним миллионов тонн. Конечно в этом году она не будет иметь таких цифр. Мы в особом квартале обогнали Англию. Что касается других отраслей, то по нефти мы заняли второе место, хотя значительно отстаем от САСШ. В мирное время мы давали 9 млн. тонн, в настоящее время даем 27 млн. тонн, в то время как Америка дает выше 100 млн. тонн.

По с.-х. машиностроению СССР занимает в 1930 г. второе место.

В Соед. штатах в рекордный 1929 г. было выпущено всех видов с.-х. орудий и машин на 565 млн. довоенных рублей.

В Германии в 1930 г., по данным союза фабрикантов, с.-х. машин было выпущено продукции на 286 млн. марок, или на 104,4 млн. довоенных рублей (с тракторами).

СССР выпустил с.-х. машин и орудий в 1930 г. на 210 млн. дов. руб., или в 3,1 раза больше, чем в 1913 году. Сейчас уже по количеству тракторов мы занимаем второе место во всем мире. Впереди всех идут Соединенные штаты с парком в 1 млн. тракторов и позади нас (обогнана) Канада с парком в 95 тыс. тракторов.

Электротехническая промышленность. Сейчас СССР занимает четвертое место. Впереди нас Соед. штаты с продукцией 3 млрд. с лишним руб., Германия — 794 млн. руб., Англия — 579 млн. руб., а СССР производит на 298 млн. довоенных руб. Вероятно мы в будущем году обгоним Англию и близко подойдем к Германии.

Нарастание темпов электростроительства в СССР особенно интересно. В 1929 г. мощность равна 2.097 тыс., в 1930 году — 2.835, в 1931 г. — 4.450, в 1932 г. — 6.750. Темпы нарастают. Вряд ли могут эти цифры значительно измениться в смысле выполнения плана. Они очень обоснованы и показательны.

Ведущая роль нашей электротехнической промышленности громадна. Но ни в коем случае не следует упускать из вида, что такое же гигантское значение имеет теплофикация.

Мне кажется, что опыт вредительства и вредительского отношения к теплофикации должен диктовать резкое изменение отношения к этому отсталому участку, долженствующему играть громадную роль в жизни нашей страны. Мне кажется, что кроме вредительства в этом деле играет большую роль и наше техническое невежество. Очень большое значение здесь играет совершенно исключительное отставание в области машиностроения для теплофикации. Сдвиг в этой области еще весь в будущем. Я хотел бы коротко подчеркнуть все значение теплофикации при разрешении проблемы животноводства для нашего Союза, играющего громадное значение. Эта проблема только еще намечается, но она должна быть целиком учтена.

На ряду с электрификацией я не могу

не отметить часто забываемое, имеющее однако для нас очень большое значение, использование энергетических ресурсов, как-то: естественный газ, солнце, ветер и др. Я позволю себе напомнить одну из цитат Маркса по поводу ветра. В первом томе «Капитала» он указывает на громадное значение использования ветра для такой страны, как Голландия. Маркс пишет: «Частью недостатков естественных водопадов, частью борьба с избытком воды в других формах заставили голландцев применять ветер в качестве двигательной силы. Самые ветряные мельницы голландцы заимствовали из Германии, где это изобретение вызвало серьезную борьбу между дворянством, папами и императором из-за того, кому же из них троих «принадлежит» ветер. В Германии говорили, что воздух делает человека чужой собственностью: Luft macht eigen, между тем как ветер освободил Голландию. Здесь он делал собственность не голландцев, а землю для голландцев. Еще в 1836 г. в Голландии было в ходу 12 тыс. ветряных мельниц в 6 тыс. лошадиных сил, которые предохраняли  $\frac{2}{3}$  страны от обратного превращения в болото» («Капитал» т. I, изд. 1909 г., стр. 338).

Большое значение для нас имеют выходы естественного газа. Такие районы, как Дагестан, обладающие громадными ресурсами естественного газа, должны быть не столько электрифицированы, сколько газифицированы. Но проблема использования газа этим далеко не исчерпывается. Нужно использовать не только выходы естественного газа, но и гораздо полнее использовать газ, получаемый при коксовании, и наконец поставить серьезно работу по получению газа непосредственно из угольных пластов. О том, какое значение этому придавал Ленин, лучше всего свидетельствуют его слова, посвященные открытию Вильяма Рамзея.

«Всемирно знаменитый английский химик Вильям Рамзей,—писал он в 1913 г. в статье «Одна из великих побед техники», — открыл способ непосредственного добывания газа из угольных пластов. Одна из великих задач современной техники близится таким образом к разрешению. Переворот, который вызовет ее решение, — громаден. Открытие Рамзея

означает гигантскую техническую революцию. Способ Рамзея превращает каменноугольные рудники как бы в громадные дистилляционные аппараты для выработки газа. Газ приводит в движение газовые моторы, которые дают возможность использовать вдвое большую долю энергии, заключающуюся в каменном угле, чем это было при паровых машинах. Газовые моторы в свою очередь служат для превращения энергии в электричество, которое техника уже теперь умеет передавать на громадные расстояния».

«Переворот в промышленности, вызванный этим открытием, — писал он, — будет огромен. Но последствия этого переворота для всей общественной жизни в современном капиталистическом строе будут совсем не те, какие вызвало бы это открытие при социализме. При капитализме «освобождение» труда миллионов чернорабочих, занятых добычей угля, породит неизбежно массовую безработицу, громадный рост нищеты, ухудшение положения рабочих. При социализме применение способа Рамзея, «освобождая» труд миллионов горнорабочих и т. д., позволит сразу сократить для всех рабочих день с 8 час. к примеру до 7, а то и меньше. «Электрификация» всех фабрик и жел. дорог делает условия труда более гигиеничными, ускорит превращение грязных, отвратительных мастерских в чистые, светлые, достойные человека лаборатории. Электрическое освещение и электрическое отопление каждого дома избавят миллионы «домашних рабынь» от необходимости убивать три четверти жизни в смрадной кухне».

В нашей стране необходимо использовать все те элементы, которые дают при построении нашего плана возможности продвинуться дальше по пути овладения природой в интересах развертывания народного хозяйства.

Мы должны базировать наш план в первую очередь на новейших технических достижениях. Товарищи, передача токов сверхвысоких напряжений, о чем сейчас мечтают все наши лучшие электротехнические умы, является уже теперь проблемой настолько созревшей, что безусловно необходимо поставить передачу по сетям сверхвысоких напря-

жений в порядок дня и признать, что мы нашу новую программу крупных работ по электрификации не можем строить на том базисе, который сейчас у нас имеется. Уже сейчас только-что закончившаяся конференция в Ленинграде после очень интересного доклада проф. Чернышева и доклада акад. Иоффе, как мне кажется, доказала полную возможность передачи тока напряжением в 400—500 тысяч вольт. Она является не проблемой будущего, а должна быть положена в основу нашей работы в ближайшее время. Вы знаете, проф. Чернышев держится такого мнения, что уже сейчас технически разрешима передача тока напряжением примерно в 1.000.000 вольт. 400.000, следовательно, уже не есть предел. Но пока это — реальная цифра, на которую можно вполне твердо рассчитывать и из которой следует пока исходить. Конечно нужно поставить перед нашими научно-исследовательскими институтами задачу в кратчайший срок закончить разработку вопроса передачи тока на 1.000.000 вольт для того, чтобы мы могли эти исследовательские работы положить в основу планирования. Большие достижения уже мы имеем в результате работы ГФТИ по электрической изоляции.

Все основные технические элементы, которые дала нам последняя конференция в Ленинграде и целый ряд других, необходимо положить в основу нашего плана. Но этого мало. Нужно изучать также энергоресурсы. В настоящее время уже издается атлас энергоресурсов. Осенью назначена конференция по изучению производительных сил страны. Я хочу с особой силой подчеркнуть малую изученность вопроса о воде, которая является очень часто лимитом в деле дальнейшего развертывания нашей промышленности и нашего строительства электростанций в целом ряде районов. К сожалению в этой области мы безнадежно отстали, вопросом гидрологии не придается и не придавалось серьезного значения. Недавно происходил съезд по вопросам воды. В этой области нам надо будет добиваться самых серьезных и решительных сдвигов.

Я перейду теперь к гигантской роли наших районных конференций по выработке плана электрификации. Уже за-

кончилась среднеазиатская конференция по выработке генплана электрификации Средней Азии. Она прошла с большим подъемом, при чем интерес к этой конференции был громаден как в среде рабочих, так и в среде всех среднеазиатских организаций, в том числе и партийных.

Закончилась закавказская конференция, разработавшая план электрификации Закавказья. Закончились восточно-сибирская и ивановская конференции. На очереди стоят конференции ленинградская и московская, в мае — западная и целый ряд других.

Я должен отметить беспробудную спячку украинцев в вопросе электрификации Украины, и это в то время, когда там идет громадное электростроительство, когда для нас Украина представляет громаднейшее значение, была и остается индустриальной жемчужиной нашего Союза.

В Средней Азии и Нижней Волге никакой активности пока в этой области нет. Не составляет исключения как будто и Урал. Очевидно Урал думает, что если кто-то даст ему план по разрыванию УСК, то на основе этого он соберет свою конференцию по электрификации Урала. Я думаю, что надо будет сделать наоборот, и Уралу и Зап. Сибири поторопиться с выработкой своего плана развертывания электростроительства. С их стороны должен быть встречный план тому плану, который выработывается в Москве.

Перехожу к вопросу о методе составления генплана электрификации. В основу этой работы кладутся данные районных электроконференций и конференций по отдельным важнейшим вопросам. Также включаются в общую сеть работ ведомства и научно-исследовательские институты. Но я не мыслю в настоящих условиях построения генплана по электрификации без того, чтобы миллионы рабочих и трудящихся не были втянуты в обсуждение и выработку всего громадного плана. Профсоюзы играют крупнейшую роль как организаторы этой работы. Комсомол — шеф над электрификацией — тоже сыграет немаловажную роль, пресса также. Всё должно быть поставлено так, чтобы план действительно отвечал своему назначению,

план ведущей отрасли, призванной реконструировать народное хозяйство. Мы должны работать вместе с миллионами, это — самое лучшее средство, чтобы не сделать ошибок и избежать вредительства. Мы вырабатываем план по электрификации не на пять лет, а на несколько больший период, и уже от него возьмем известный отрезок, который затем включим в пятилетний план.

Мы должны не только разработать метод составления плана. У многих товарищей есть желание ограничиться только составлением программы и метода. Не только методологию нужно выработать, — нужно получить целый ряд установок, на которых придется базироваться при выработке нашего плана электрификации.

План ГОЭЛРО родил пятилетку. План ГОЭЛРО был первым планом, который для Владимира Ильича был наиболее важен, потому что он был связан с жизнью, с хозяйством нашей страны. Владимир Ильич больше всего издевался над планами, которые высасывались из пальца, он больше всего издевался над такими прожектерами и фантазерами, которые не видели земли, по которой ходят. Поэтому и наш план должен вырасти на основе изучения наших производственных ресурсов, на основе тех возможностей, которые имеются. План по электрификации будет основой для второй и третьей пятилетки. Наш план — это план социалистического строительства. Мы подходим к выработке плана, опираясь на гигантский опыт, который нами получен, и на гигантски выросшие материальные ресурсы всего СССР. Мы можем в этом отношении гордиться перед всей остальной Европой. Мы растем, бурно развиваемся, даем новый план. В будущем году, который должен дать рост продукции примерно на 50 проц., пятилетку мы заканчиваем, с 1933 года начинаем новую пятилетку. Надеемся по основным отраслям в течение ближайших 10 лет догнать и перегнать капиталистические страны, в том числе и Соединенные штаты, а в это время на Западе идет огромное снижение кривой. Запад представляет обратную картину, там вместо бешеного подъема кривой идет безудержное падение, переходящее в гниение на отдельных ступенях капита-



лиственной лестницы. Если сравнить декабрь 1930 г. против лета 1929 года, то в Германии имеется уменьшение всей продукции на 28 проц., а чугуна и стали—вдвое. В Англии за год выпуск продукции уменьшился на 19 проц., а чугуна и стали—на 49 проц. В Соединенных штатах объем продукции и жел.-дорожных перевозок за 1½ года сократился на 32 проц. по стали—на 49 проц., по автопромышленности—на 55 проц. Сильно увеличивается безработица. Количество безработных доходит во всем мире до 30 млн. Падает зарплата. По данным органа христианских профсоюзов, в Германии зарплата на первое января 1931 года снижена на 10 проц., на первое февраля — уже на 15 проц. А по данным Профинтерна, зарплата в Европе за год снизилась на 20—30 проц.

Естественно, что в этих условиях Европа начинает судорожно искать выхода из кризиса. Интересно, что за последнее время внимание к плановой системе СССР все больше и больше увеличивается среди капиталистических держав. Оценка пятилетки там совсем уже не та, какая была вначале. Вы только вспомните первые оценки. Я останавлиюсь на оценках крупнейших людей. Возьмите бывш. министра юстиции, демократа Коха. Это—крупнейшая фигура Германии. В 1929 году в сентябре он говорил на собрании Общества мирового хоз-ва: «Весь пятилетний план СССР является не чем иным как блёфом».

Бенеш — чехо-словацкий министр — в 1930 году в октябре говорил: «В 5 лет не может произойти чудес». Каутский в 1930 году говорил: «С полной уверенностью можно сказать, что пятилетка потерпит, не может не потерпеть неудачи».

Интересна перемена фронта теперь. Возьмите Кайо — это один из крупнейших, пожалуй, наиболее твердый политик Франции. Он теперь пишет совершенно иное: «Мы должны изолировать Россию, заставить ее руководителей сузить свою инициативу».

«Эпоха пятилетнего плана, — пишет буржуазный американский еженедельник «Нью-Репаблик», — это стальная эпоха».

«Сэндей таймс» 8 февраля писал: «Несмотря на путаницу противоречивых данных, пятилетка, повидимому, выполняется со значительным успехом».

Если сравнить оценку нашего плана вначале и в настоящее время, то будет видно, какое громадное впечатление наша плановая система произвела и производит на западноевропейские умы. Они не понимают сущности нашей плановой системы, они не понимают, что плановая система может существовать только в социалистическом государстве, что план неизбежно вытекает из социалистического характера нашего производства. Они не понимают этого и желают найти выход из кризиса, пытаются применить нашу плановую систему в своей Европе, в своей Америке, насквозь буржуазных, в Европе, раздробленной на десятки государств.

Недавно венгерский премьер-министр Бетлен выступил с предложением выработать «пятилетку электрификации и индустриализации Венгрии». Премьер-министр Южной Австралии Хилл выработывает «пятилетку, которая должна возродить финансы и промышленность». В Голландии предполагается созыв конференции, на которой будет поставлен доклад о плановом хозяйстве, при чем докладчик не помечен. Очевидно ждут из СССР!

Я должен обратить ваше внимание на два проекта электрификации Европы. Первый проект инженера Оскара Оливена и второй проект Шенгольцера. Немецкий проект предполагает кольцевание всех электростанций Европы. По этой схеме намечен основной европейский четырехугольник, соединяющий Париж, Лондон, Берлин и Вену, при чем некоторые стороны этого плана, этого четырехугольника... переходят и за нашу границу.

По второму проекту план кольцевания соединяет крупнейшие европейские центры, обходит Берлин, но также пытается перейти за советские границы.

Оливен пишет: «Технические трудности можно уже считать преодоленными. Чисто экономические вопросы европейской сети тоже разрешимы; преодолеть остается препятствия субъективного характера. Имея большой опыт по части объединения систем электроснабжения, хотя и в небольшом масштабе, мы знаем, как часто соображения чисто личного характера или политические, лишённые экономического обоснования, делают не-

возможным соединением, которое становится экономически целесообразным при повышении напряжения.

Тем не менее перед всеми народами Европы стоят задачи упразднить все видимые и невидимые рубежи распределения электроэнергии, преодолев все трудности материального, политического и персонального характера» (Доклад на II всемирной энергетической конференции). Мы конечно понимаем их право «преодолевать все трудности материального, политического и персонального характера». Но мы уверены, что они не преодолеют этих трудностей до установления советского строя в Европе.

Чрезвычайно интересно, что за последнее время в целом ряде стран возникают идеи планового хозяйства и идеи, которые заимствуются в значительной мере из нашей практики. Я хочу здесь отметить, что невозможность для капитализма преодолеть целый ряд препятствий, вытекающих из капиталистического строя и делающих поэтому невозможным электрокольцевание Европы, предвидели лучшие умы человечества и в первую очередь такие, как Энгельса, который в своем письме к Бернштейну в 1883 году писал по поводу открытия Дебре: «Шум от электротехнической революции у Фольмара, который в этом деле ничего не понимает, только реклама для изданной брошюры. В действительности однако дело это имеет чрезвычайно революционный характер. Паровая машина учит нас превращать теплоту в механическое движение, но пользование электричеством открывает нам путь превращения всех форм энергии, теплоты, механического движения, электричества, магнетизма, света одной в другую и обратно и промышленного пользования. Круг замкнут. И новейшее открытие Дебре, что электрические токи очень высокого напряжения с сравнительно слабой потерей силы могут передаваться по простой телеграфной проволоке на неслыханные до сих пор расстояния и быть применены в конечном пункте, — дело это находится еще в зародыше, — окончательно освобождает промышленность почти от всех местных границ, делает возможным употребление даже самых отдаленных водяных сил. И если даже вначале этим

воспользуются только города, в конце концов оно должно стать самым могущественным рычагом для уничтожения антагонизма между городом и деревней. Но, что вместе с этим производительные силы примут такие размеры, при которых они перерастут руководство буржуазии, совершенно очевидно.

Совершенно ясно, что сейчас должны появляться проекты мощных электроколец и кольцеваний всей Европы, но не менее ясно, что осуществление этих проектов целиком перерастает возможности современного буржуазного порядка и строя.

Кольцевание в таком масштабе возможно только в СССР. Наши задачи по кольцеванию СССР сейчас громадны. Разрешение задач, которые перед нами поставлены, облегчаются тем, что мы в смысле знания своих ресурсов в настоящее время уже значительно продвинулись вперед. Мы имеем значительно изученную Урало-Кузнецкую проблему, от которой неизбежно в ближайшее время отпочкуются такие проблемы, как казахстанская (Караганда и Коунрад), где мы будем иметь третью угольно-металлургическую и медную базу. Мы имеем такие районы, как Ангара, как Минусинский район, мы имеем целый ряд районов в европейской части СССР. Очень часто товарищи забывают, увлекаются, переносят всё на Урало-Кузнецкий район и забывают наши крупнейшие старые районы, которые еще долго будут являться основной базой разветвления СССР.

В области электрокольцевания мы пока наиболее слабы. План ГОЭЛРО в области кольцевания далеко не выполнен. Здесь перед нами стоят огромные задачи.

На очереди вопрос об электрификации транспорта. Ленин в свое время писал в письме к Кржижановскому: «Красин говорит, что электрификация жел. дорог невозможна, а может быть, она будет возможна через 10—15 лет. Может быть, уже на Урале возможна». Мы в области электрификации транспорта, кажется, ничего, кроме Мытищинской линии, пока не сделали. Осуществление таких основных направлений, как Донбасс — Москва, проект которого уже разработан, и электрификации Курской жел. дороги, пока не начиналось. Между

тем Курская жел. дорога загружается с каждым годом все больше и больше. Проблема электрификации транспорта на Урале, проблема сообщения Урала с Кузбассом выпирают и требуют своего решения. Тут необходимо с большим напором вести работу.

В деле электрификации сельского хозяйства почти ничего не сделано. Здесь необходимо добиться самых решительных сдвигов не только на деле, но еще и в головах целого ряда наших товарищей. Конечно трактор останется основной двигательной силой в сельском хозяйстве. Но кто доказал, что необходимо зачеркнуть вопрос электрификации сельского хозяйства. В этом отношении мы просто забыли или часто забываем то, что говорил Владимир Ильич. Он интересовался работой плугов Пфаулера, в письмах он ругал целый ряд товарищей, добиваясь сдвига в этой области. На ряду с трактором, который останется в сельском хозяйстве основной силой, мы должны развертывать электрификацию сельского хозяйства, в первую очередь электрифицировать наши животноводческие совхозы. С другой стороны, надо работать над самими машинами, которые должны работать на электричестве. Далеко не доказано, что рабочая часть наших с.-х. машин не подвергнется самым серьезнейшим изменениям в связи с переходом на электричество. Я убежден, что эта революция должна воспоследовать.

Задача выработки генплана электрификации очень ответственная. Прежде всего нужно проработать методологию составления генплана, проработать целый ряд конкретных тем, так необходимых для составления генплана. С другой стороны, необходимо договориться до определенных количественных, экономических и технических установок для того, чтобы потом иметь какие-то твердые придержки, из которых будут исходить составители генплана.

Нельзя забывать, что эта работа возлагает на всех работников громадную ответственность, ибо на основе этой перспективы будут строиться и пятилетние отрезки плана других отраслей. В

значительной мере от этого будут зависеть и те планы, которые будут приниматься на ближайшее время.

Владимир Ильич живо интересовался вопросом выработки плана ГОЭЛРО. Владимир Ильич напряг все силы для того, чтобы этот план скорее увидел свет. Недаром он говорил, что коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны. Ничто не изменилось в этом отношении и в настоящее время. Поэтому все составители генплана должны приложить все силы для того, чтобы осуществить идею выработки нового генплана по электрификации с учетом тех придержек, которые будут рекомендованы каждым из участников этой работы, чтобы построить реальный, связанный с жизнью, с миллионами трудящихся план. И в то же время этот план должен дать богатую перспективу, должен вести вперед, давать возможность на его базе реконструировать все хозяйство нашей страны, дать возможность на деле осуществлять лозунг Владимира Ильича, ЦК нашей партии и Сталина «Догнать и перегнать передовые капиталистические страны».

За эти годы СССР сделал такие успехи, которые нам иной раз некогда даже подытожить. Находу, не замечая, мы обгоняем по производству чугуна Англию, для нас эти и подобные факты становятся повседневным бытовым явлением. Советская страна бешено идет вперед, не замечая тех гигантских достижений, которые у ней накапливаются. Новый генплан по электрификации, новая пятилетка являются боевым знаменем не только нашей страны, нашего пролетариата, нашей партии. Это боевое знамя, которое вселяет уверенность в души и сердца всех рабочих, которые отождествляют наши планы и строительство социализма со своей борьбой за коммунизм. Продуманно подойти ко всем этим вопросам, создать методологию системы, суметь вдохнуть в душу каждого из творцов этого плана величайший энтузиазм и энергию и действительно построить план, с которым мы выйдем не только к нашей стране, но и ко всему миру, — вот что надо сделать.

# За рубежом

1. С. ГАЛЬПЕРИН.— Английский тупик. 2. ИБРАГИМ.— Австро-германское соглашение и Европа

## 1. АНГЛИЙСКИЙ ТУПИК

С. Гальперин

### Большой день в Вестминстерском дворце

На площади перед дворцом стоит густая толпа. Время от времени раздаются аплодисменты. Это — уличные зеваки приветствуют проходящих членов правительства. Вопреки легенде об английской флегме места в зале заседания палаты общин берутся с бою: в «храме английской демократии» очень тесное помещение для депутатов. Рядом, в палате лордов, прекрасные — и почти всегда пустые — залы, но в палате общин на депутатских местах нет даже столиков, где они могли бы вести свои записки. Немудрено, что уже с 5 часов утра члены палаты общин начали становиться в очередь, чтобы обеспечить себе хорошее место в зале заседаний.

Переполнены коридоры, служебные помещения, комнаты фракций. Трибуны заняты по традиции самыми элегантными дамами Лондона — женами парламентариев, лордов, представителей высшего финансового и промышленного мира. Ибо сегодня гада-представление — лорд казначейства, т. е. министр финансов, читает сегодня проект бюджета на 1931—32 г.

В зале заседаний нет места только для одного человека — для ее председателя, для спикера. На этом заседании он не может не только председательствовать, но и присутствовать. Причина для этого весьма серьезная — всего несколько столетий назад депутаты открыли, что спикер не что иное, как «шпион и эмиссар короля». А сделав это открытие, они решили раз навсегда, что его вельзя пускать в парламент до конца заседания, чтобы он не мог во время предупредить короля о финансовых намерениях палаты общин.

Изготовление проекта бюджета вообще ведется в строгом секрете. Если бы налогоплательщики заранее знали, что намерен преподнести им министр финансов, они могли бы соответственно устраивать свои де-

ла. По этой причине даже не все министры имеют право быть в курсе замыслов лорда казначейства. По этой же причине заседание палаты не может быть открыто ранее 3½ часов дня, т. е. момента, когда закрывается биржа, иначе сведения о том, что происходит в парламенте, могли бы отразиться на биржевых сделках.

Отшли в вечность те времена, когда спикер был «шпионом короля» и когда биржевики были не в курсе финансовых нововведений правительства. Но Англия блюдет свои традиции, в этом — «залог» устойчивости ее общественного и государственного строя.

Но у власти стоит «рабочее» правительство, и в старых традициях пробита некоторая брешь. Министру финансов полагается во время своей речи делать паузы и выпивать по стаканчику какого-нибудь крепкого напитка. Сноуден делает установленные паузы, но пьет только воду. Но он только что оправился от серьезной болезни, и это ему прощают. Менее снисходительно отнеслись к другой его новинке. Обычно лорд казначейства должен в первой части своей речи дать изложение итогов прошлого года и затем после некоторого перерыва изложить проект бюджета на следующий год. Сноуден отпечатал итоги прошлого года в особом бюллетене, который был роздан членам палаты общин, и начал свою речь прямо с бюджета 1931—32 г. Это позволило ему сократить свое выступление до одного часа с небольшим, но любителям старины это не понравилось, — церемония вышла слишком короткой.

Ритуал преподнесения палате нового бюджета был несколько изменен, но содержание бюджета удовлетворило даже консерваторов. Сноуден оказался, как и в прошлом году, достойным заместителем Черчилля.

Сноуден не принадлежит к числу ораторов типа Гладстона, о котором говорили, что у него цифры бюджета звучат, как музыка. У него резкая, отрывистая речь, и

пафос у него слышался лишь два раза: когда он говорил о финансовой мощности Англии и о проекте введения в будущем земельного налога.

Пафос этот был строго рассчитан. Прославление финансовой мощи Англии было ему необходимо для того, чтобы сгладить впечатление от дефицита, которым закончился истекший год. Сноуден настаивал на том, что никакого дефицита в сущности не было, ибо в период с апреля 1930 г. по апрель 1931 г. (бюджетный год в Англии начинается 1 апреля) Англия погасила досрочно свои внешние долги на сумму 66 млн. ф., тогда как дефицит не превысил 23 млн. ф. стерлингов. «Истинный результат истекшего года состоит в том,—заявил Сноуден,— что поступления превысили расходы. После года не имеющей себе равной экономической депрессии мы оказались в состоянии не только твердо сохранить свои финансовые позиции, но и произвести значительное сокращение своей задолженности».

Правда, проект бюджета предусматривал погашение долгов на 66 млн. ф. без дефицита по бюджету в целом, но Сноуден предпочитал сравнивать фактическое исполнение бюджета 1930—31 г. не с плановыми предположениями, а с бюджетом предыдущего года.

И сравнение это действительно обнаружило очень любопытное для английской экономики явление. Год величайшего в истории Англии кризиса сравнительно мало отразился на ее бюджетных возможностях. Правда, доходы оказались (см. анализ бюджета в «Economist» от 4 апреля) на 13,55 млн. ф. меньше предположений, а расходы— на 11,94 млн. ф. больше предположений (почти исключительно за счет увеличения расходов на соц. страхование), но по сравнению с 1929 — 30 г. доходы государства увеличились на 41,7 млн. ф. ст. Если даже отбросить прирост, образовавшийся за счет увеличения налоговых ставок, ориентировочно определяемый в 33,8 млн. ф., то все же доходная часть бюджета в 1930—31 г. увеличилась по сравнению с предыдущим годом, что при исключительном падении внешней торговли, при огромном сокращении производства и при наличии свыше 2 млн. безработных представляет почти парадоксальным явлением.

В дальнейшем мы перейдем к выяснению причин, сделавших этот парадокс возможным, а пока вернемся к бюджетному выступлению Сноудена. Констатирование финансовой устойчивости Англии позволило ему оптимистически подойти и к перспективам текущего года. Бюджет будет сведен к дефицитом в 37 млн. ф., но дефицит будет покрыт без увеличения тяжести налогового обложения— путем некоторых финансовых манипуляций в роде передвижки срока уплаты части налогов с июля 1932 г. на январь, а также путем позаимствований из некоторых специальных фондов.

Не мудрено, что бюджет был принят с

удовлетворением всеми партиями. Раз нет новых налогов или повышения старых, значит все обстоит благополучно. Конечно как консерваторы, так и либералы оспаривали отдельные пункты бюджета, но не в области практических предложений, а скорее с точки зрения оценки перспектив его фактического исполнения.

Был лишь один пункт в бюджете, который должен был повести к серьезной борьбе со стороны заинтересованных групп— это вопрос о проектируемом в будущем (с 1 января 1934 г.) налоге на земельную собственность. По проекту Сноудена, земельная собственность должна быть обложена в 1 пенни с каждого фунта стерлингов стоимости земли. Проект этот фигурирует в программе либералов уже около 40 лет, но провести его Ллойд-Джорджу не удалось вследствие сопротивления заинтересованных кругов и отчасти вследствие связанных с ним технических трудностей по производству оценки стоимости земельных владений.

Сноуден в прениях выступил по этому поводу необычайно решительно, рассчитывая сгладить этим оппозицию со стороны рядовых членов рабочей партии, указывавших, что «социалистический» министр финансов не только не проводит никаких социалистических преобразований в бюджете, но и ни в какой мере не использует этот мощный рычаг перераспределения народного дохода в интересах рабочего класса.

«Бог дал нам землю»—заявил Сноуден, и нельзя допустить, чтобы земельные собственники использовали свое право исключительно в своих частных интересах. «Этой мерой мы намерены утвердить право общества на землю... мы требуем, чтобы земельные собственники воздали Кесарю кесарево».

Это—евангелический «социализм», сторонником которого всегда был Ллойд-Джордж, ни в каких социализмах неопределенно самой бешеной спекуляцией. Участки, столетия земля в Англии является предтекорни. Дело в том, что уже в течение полунный, имеет под собой вполне «земные» приобретенные несколько десятков лет назад буквально за гроши, расцениваются сейчас в сотни тысяч и миллионы фунтов стерлингов. При чем землевладельцы даже не принимают никаких мер к ее производственному использованию. Они просто ждут, пока по соседству проведут какую-нибудь железнодорожную ветку или выстроят какой-нибудь завод, и цена сразу вскачет до исключительной высоты.

«Еще никогда в истории цены на землю не росли с такой головокружительной быстротой,—заявил Сноуден.— Развитие индустриализации и транспорта почти стерло разницу между ценой на землю в городах и в сельских поселениях, при чем обогащающиеся землевладельцы ни разу не были призваны к тому, чтобы вносить часть своего обогащения государству и му-

ниципалитетам, благодаря деятельности которых росло их имущество».

Спекулируют на росте цен на землю не только частные лица, но даже муниципалитеты. Так, лондонский муниципалитет приобрел в окрестностях столицы участок земли за 70 тыс. ф. стерлингов и немедленно перепродал его за 295 тыс. ф. ст. В результате: во-первых, сельское хозяйство не развивается совершенно, — собственникам не имеет смысла вкладывать в землю какие-либо средства, им выгоднее просто ждать, пока цена на нее поднимется; во-вторых, не используя землю по производственному назначению, т.-е. не извлекая из нее временно никакого дохода, собственники ускользают от обложения подоходным налогом.

По проекту Сноудена земля будет переоцениваться каждые 5 лет, при чем будет взиматься по 1 пенни с 1 фунта стерлингов прироста стоимости. Налог этот совершенно ничтожный, но со стороны консерваторов он до сих пор встречал резкое сопротивление. Правда, сейчас уже редки такие зубры, как герцог Веллингтон, который с искренним возмущением заявил: «Как я должен платить за мои земли», но борьба идет всякими другими способами.

Пока что Сноуден находится в выгодном положении, ибо в данном году налог не вводится, и в бюджете предусмотрены лишь некоторые расходы на подготовительные меры к его проведению. Это несколько ослабляет пыл консерваторов, являющихся яростными противниками земельного налога, ибо они рассчитывают, что не Сноуден будет вносить бюджет 1933—34 г., и, значит, непосредственной опасности пока нет.

Бюджетные прения прошли в общем гладко: либералы с гордостью говорят, что Сноуден проводит их программу, консерваторы довольны тем, что подоходный налог не повышен, играющим же в «левизну» мажоритомцам (независимая рабочая партия) преподнесен пряник в виде проекта земельного налога. Сноуден победил, — сочувствие буржуазии его бюджету обеспечено.

### Джон Буль—рантье.

Выше мы говорили о парадоксе английского бюджета: в год кризиса поступления в бюджет увеличивались по сравнению с предыдущим годом, который на общем фоне застоя английской промышленности был сравнительно благоприятным годом.

Параллельно с этим странным на первый взгляд явлением можно указать и другой аналогичный факт: британский рынок капиталов в 1930 г. не показал почти никакого снижения по сравнению в 1929 г. В 1929 г. выпуск новых ценностей составил 256,8 млн. ф., в 1930 г. — 247 млн. ф. (Information) 23/1 1931 г.).

Но достаточно обратиться к анализу рынка капиталов, чтобы понять основную причину финансовой устойчивости Англии в

условиях огромного снижения тонуса экономической жизни страны.

Если раньше правительственные и муниципальные займы составляли по отношению к портфелю вновь выпущенных ценных бумаг 14 проц., то в 1930 г. их доля увеличилась до 41 проц. При этом из выпущенных на 70 млн. фунтов правительственных займов 52 млн. ф. поглотила империя, а не Англия. Вложения же в частную промышленность находились на самом низком уровне после 1924 г., не превысив 145 млн. ф. против 288 млн. ф. в 1928 г. и 221 млн. ф. в 1929 г.

Любопытно и направление этих вложений. Доля доминионов и колоний увеличилась с 23 проц. до 29 проц.; доля Европы упала с 18 млн. ф. до 9,7 млн. ф.; значительный рост показали вложения британского капитала в страны Латинской Америки (главным образом Аргентину) — с 15,3 млн. ф. до 22,3 млн. ф.

Таким образом финансовый капитал в Англии оказывается еще весьма живучим. Но применение своим средствам он находит не в самой Англии, а в заокеанских странах: доминионах, колониях и Латинской Америке. В Аргентине он даже без успеха борется против североамериканского капитала.

Этот факт сам по себе является ключом к пониманию особенностей английской экономики. Доходы от заокеанских вложений конечно идут в Англию, но они идут в карман лишь небольшой кучки финансистов, не оплодотворяя производственной жизни страны. Развитие финансового капитала Англии оказывает поддержку бюджету, который взимает с него известную долю при помощи подоходного и некоторых других налогов, оно способствует устойчивости фунта стерлингов, но оно может сочетаться — и действительно сочетается — с застоем, а в годы кризиса даже с значительным упадком экономической жизни страны.

Об этом свидетельствует и расчетный баланс Англии. По данным «Board of Trade Journal» (орган английского министерства торговли), торговый баланс дал огромный дефицит (т.-е. перевес импорта над экспортом) в 392 млн. ф. Но расчетный баланс дал все же активное сальдо (т.-е. перевес денежных поступлений из других стран над платежами за границу) в 39 млн. ф.

Дефицит торгового баланса оказался перекрытым поступлениями из следующих источников:

Доходы от вложений англ. капитала за границей . . . . .	235 млн. ф.
Доходы от фрахта англ. судов . . . . .	105 » »
Доходы от займов и банковских операций с заграницей . . . . .	55 » »
Активное сальдо от международных расчетов Англии . . . . .	21 » »
Разные доходы . . . . .	15 » »
<b>ИТОГО.</b> . . . .	<b>431 » »</b>

Правда, активное сальдо расчетного баланса в 1930 г. (39 млн. ф.) оказалось почти на 100 млн. ф. меньше, чем в предыдущие годы (138 млн. ф. в 1929 г. и 137 млн. ф. в 1928 г.), но это уменьшение надо отнести не столько за счет английского кризиса, сколько за счет кризиса в других странах.

Во французском журнале «Revue politique et parlementaire» (от 10 февраля) была помещена интересная статья Андре Зигфрида, автора известной книги «Английский кризис в XX веке». В журнальной статье, посвященной вопросу о том, как Англия реагирует на экономический кризис, Зигфрид приходит к следующему заключению: «...Англия может продолжать существовать и при отставании ее экспортной промышленности. Богатство Британии заключается далеко не все в огромном промышленном капитале, сосредоточенном в Манчестере, Бирмингеме, Лидсе или Глазго; оно состоит также, в большей степени, чем раньше, в индийском чае, в малайском каучуке, в нефти на различных материках и, главное, в лондонском Сити, где переплетаются торговля и финансы, распространяющие свои лучи на весь мир... Англия стала менее экспортующей страной, чем раньше, она превращается в рантье, живущего на доход с прежде накопленных капиталов. От наступления в экономической области она переходит к обороне».

Эта эволюция английского капитализма, столь ярко обозначившаяся в последнее десятилетие, намечалась уже до войны. В 1909 г. один американский исследователь, Прайс Коултер, писал в своей книге «Англия и англичане»: «Только исключительное, почти чудесное усилие может вырвать дородного, честного, краснощекого Джона Булля из его вековых традиций и заставить его состязаться своим мужественным телом против нервного интеллекта нашего научного века... Народы теперь ведут новую игру и некоторые из них повидимому более блестяще и более успешно, чем он.. Можно хвалить его методы игры, но это не может помешать признать, что в новой научной игре он остался далеко позади Германии, САСШ и Японии».

Итак, Англия играет среди других стран роль рантье, живущего прежде накопленным капиталом, в борьбе же за промышленное преобладание она попадает, выражаясь на спортсменском языке, в разряд «старичков», которые еще могут благодаря прежней тренировке и выносливости состязаться с новыми молодыми чемпионами, но уже не могут претендовать на первое место.

В чем же дело? Где экономические корни той старомодности, которую отмечают в методах английской буржуазии многие исследователи современного британского империализма? И действительно ли Англии приходится сейчас думать только об обороне, не претендуя больше на роль мирового гегемона?

Вот вопросы, которые ставятся сейчас в политической и экономической литературе Англии.

## Промышленное переселение в Англии

Прежде чем перейти к тем ответам, которые дает на поставленные выше вопросы британская пресса, установим предварительно некоторые данные фактического характера. Заимствуем их из уже цитированной статьи Андре Зигфрида в «Revue politique et parlementaire».

В 1815 г. в Англии было 15 млн. жителей, в 1921 г. — 42,7 млн. (прирост за десятилетие 1911—1921 гг. составил, несмотря на войну, 1,875 т. чел.), а в настоящее время — около 45 млн. чел. Прирост населения умерялся эмиграцией, но тогда как до войны эмигрировало по 400 т. чел. в год, в 1925 г. эмигрировало только 140,5 т. чел., а в 1928 г. — только 136,8 т. чел. Причина этого лежит в том, что Америка почти закрыла свои двери для эмиграции, а доминионы очень неохотно пускают к себе переселенцев из Англии.

«Но если часть новых поколений не может ни уехать, ни получить на родине занятие, обеспечивающее им существование, то нельзя ли отсюда сделать вывод, что этому поколению лучше было бы и не рождаться? Таков повидимому и есть ответ природы», — пишет Андре Зигфрид.

В 1881—85 гг. рождаемость составляла в среднем за год 35,5 на 1 тысячу жителей, в 1911—1915 гг. норма рождаемости упала до 23,6 на тысячу, а в 1930 г. — до 16,2 на тысячу, то-есть упала ниже даже французской нормы. Разница лишь в том, что во Франции уменьшение прироста населения вызывает беспокойство (в связи с уменьшением числа новобранцев) в Англии с облегчением констатируют, что число подростков 14—15 лет упадет в 1931 г. до 1.381 т. чел. против 1.602 т. чел. в 1928 г., — меньше прибавится кандидатов в безработные!

Но так как безработица свирепствует особенно сильно в экспортных отраслях промышленности, связанных территориально с угольными бассейнами, то сейчас в Англии происходит процесс переселения из этих районов, чему способствует с своей стороны Industrial Transference Board — Бюро промышленного переселения. Одновременно происходит и самопроизвольное передвижение населения из северных районов в южные — к Лондону и в долину Темзы.

По данным министерства труда (см. «Ministry of Labor Gazette» за ноябрь 1929 г.), доля застрахованных (т.-е. фактически всех рабочих) в северной полосе (проводя границу между севером и югом по линии Стаффорд — Хай пик — Скарборо), уменьшилась с 54,3 проц. в 1926 г. до 52 проц. в 1929 г. (по отношению к числу застрахованных всей Англии), а доля юга увеличилась с 45,7 проц. до 48 проц.

Косвенно об этом свидетельствует и топография безработицы. Имеющиеся данные говорят о том, что безработица была особенно сильна на севере, ослабевая на границе угольного района, и сравнительно незначительна в районе Темзы и на юго-востоке вообще. В 1927—29 гг. был даже некоторый «бум» в этой части страны: Ковентри, Бристоль, Лондон и мелкие промышленные города вокруг Лондона пережили даже период некоторого расцвета. «Оксфорд — пишет Зигфрид, — благодаря автомобильным заводам Морриса становится промышленным городом: в восхитительной изысканной атмосфере его колледжей интеллигенция этого старого университетского города не без грусти слушает пророчества о том, что лет через 50 он станет новым Бирмингемом».

Показателем этого экономического соотношения между различными частями народного хозяйства Англии могут служить также данные движения прибылей по отдельным отраслям промышленности. Если оставить в стороне 1930 г. как год мирового кризиса и взять данные за 1926—1929 гг., то оказывается, что к наиболее процветающим относились в эти годы нефтяная промышленность, табачная, пивоваренная, резиновая, автомобильная и велосипедная. В хорошем положении находились также торговое мореплавание и крупные магазины. Мало успешными были машиностроительная промышленность и хлопчатобумажная. На грани убыточности стояли уголь и черная металлургия. (Мы не приводим соответствующих цифровых данных, которые имеются в специальном торговом приложении к «Times» от 29 марта 1930 г., чтобы не загружать изложения цифровым материалом).

Любопытно, что по данным «Economist» от 31 января 1931 г., даже в исключительно кризисном 1930 году пищевая, бумажная, химическая отрасли промышленности и цветная металлургия показали легкий рост.

Если некогда в Англии развивались главным образом такие отрасли промышленности, где важную роль играли дешевизна сырья и близость заводов к угольному топливу, то теперь развиваются преимущественно такие, где стоимость сырья не играет роли и где ценна именно обработка. Это значит, что упадок переживают именно экспортные отрасли промышленности, а развиваются те, которые рассчитаны на внутренний рынок и в особенности на состоятельного потребителя. Это особенно относится к таким отраслям, как автомобильная, мебельная, электромонтажная, производство граммофонов, искусственного шелка и т. д., при чем надо отметить, что в этих отраслях английская техника стоит на высоте.

Опубликованные в банковском журнале «Banker» (январь 1931 г.) данные о движении рабочей силы в Англии показывают, что общее число занятых рабочих увеличилось с июля 1927 г. по июль 1930 г. с 11,8 млн. до 12,4 млн., но это увеличение

шло почти исключительно за счет числа работников, занятых в торговле и распределительных предприятиях, в строительном деле и разных мелких отраслях промышленности (из категории так наз. «прочих отраслей»). В основных отраслях обрабатывающей промышленности число занятых рабочих возросло на 400 тыс. человек, но этот прирост лишь компенсировал уменьшение числа рабочих в горной промышленности.

Вывод Андрэ Зигфрида. Англия постепенно приспосабливается к новой фазе своей экономики. «Это новое распределение источников экономической жизни страны следует рассматривать как безусловный признак инстинктивного выпрямления... В тот момент, когда традиционная экспортная промышленность, устаревшая и терпящая поражение, не поддерживает более Англии, она перебрасывает свою деятельность в ее по-прежнему цветущую торговлю, на свое по-прежнему значительное участие в международном финансировании, на свои вложения капиталов — иностранные и колониальные, — которые являются для нее резервом огромной ценности; а в области промышленности она переносит свою деятельность на те отрасли, которые базируются на растущем темпе национального потребления. Таким образом она поддерживает свое равновесие».

### Лондон и Ланкашир

Можно по-разному расценивать перспективы развития английского капитализма, «равновесие», о котором говорит Зигфрид, мало чем отличается от загнивания, но фактическая сторона этого изменения экономической структуры страны не подлежит сомнению. И это осознают и многие буржуазные экономисты в самой Англии.

В английском журнале «The Round Table» (за сентябрь 1930 г.) была напечатана любопытная статья: «Англия, как она представляется со стороны» (Статья без подписи, как и все статьи в этом журнале, носящем скорее имперский, чем собственно английский характер).

Основная тема этой серьезной написанной статьи — клонится ли звезда Англии к закату. В течение XIX века Англия непрерывно увеличивала свое богатство и свою политическую мощь. Лишь один соперник вырисовывался для нее в будущем — Германия. Этого соперника Англия одолела после 4-летней борьбы. Англия находилась на вершине своего могущества. «И вот сейчас возникает нотка сомнения, не был ли триумф 1919 г. зенитом, который уже пройден, и не обернулись ли в конце концов политические и экономические перемены, вызванные этим подъемом, скорее во вред, чем в пользу Англии, и не подорвали ли те огромные усилия, которые она пустила в ход, ее традиционную структуру до такой степени, что сделали ее неспособной отвечать потребностям нашей эпохи».



Автор указывает, что такого рода сомнения преобладают в иностранных оценках положения Англии, и для того, чтобы ознакомить английскую публику с причинами этого пессимистического отношения иностранцев к будущему Англии, он дает любопытную картину тогд, как Англия представляется взору иностранца. Картина эта заслуживает внимания и русского читателя.

«На приезжего Лондон попрежнему производит впечатление беспредельного богатства и несокрушимой солидности. Вряд ли может навести на мысль о бедности десятилетия, в течение которого мы были свидетелями перестройки значительной части центра города с его огромными зданиями, которым только ограничительные законы не позволяют соперничать с небоскребами, — зданиями, в которых все этажи обставлены с самыми новейшими удобствами и роскошью и сдаются по ценам не ниже 500 фунтов стерлингов в год».

«Но Лондон не является промышленной столицей Англии. Он получает и тратит прибыли английских предприятий во всем мире, но он не отражает будничной рабочей жизни страны. Поскольку же он обращается лицом к промышленности, он становится центром новых отраслей с современными предприятиями без унаследованных традиций. И не случайно то обстоятельство, что процент безработных в столице наполовину меньше, чем на севере».

«Положение Лондона в самом деле далеко от депрессии. Его финансовое превосходство, несмотря на соперничество Нью-Йорка, до сих пор прочно, хотя и удерживается с большим трудом. Его богачи повидимому не уничтожены, и в то же время уровень жизни и жилищные условия его трудящегося населения значительно улучшились. Он даже сделался заметно чище, хотя этому завоеванию гигиены угрожают мазмы нефтяного дыма, которые нависают над всеми главными улицами, если их не разгоняет ветер».

Но Лондон — не Англия. Он — ее мозг, но не ее сердце».

Иная картина обрисовывается в провинции. Сельское хозяйство находится в полном упадке. Достаточно указать, что в 1921 г. в Англии в сельском хозяйстве было занято только 1.164 тыс. человек, тогда как во Франции в сельском хозяйстве занято было 9.023 тыс. чел., в Германии — 9.762 тыс. человек и в Италии — 10.264 тыс. чел. О спекуляции землей, приводящей к наличию огромных пустыющих земельных площадей, мы говорили уже выше.

Если из сельскохозяйственных округов перенестись в Ланкашир или в Йоркшир, то «слоняющиеся там безработные и фабричные трубы, из которых не идет дым, наводят на грустные размышления. Даже самые города в этих округах говорят о том, что жизнь в них застыла. Те постройки, которые считались великолепными под столетия назад, теперь отдают стариной. Они не

могут выдержать сравнения с рабочими жилищами в Сименсштатде (Германия) или в Лансе (Франция). Но все же они так солидно построены, что могут принять вызов нового поколения. Также и люди — как предприниматели, так и рабочие — не хотят примириться с мыслью, что их старые методы не годятся для нового времени. Имеются десятки предприятий, отживших свой век. Вряд ли можно найти что-либо подобное в Германии или в САСШ, кроме впрочем некоторых текстильных предприятий в штате Новая Англия».

Такова внешняя картина этой страны, в которой рослошь финансового центра сочетается с умиранием наиболее промышленных районов страны. Благоденствуют рабтье, живущие за счет колониальных вложений капитала, и вместе с ними сохраняют прежний уровень жизни некоторые категории трудящихся, обслуживающих потребности жрецов Сити. А 2—2½ млн. рабочих (не считая семей) живут на пособия по безработице, которые еще в состоянии им выдавать в целях своего самосохранения английский капитализм. Ллойд-Джорджу принадлежит фраза: «Не будь социального страхования, в Англии уже давно была бы революция».

Английская буржуазия теряет то стремление к борьбе за первое место в мире, которое ей было присуще в течение столетий. «The Round Table» указывает на то «настроение фатализма и разочарования, которое как будто охватило все слои английского общества, то необычное отсутствие доверия, которое парализует не только деловую жизнь, но и национальную энергию и волю к власти, отсутствие признанных вождей, хотя сильный человек любой партии и любого направления мог бы добиться почти слепого повиновения, как это показал необычайный взрыв энтузиазма, который был вызван стойким поведением Сноудена на Гаагской конференции (в 1930 г.)».

Как странно прозвучала бы для уха современного английского буржуа речь, которую произнес в 1846 г. Роберт Пиль по случаю отмены хлебных пошлин: «Длина нашей береговой линии, которая в сопоставлении с территорией и населением больше, чем в какой-либо другой стране, обеспечивает нам нашу силу и морское превосходство. Железо и уголь — нервы промышленности — дают нашим фабрикам большие преимущества над нашими соперниками, и наш капитал превосходит те средства, которыми они располагают. По части изобретений, энергии и ловкости мы не уступаем никому. Наш национальный характер, свободные учреждения, под управлением которых мы живем, наша свобода мысли и действия, наша пресса, которая беспрепятственно распространяет по всему миру вести о наших открытиях и прогрессе, — все это выдвигает нас на первый план в ряду других наций, которые развиваются в условиях свободного обмена своих продуктов».

Такая ли мы страна, чтобы нам бояться сореволюция!»

Когда Роберт Пиль произносил эту речь, он, как и другие сторонники свободной торговли, отдавал себе отчет в том, что она означает упадок английского сельского хозяйства и переход на импортное сырье и продовольствие. При посредственности климатических и почвенных условий в Англии с этим можно было мириться, поскольку импорт оплачивался вывозом фабрикатов, изготовленных из импортного сырья. Но эта система покоилась на двух предпосылках, которые оказались преходящими: на неумении большинства европейских стран самостоятельно перерабатывать привозное сырье и на топливной монополии Англии. Еще в 1870 г. из 130 млн. т. мировой продукции угля на долю Англии приходилось 80 млн. т., тогда как САСШ производили только 14 млн. т., а Пруссия — 12 млн. т.

Но с тех пор как Англия потеряла свою угольную монополию и появились вдобавок другие виды топлива, вытесняющие уголь, Англия перестала быть привилегированной страной, и ее экспорт стал встречаться с затруднениями, исходящими от конкуренции других стран. При застое экспортных отраслей промышленности, при затруднениях в области эмиграции и полном упадке сельского хозяйства страна оказалась перенаселенной, ее экономический фундамент оказался слишком узким.

### Кризис английской демократии

Изменения в мировой экономике, постепенно ослаблявшие привилегированное положение английской промышленности, начались уже в конце XIX века. О нависшей над Англией угрозе предупреждала английское общественное мнение уже в 1886 г. созданная тогда комиссия обследования причин экономической депрессии. Но Англии удавалось при помощи своего военно-морского флота и своих капиталов завоевывать все новые и новые рынки, выравнивая тем самым положение своих экспортных отраслей промышленности.

Средний английский буржуа склонен поэтому не доверять иностранным Кассандрам, пророчащим закат Англии. «Разумом, — пишет Зигфрид, — англичанин понимает эти предупреждения, но по инстинкту он отказывается им верить. Его непоколебленная вера в свою страну, его гордость и исключительная способность не видеть того, что он предпочитает игнорировать, — все в нем возмущается против этого урока».

Образцом этого «квасного» оптимизма может служить любопытная статья, помещенная в консервативном еженедельнике «Saturday Review». Автор ставит прямо вопрос: катится ли Англия вниз (дословно «к собакам»)? И отвечает утвердительно. Но это его не пугает, ибо Англии и прежде уже случалось переживать периоды упадка, но она каждый раз снова подымалась.

«В действительности в истории Англии было много случаев, когда она не только «шла к собакам», но докатывалась до самой собачьей будки. Разумеется, когда такая страна, как Англия, начинает катиться сверху вниз, то ее падение естественно бывает быстрым и заметным. Но что особенно характерно для нашей истории, так это та исключительная быстрота, с которой это падение приостанавливалось и положение выправлялось... Что отличает нас от всех других народов, кроме, может быть, французов, так это отказ допустить, чтобы природные качества нашего народа были бы стеснены в своем проявлении какой бы то ни было формой правления».

Такого рода заявление о том, что английский народ не стеснен никакими формами правления в поисках выхода из трудных обстоятельств, звучит в устах консервативного публициста по меньшей мере неожиданно. Но автор развивает свою мысль следующим образом:

«Хотя наша государственная машина в некоторых отношениях работает хорошо, но она беспомощна в экономических вопросах. Парламент не больше может разрешать трудовые конфликты, чем нанкинское правительство держать в узде мятежных джозюнов (генерал-губернаторов). Слабость его очевидна. Тем не менее дела вряд ли могли идти иначе. Наша теперешняя конституционная система — порождение XIX века. Она была устремлена — и с большим успехом — к политической свободе. Но она умывала руки в вопросах экономики и свое воздержание в этих вопросах вводила в догму. Теперь политические вопросы перестали играть главную роль, так как умы заняты экономическими проблемами. Будущее нашего экспорта, возрождение земледелия, тарифные ставки, отношения между рабочими и нанимателями, — вот вопросы, которые требуют сейчас ответа, и ни к одному из них существующая система не может даже подойти». Итак, по мнению консервативного «Saturday Review» английский тупик объясняется только тем, что организация государственной власти не приспособлена к разрешению экономических проблем. Английская конституция обеспечивает политические свободы, ограничивая рамки деятельности государства. Но это — отсталая идея XIX века. XX век нуждается в иной конституции, в которой политические свободы уже не будут играть центральной роли.

Еще резче ставит этот вопрос цитируемая нами выше статья в журнале «The Round Table». Там автор статьи прямо ставит вопрос о самом характере английской конституции. Либеральный лозунг «laissez faire» оставлен уже всеми. Англия, как и все другие государства, признала необходимость вмешательства государства в ход экономической жизни. А это делает неизбежным бюрократическое правительство.

«Перед Англией стоит вопрос не о том, может ли быть допущен рост бюрократиз-

ма, а о том, будет ли эта бюрократия находиться под контролем народа. В стране, где по самому своему существу бюрократ является не хозяином, а слугою народа, опасность, что он избегнет его контроля, не представляется особенно серьезной, пока существует парламентское государство. Но если сам парламент оказывается слишком громоздким и неспособным справиться с стоящими перед ним сложными и трудными проблемами, особенно в области экономики, то невольно встает вопрос о более решительной и произвольной (arbitrary) форме правительства.

Итак, парламентаризм признается непригодным не только для целей непосредственного управления, но даже для контроля над чиновничьим правительством. Парламентаризм не только хоронится, но в его могилу вбивается осиновый кол.

Ряд фактов свидетельствует, что в той стране, которая считалась цитаделью классической буржуазной демократии, парламентаризм начинает отмирать. Английский гражданин, обладающий сейчас почти всеобщим избирательным правом, распространяющимся и на женщин, не дает себе труда подать свой голос. На последних дополнительных выборах, происходивших как раз в спорных округах, абсептеизм избирателей в некоторых случаях достигал 50 проц. общего числа избирателей. И это в то время, когда и для правительства, и для оппозиции каждый лишний голос в парламенте имеет большое значение. Кто-то из бытописателей английской жизни сделал меткое указание на то, что сейчас, когда из 45 миллионов англичан 29 миллионов обладают избирательными правами, место, посвящаемое в газетах парламентским отчетам, в 10 раз меньше, чем это было в эпоху, когда из 7 англичан лишь 1 пользовался избирательными правами.

Этому упадку интереса к парламентаризму соответствует и разложение традиционных политических партий в Англии. Консерваторы никак не могут преодолеть своих внутренних трений, мешающих им даже вести энергичную кампанию против правительства Макдональда. В области внешней политики они все, кроме «неукротимого» Черчилля, отошедшего от руководства партией, поддерживают Гендерсона, политика которого впрочем такова, что критиковать его консерваторам не за что. Болдуин то мрится, то спорится с лордом Бивербруком и лордом Ротермирмом и не выдвигает тех лозунгов, под которыми консервативная партия намерена притти к власти.

Либералы находятся в исключительно жалком положении. Их немногочисленная парламентская фракция делится на две группы: большинство, следующее за Ллойдом-Джорджем и поддерживающее Макдональда в надежде, что он проведет выгодную для либералов избирательную реформу, и меньшинство (10—12 депутатов во главе с лордом Саймоном), стоящее за «самостоя-

тельную» либеральную политику, но фактически плетущееся за консерваторами.

Незавидна и судьба правящей рабочей партии. Она доказала свою «министерiability» с буржуазной точки зрения, особенно в вопросах внешней политики, но в то же время выявила в глазах масс свою полную неспособность хотя бы в мелочах проводить политику рабочего класса. Ее беспомощность в вопросах экономики и неумение справиться с проблемой безработицы ни у кого даже в собственных ее рядах не вызывают сомнения. В несколько прикрытой форме она ведет политику наступления на заработную плату рабочих, выполняя общую директиву английской буржуазии выравнивать положение английской промышленности за счет снижения жизненного уровня рабочих масс. Правительство Макдональда подвергается сейчас нападкам не только со стороны независимой рабочей партии, пытающейся избраться собою «левую» оппозицию, но даже со стороны профсоюзных верхов.

Само собой разумеется, что и «критика» независимой рабочей партии, и оппозиционные выступления генерального совета трэджюнипов по существу имеют целью поддержать положение рабочей партии как таковой. Их оппозиционные выступления никакого практического значения не имеют, но они дают возможность удерживать в рядах рабочей партии ее низы, недовольные буржуазной политикой правительства Макдональда. Независимцы осуществляют по существу «левый» маневр, смысл которого состоит в том, чтобы удержать за собой те элементы, которые при отсутствии псевдоловой оппозиции среди лебористской партии были бы склонны переходить в ряды коммунизма.

И в конце концов только тупиком, в который зашла как английская экономика, так и английская «демократия», можно объяснить то, что правительство Макдональда до сих пор сравнительно благополучно проходило через все испытания. Его некому пока сменить.

Очень характерны жалобы целого ряда английских буржуазных публицистов на то, что в Англии нет сейчас ни сильных людей, ни новых программ, которые могли бы повести страну новыми путями вне традиционных рамок старых партий. Экономическое загнивание английского капитализма приводит к тому, что буржуазия Англии пока не может выдвинуть своих вождей.

Этот провал попытался восполнить сэр Мосли, зять лорда Керзона, некогда перекочевавший из консервативной партии в рабочую и попавший одно время даже в министры кабинета Макдональда, а затем вышедший из рабочей партии, чтобы создать свою новую партию.

Его партия так и называется «Новая партия». Этим названием Мосли хочет подчеркнуть, что он не только рассчитывает создать обособленную организацию, но и внести новые начала в английскую политиче-

скую жизнь. О том, каковы эти начала, можно судить по следующим выдержкам из его манифеста об образовании Новой партии.

«Кризис признан всеми, но ни правительством, ни парламентом не выставлена никакая национальная программа и не намечена политика борьбы против создавшегося положения. Необходимо, чтобы кто-нибудь взял на себя инициативу дать возможность народу проводить политику действия».

«Мы отличаемся от других партий нашим требованием полной реформы парламента, который из говорильни мы хотим превратить в мастерскую. Мы бросаем вызов полувекковой системе свободной торговли, которая на внутреннем рынке ставит промышленность в зависимость от хаоса мировых условий и в роде колебаний цен, демпинга и принудительного труда. Мы бросаем вызов вековой системе протекционизма, которую консерваторы хотят поставить на место свободной торговли, что будет иметь последствием защиту интересов и усиление позиций только одних предпринимателей в ущерб потребителям и рабочим».

«Мы отличаемся от всех политических партий тем, что мы считаем необходимым создание национального плана реорганизации промышленности на послевоенной базе. Мы хотим создать новую связь с доминионами путем новой экономической организации, установленной в общих интересах. Эта политика — вызов предположениям всех других партий и традициям нашей политической системы».

Не трудно видеть, что эта помпезная декларация носит типично фашистский характер. В ней есть уже все элементы фашизма: отрицание парламентской демократии и противопоставление ей «инициативы людей действия» и «национальной программы»; демагогическая претензия выступить в роли защитников «рабочих и потребителей»; империализм, скрывающийся под маской «экономической организации связи с доминионами»; готовность к борьбе с пролетарской революцией, о котором свидетельствуют антисоветские выпады по адресу «демпинга и принудительного труда», и наконец прямое выставление своей кандидатуры в диктаторы «волею народа».

Удастся ли Мосли заложить в своей Новой партии базу английского фашизма или он является лишь предтечей иной фашистской организации с каким-нибудь другим «вождем», сказать пока трудно. Но факт тот, что английская буржуазия ждет, как мессии, диктатора, который покончил бы с обветшалым парламентаризмом и какими-то энергическими мерами вывел бы Англию из тупика.

И самое замечательное то, что манифест Мосли, который, по его мысли, должен был быть вызовом всем партиям, был принят т. наз. «общественным мнением» с симпатией. Резко высказались против него только лебористы, но не столько по принципиальным соображениям, сколько по партий-

ным, — образование Новой партии ослабляет их положение на будущих выборах, отвлечая от рабочей партии часть ее избирательной клиентуры.

А в рядах либералов, которые по традиции являются рыцарями «демократии» и свободной торговли, был ряд сочувствующих Мосли выступлений. Так, известный английский экономист Кейнс писал по поводу выпущенного еще в декабре прошлого года манифеста Мосли, что хотя он не согласен с намеченной Мосли экономической программой, но ему «нравится самый дух, которым проникнут его манифест».

Статья Кейнса о программе Мосли, помещенная в либеральном еженедельнике «Nation und Aetheneum» (от 13 декабря 1930 г.), интересна и тем, что он дает в ней едкий анализ программ всех партий, считая существующее в Англии распределение по партиям анахронизмом, который держится только чувством лояльности членов партий по отношению к их старым вождям.

По мнению Кейнса, партийные группировки должны были быть иными: партия лордов Бивербрука и Ротермира и «рабочего» министра Томаса — партия протекционизма, как средства сплотить Британскую империю, отгородив ее таможенными пошлинами от остального мира; партия Герберга Самозеля и Спуудена — партия традиционной свободы торговли; и наконец партия Ллойд-Джорджа, Мосли, Макдональда, которая стоит за планирование экономической жизни.

«Было бы уместно, — пишет Кейнс, — называть эти партии консервативной, либеральной и социалистической, — и это были бы три настоящие партии, существо которых соответствовало бы реальной действительности. Я с радостью доверил бы судьбу страны то одной, то другой из этих партий в зависимости от интересов мира и потребностей прогресса в данный момент. Но пока партийные организации и лояльность отдельных личностей по отношению к тем партиям, к которым они принадлежат, оказываются сильнее основного расхождения во мнениях общественная жизнь страны обречена на паралич. Вот почему мы должны быть благодарны сэру Освальду (Мосли) за его стремление освежить атмосферу».

С тех пор, как Кейнс писал эти строки, Мосли успел уже пойти дальше, освободиться от рамок лебористской партии и выпустить процитированный нами выше фашистский манифест о создании Новой партии. Говорить о будущем этой партии пока преждевременно (она пробовала уже выставить своего кандидата на дополнительных выборах в одном из округов, но собрала мало голосов, провалив однако лебористского кандидата), но не подлежит сомнению, что английская парламентская система, так же как и традиционные политические партии, переживает кризис. Выход из этого кризиса буржуазия видит в той или

дной вариации перехода от «демократии» к фашизму.

Пролетариат Англии уже с неудовольствием переносит опеку рабочей партии и примыкающих к ней трэд-юнионов. Но его недовольство выражается пока главным образом в тенденции самостоятельно разрешать экономические конфликты без посредничества трэд-юнионистских вождей и министров Макдональда. История данкаширского локаута показала, что на этом новом пути ему удастся даже одерживать победы. Национальное движение меньшинства (революционная профпозиция в Англии) укрепляет в его среде свое влияние.

Но он еще не в состоянии полностью пре-

одолеть давление лебористской партии и сделать революционные политические выводы из создавшегося экономического и политического тупика в Англии. Английская компартия еще не осуществила своей основной задачи — стать массовой партией английского пролетариата. Но этот процесс неизбежен, и, когда лед будет сломлен, — нарастание классовых конфликтов Англии ускоряет приближение этого момента, — революционирование рабочих масс пойдет быстрыми шагами. И тогда и перед Англией — колыбелью буржуазной демократии — станет та проблема, которая стоит уже перед большинством стран на континенте Европы: коммунизм или фашизм.

## 2. АВСТРО-ГЕРМАНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ЕВРОПА

### Ибрагим

С точки зрения капитализма война тоже некоторое хозяйственное состояние. Она является элементом нормы капитализма. Хозяйственное состояние во время войны отличается от иного хозяйственного состояния лишь тем, что при нем оказываются нарушенными старые договоры. Между враждующими странами в это время почти отсутствует договоренность, тогда как между дружественными сторонами, союзниками в войне, возникают новые договоры. В процессе войны 1914 года и после нее возникли договорные отношения между союзниками каждой из сторон. Договоры эти учинены на совершенно иной основе, чем было до войны. Послевоенные договоры как между союзниками в лагере победителей, так и между побежденными, а равно между побежденными и победителями по преимуществу направлены к урегулированию и восстановлению хозяйственной жизни капитализма после войны. Основной Версальский договор имеет пункт о знаменитых репарациях и существенно меняет экономическую ситуацию Европы. Возникновение новых малых государств, установление новых границ также изменяют картину хозяйственной жизни Европы. В то время как в области политической после войны происходил процесс парцелляции государственных соединений, в области экономической увеличивалась связь между ними, усложнялась, расширялась, разветвлялась. Этот процесс расширения и усложнения экономической связи между государствами выразился в договорах. Количество договоров, которыми связаны в настоящее время государства, превосходит все ранние эпохи. Если мы возьмем экономические договоры и связанные с ними юридические соглашения и конвенции за период времени после Версальского мира до 1929 года, т.-е. за десятилетие (при этом мы берем только те договоры, которые зарегистрированы в так

называемой Лиге наций), то окажется, что их было заключено:

в 1918	— 47
в 1919	— 71
в 1920	— 142
в 1921	— 124
в 1922	— 127
в 1923	— 173
в 1924	— 169
в 1925	— 142
в 1926	— 106
в 1927	— 54
в 1928	— 37
в 1929 апрель	— 6,

а всего — 1206 договоров. Если мы разобьем их на 10 лет, то окажется, что каждый год заключалось по 120 соглашений. В среднем выходит, что договоры заключались непрерывно через два дня в третий. Договорные нити, протянутые от одного государства к другому, показывают, насколько глубоко и широко они охвачены экономической взаимностью. Так называемые великие державы, державы главным образом с широко развитой индустрией или финансовым хозяйством (как Франция) имеют наиболее сложные и наиболее разветвленные связи. Германия имеет 326 договоров, Франция — 342, Англия — 383, Италия — 281. Если взять европейские государства следующего ранга, то увидим, что Австрия имеет 147 договоров, Бельгия — 167, Дания — 119, Голландия — 152, Польша — 147, Швеция — 121, Швейцария — 142 и Чехо-Словакия — 120. Таким образом и государства второй величины включены в довольно разветвленную и усложненную сеть договоров. Так как договоры являются лишь внешним выражением экономической связанности, то мы можем судить, до какой степени тесно связаны государства между собою в хозяйственном отношении. И это, несмотря на колоссаль-

ную территориальную парцелляцию, несмотря на увеличение количества границ, следовательно увеличение таможенных заборов, препятствующих более или менее свободному циркулированию товаров.

Почти все торговые договоры после войны основаны на принципе так называемого наибольшего благоприятствования. Вкратце это означает следующее: если между двумя государствами икс и игрек заключается торговое соглашение, то икс предоставляет игреку, а игрек иксу такие же условия импорта и экспорта, какие икс или игрек предоставляют третьим державам. Если в какой-либо данный момент икс предоставляет третьему государству лучшие условия, то эти лучшие условия автоматически распространяются и на договор икса с игреком. То же самое осуществляет и игрек по отношению к иксу. Вследствие этого совершенно понятно, что наибольшее благоприятствование имеет интернациональное значение. Ибо стоит сделать уступку какому-нибудь одному из государств, находящихся в договорном отношении, как эта уступка переносится на все остальные, с которыми есть договоры о наибольшем благоприятствовании. А так как почти все договоры включают в себя пункт наибольшего благоприятствования, то этот пункт является своего рода круговой порукой международного значения. Отсюда ясно, что после войны почти не существует индивидуальных, попарных, по своему значению торговых договоров. Самая природа их совершенно не та, чем она была раньше, до войны. Нетрудно понять, насколько глубоко каждый торговый договор, между какими бы малыми государствами он ни был, существенно затрагивает международную хозяйственную ситуацию. Поэтому правительства, заключающие договоры, принуждены учитывать это. А учитывать — это значит переносить вопрос отчасти в область политическую. Без учета политического международного взаимодействия между государствами нельзя нащупать настоящую ориентацию в вопросе о договоре.

Послевоенная группировка европейских государств, как она сложилась к сегодняшнему дню, представляется нам в следующем виде: имеется четыре основных группы. Первая группа — государств-победителей. Во главе их Франция, а с нею Бельгия, Чехо-Словакия, Румыния, Югославия (последние три составляют между собою особый союз, называемый Малой Антантой), далее Польша, Эстония. Вторая группа — побежденных. Во главе ее Германия, а с нею Австрия, Венгрия, Болгария. Третью группу составляют колеблющиеся и нейтральные. Крупным представителем таковых является Англия, а с нею Скандинавские государства (Швеция, Норвегия, Дания, отчасти Голландия, Греция, Испания, Португалия. Что касается Италии, то она стоит в своей политике несколько в стороне и примыкает то к первой, то к третьей группе. Она не может быть названа однако

колеблющейся, ибо слишком определенно в различных пунктах своей политики идет то со второй, то с третьей группой. Четвертая сила — это СССР. Если иметь в виду эту группировку и обозреть характер торговых договоров, заключенных между этими государствами, то окажется, что договоры направлены к экономическому истощению и порабощению второй, германской, группы и к расстановке европейских сил таким образом, чтобы можно было организовать поход против четвертой «группы». Чтобы уничтожить СССР как очаг экономики, для капиталистических государств необходимо предварительно его экономически блокировать. Таким образом основные тенденции экономической международной политики первой группы в Европе заключаются в том, чтобы гегемоном Европы сделалась Франция. Тогда под ее руководством Европа сможет перейти к настоящей агрессии против СССР.

Достаточно хорошо известно состязание между французами и англичанами в пределах Лиги наций за руководство. Аппарат Лиги наций находится почти исключительно в руках англичан. Тогда как политическую погоду, чем дальше, тем больше, в Лиге наций делают французы. Вследствие этой борьбы как Франции, так и Англии нужна Германия. Последняя великолепно это учитывает, и с тех пор, как она вошла в Лигу наций, Германия то и делает, что добивается себе уступок, то опираясь на Англию, то на Францию. В результате этого Германия добилась очищения от французских и английских войск оккупированных ими областей. Навстречу Германии идет также и Америка. Так как и Англия и Франция со времени войны являются должниками Америки и так как свои долги и Лондон и Париж покрывают за счет той дани, которая Версальским миром наложена на Германию и которая называется изыском французским словом «репарации», то Америка путем введения в действие плана Юнга и в особенности путем основания в Базеле интернационального (читай американского) банка своих должников — Англию и Францию — отодвинула немножко в сторону и встала непосредственно лицом к лицу с Германией. Политически это означает, что у Франции и Англии была отнята возможность давить на Германию. Германские репарации, форма их реализации, их размеры теперь в большей степени зависят от Нью-Йорка, чем от Парижа или Лондона. Следовательно в распоряжении Франции и Англии уменьшается количество средств для давления на Германию.

Политика Франции, фактически направленная к подчинению себе всей Европы, проводится под аккомпанемент бриановских сказок о мире. Специально наятые пропагандисты бриановского мира, не желая и не замечая этого, делают отчасти доброе дело. Они разрыхляют военную психологию, которая еще достаточно крепка в некоторых кругах. Приезд в Европу Келло-

га и подписание знаменитого пакта, согласно которого все государства, подписавшие его, отказываются от войны как от орудия политики, действуют в том же направлении, ослабляющем психологическое оправдание войны вообще. При таких условиях, когда возможность финансового давления на Германию со стороны французской группы значительно уменьшилась, давление военное сведено после увода оккупационных войск к нулю. Пропаганда мира, как бы она ни была лицемерна, делает свое дело и приводит наконец к созыву специальной международной конференции по разоружению. Картина такая, что можно подумать, будто бы кто-то со стороны непрерывно угрожает войной, а вся Европа, все ее буржуазные политики лихорадочно заняты деятельностью по укреплению мира.

Этот момент и был выбран немцами для заключения с Австрией проекта создания таможенного союза. Это дело немцы обставили таким образом, что оно выглядит как первый шаг к действительному практическому хозяйственному объединению всей Европы, т.е. представляет собою как бы начало осуществления бриановской идеи соединения всей Европы в единый хозяйственный организм (в интересах конечно не каких-нибудь других, а для укрепления и гарантии мира). Заключение венского соглашения было громом с ясного неба. Оно готовилось весьма конспиративно. Европа была поставлена уже перед фактом соглашения о таможенном союзе. Один этот факт вызвал, в особенности в кругах французской группы, неистовый протест. Со времени заключения венского соглашения по сегодняшний день нет ни одного номера французского официоза «*Le Temps*», где бы не говорилось об этом соглашении. Из всех французских подголосков наиболее рьяную антинемецкую позицию заняла Чехо-Словакия. Конечно главные удары посыпались на Вену. Франция считает, что Вена нарушила женеvский протокол от 1922 года, согласно которого Австрия должна оставаться независимой. Следовательно Австрию обвиняют в том, что она пожелала отказаться от своей независимости. Кроме этого формального обвинения, Германия и Австрия обвиняются в политическом грехе, в том, что будто бы это соглашение есть подготовка к политическому соединению, к созданию из двух государств одного. Англия и Италия в отношении венского проекта занимают более сдержанную позицию, чем Франция и в особенности Чехо-Словакия. Характер всех политических выступлений по вопросу австро-германского соглашения настолько необычен, гнев французов и чехов, настолько силен, что конечно не юридическими и даже не только политическими мотивами он вызван. В самом деле, если нарушен формально протокол 1922 года, то достаточно этот вопрос обсудить в Лиге наций и закончить его либо каким-либо компро-

миссом, либо пересмотром самого протокола. Что касается политического обвинения в попытке создать единое немецкое государство (по-немецки это называется «*аншлюсс*»), то это тоже не могло бы до такой степени накалить атмосферу, ибо как Германия, так и Австрия согласно Версальскому миру давным-давно разоружены, и сколько бы они ни соединялись, они не могут быть в военном отношении сильнее французской группы. Поэтому если бы только аншлюсс угрожал, то с ним легко было справиться путем военного давления на Германию. Причины жестокого озлобления против австро-германского соглашения нужно искать в области хозяйственной.

Основная хозяйственная ненормальность послевоенного времени заключалась в том, что победителями оказались страны в отношении промышленном более отсталые, чем Германия. Даже Англия после войны не может в промышленном отношении стать в единый ряд с Германией, ибо хозяйство Англии в достаточной степени извстало. Германия, несмотря на тяжелое положение, все же восстановила быстрым темпом свою промышленность и через два-три года после Версальского мира снова сделалась первой индустриальной страной в Европе. Помимо этого, внешняя торговля Германии была наиболее широкой. Баланс внешней торговли Германии является более высоким, чем баланс какой-либо другой страны. Впрочем до войны в этом отношении с Германией могла лишь поспорить Англия. Но после войны внешне-торговый баланс Германии вне конкуренции: он самый высокий. Стесненная и лишенная всех колоний германская индустрия только в расширении внешней торговли и могла искать себе выхода. Это основное экономическое противоречие Версальского мира уже само по себе обеспечивает падение Версальского договора. Естественными рынками для германской индустрии являются Советский союз, Балканы и Средняя, Малая и Дальняя Азия. Австро-германское соглашение открывает путь для германской индустрии на Балканы и в Малую Азию. В самом деле, до австро-германского соглашения на пути германских товаров стояли австрийские таможенные преграды. По венскому соглашению они должны быть сняты. Следовательно продукты германской индустрии без всяких таможенных преград могут подойти непосредственно к югославской и венгерской границам. Что касается советского рынка, то он достаточно широко открыт для германских товаров и до австро-германского соглашения, и после него. Это же обстоятельство облегчает проникновение аграрных продуктов Балкан и Венгрии на германский рынок. До австро-германского соглашения в непосредственном соприкосновении с аграрными странами юго-восточной Европы была следующая после Германии индустриальная страна — Чехо-Сло-

вакия. Ее небольших размеров по сравнению с германской индустрия в достаточной степени широко использовала балканский и вообще юго-восточный рынок. Теперь, когда в непосредственное соприкосновение с этим рынком вошла и германская индустрия, чехо-словацкой конкурировать будет трудно. И с другой стороны, аграрные страны, в особенности Югославия и Румыния, с которыми Чехо-Словакия связана политически, ввозили свои аграрные продукты в Чехо-Словакию, теряя высокие таможенные тарифы, которые Чехо-Словакия установила для охраны своего аграрного хозяйства и для искусственного поддержания цен на свои аграрные продукты на достаточно высоком уровне. Теперь эти аграрные страны имеют возможность начать переговоры с австро-немецким рынком для облегчения своей торговли. И, разумеется, Германия, которая не имеет своего большого аграрного хозяйства и не заинтересована в поддержании его, на своем внутреннем рынке допустит продукты аграрных стран на более льготных условиях, чем это делает Чехо-Словакия. Отсюда ясно, что для этих стран теперь открывается возможность нажима на Чехо-Словакию в пользу снижения пошлин. Этим и объясняется, почему Чехо-Словакия так яростно выступает против соглашения: оно задевает ее самые жизненные интересы.

Сказанное выше, но только в более ослабленной степени, применимо к Франции. Но для последней австро-германское соглашение означает еще и потерю австрийского финансового рынка. Довольно слабая индустрия Австрии нуждается для ее поддержания в займах и кредитах. Вена давно уже сделалась пунктом приложения свободных французских и американских капиталов для финансирования торговли с Востоком. В этом смысле Вена была торгово-передаточным финансовым пунктом. Австро-германское соглашение дает возможность австрийской индустрии и австрийскому торговому капиталу переориентироваться на Берлин. Это-то и тревожит Париж.

Однако все вышеприведенные факты не имеют такого значения, как нечто иное, что скрыто в австро-немецком соглашении. Если бы были налицо только вышеперечисленные факты, то против австро-германского соглашения были бы пожалуй только Чехо-Словакия и Франция. Но из прессы видно, что и Англия не одобряет этого соглашения и Италия колеблется. Даже в Америке этого соглашения не приветствовали. Австро-германское соглашение имеет и международное хозяйственное значение весьма большое. Оно опрокидывает совершенно тот принцип наибольшего благоприятствования, который, как было указано выше, являлся базой для большинства торговых соглашений и договоров между государствами. В самом деле, согласно принципа наибольшего благоприятствования, а

Германия имеет такие договоры и с Францией, и с Чехо-Словакией, и с другими государствами, она должна была бы всем этим государствам предоставить право ввоза и вывоза товаров на тех же условиях, какие предоставлены Австрии, т.е. совершенно беспопытно, но Германия этого сделать не может потому, что другие государства согласно того же принципа наибольшего благоприятствования не смогут отвечать ей взаимностью. А если бы они ответили взаимностью, то состоялся бы таможенный союз всех этих государств. Принцип наибольшего благоприятствования свел бы к нулю таможенные тарифы, следовательно, исчез бы и сам. Таким образом австро-германский союз перед всем хозяйством Европы ставит ультиматум: либо всеевропейский таможенный союз, либо полное нарушение принципа наибольшего благоприятствования. Последнее означает, что все договоры, заключающиеся в тебе кляузлу о наибольшем благоприятствовании, должны быть пересмотрены, и нужно будет найти какой-то другой принцип, который бы заменил отпавший. Вот почему все хозяйственные организации, все политические европейские приведены в движение. Австро-германское соглашение по хозяйственной натуре своей всколыхнуло всю сеть сложных и широко разветвленных договоров. Давая себе ясный отчет в международном хозяйственном значении соглашения, немцы в своем проекте обращаются ко всем государствам с призывом присоединиться к таможенному соглашению (Цолльунioniу).

Как бы Бриан ни говорил, что решение экономических вопросов следует подчинить политике, все же экономика определяет собою политические линии. В самом деле, стоило Германии совершить, казалось бы, такой простой шаг, как экономическое, вернее лишь таможенное, соединение с Австрией, как уже вся хозяйственно-договорная система Европы оказывается нарушенной. А раз так, то и политические интересы оказываются затронутыми: Политика Франции заключалась в раз'единении Австрии и Германии и в построении кордона между советским и балканским востоком, с одной стороны, и Германией — с другой. Этой цели служил военно-экономический треугольник: Чехо-Словакия—Румыния—Югославия. Вершины этого треугольника своими остриями направлены в три стороны, из которых каждая считается в Париже враждебной Франции: в Германию — Чехо-Словакия, в СССР — Румыния, в Италию — Югославия. Таким образом три державы, которые могут угрожать Франции, поставлены Францией под угрозу ее военного треугольника — Малой Антанты. Эта организация по причинам, которые указаны выше, теперь получила большую хозяйственную трещину. После австро-германского соглашения говорить о создании единой экономики Малой Антанты, как о том много раз говорил Бенеш,



уже не приходится. Недаром же и в постановлении бухарестской конференции Малой Антанты, несмотря на шумно прокламированное единодушие, нет и слова об экономическом блоке государств Малой Антанты. Трещина в Малой Антанте неизбежно образуется вследствие колоссального противоречия между политическими задачами этой организации и ее хозяйственными нуждами. Политически она — антинемецкая сила, экономически она должна быть связана самым тесным образом с германским рынком, потому что Югославия и Румыния по преимуществу страны аграрного хозяйства. В самом трагическом положении конечно находится Чехо-Словакия, потому что она одновременно и индустриальная, и аграрная страна. В ней мы встречаем редкое, может быть, единственное в Европе сочетание равной силы между аграрным хозяйством и промышленным. Как промышленная она могла бы поглощать аграрные продукты Румынии и Югославии, не ставя им заградительных преград, но как аграрная она этого сделать не может. Это противоречие в различных вариациях встречается на каждом шагу в экономической политике Чехо-Словакии. Аграрии играют роковую роль в политике этой страны. Противоречие между политикой и экономикой заложено во всей послевоенной системе. Когда Бриан проповедует необходимость подчинения экономики политике, он это говорит не случайно. Действительно в Европе такое подчинение имеет место. Наиболее трезвые головы из буржуазного лагеря видят это несоответствие между экономическими нуждами и политическими задачами. Так например в передовой статье консервативной и официозной английской газеты «Темпс» автор передовицы «Большая Европа» говорит: «В то время как экономически мир — поскольку экономические силы не искусственно вызваны — имеет тенденцию к объединению, политически мир наш разделен на части более, чем когда бы то ни было. Каждая нация считает экономику автономной от политики». Передовик ссылается на экономиста Гейнмана, который в своих лекциях заявил, что болезненность современной Европы заключается в противоречии между ее политикой и экономикой. Тот же передовик говорит, что в течение последнего столетия население Европы со 180 миллионов жителей увеличилось до 430 миллионов, в то время как индустриализация Европы росла неравномерно. — Из 26 государств, — говорит он, — едва ли одна дюжина была более или менее индустриализована. Таким образом разделение стран на индустриальные и аграрные должно было бы обеспечить и экономическое взаимодействие. Между тем этого взаимодействия в такой степени, как оно должно было бы быть, нет. Передовик не говорит того, что руководителем аграрных стран стремится стать Франция и противопоставить эти страны Германии. В этом и есть одно из существенных противоречий французской

политики. Если не считать СССР, то аграрные страны обладают населением в 140 миллионов жителей. Эти 140 миллионов заинтересованы сбыть свой продукт. Куда же как не в индустриальные страны могут они его сбыть? Чем индустриальнее страна, тем в большей степени она заинтересована в ввозе аграрных продуктов. Следовательно наибольшим поглотителем этого продукта может быть Германия. Благодаря тем хозяйственным противоречиям, которые указаны выше, не проходит и недели в Европе, чтобы не собиралась какая-либо экономическая конференция. За последнее время в особенности интенсивно обсуждается аграрная проблема. И тут опять Париж играет странную роль. Он не понимает, что нельзя создать блок аграрных государств для установления так называемых преференциальных тарифов без Германии.

Преференциальные тарифы есть такой принцип внешнеэкономических отношений, который направлен к защите аграрного хозяйства Европы против американского ввоза и против советского. Преференциальный тариф означает, что индустриальные страны берут на себя обязательство не приобретать заокеанского и советского хлеба, прежде чем не будут исчерпаны хлебные запасы европейских аграрных стран. За это последние также обязуются предпочитать покупку индустриальных продуктов в тех странах, которые у них берут аграрные, и в размере, соответствующем хлебным закупкам. Такая система между отдельными государствами может быть в известных пределах варьирована, но основа ее заключается именно в этом. Два наиболее активные политика французской группы — Бриан и Венет — сейчас носятся с этой идеей и считают ее спасительной для выхода из экономического кризиса.

Как раз австро-немецкое соглашение намечает практический путь к хозяйственному сотрудничеству государств на основе так называемых районных преференциальных тарифов. Никакая иная страна, лишь Германия, могла бы при известном соглашении со странами юго-восточной Европы осуществить идею преференциальных тарифов. Следовательно опять-таки австро-германское соглашение не противоречит бриановским проектам.

В чем же дело? В том, что австро-германское соглашение действительно делает шаг вперед по пути подлинного хозяйственного сближения между европейскими странами. Но только в этом сближении гегемоном окажется сама Германия как наиболее индустриальная страна. Однако к гегемонии стремится Франция. Она в индустриальном отношении более отстала, чем Германия. Вот почему Бриан кричит и вся его пресса тоже о необходимости подчинить экономику политике. Берлин в борьбе за гегемонию пошел более верным путем: подчинить политику экономике. Тогда силою вещей гегемоном в Европе сделается Германия. Вот источник бешеной ненави-

сти к сегодняшнему Берлину со стороны политиков французской группы. Ненависть тем более сильная, что не так-то легко подчинить экономикой политике. Выше уже говорилось, что экономические интересы Румынии и Югославии толкают ее к Германии. Да даже и в самой Чехо-Словакии почти вся промышленность, которая до сих пор находится в руках немцев, требует присоединения к австро-германскому соглашению. И опять-таки это требование вполне совпадает с экономическими нуждами ЧСР: ведь ее торговля наиболее активна именно с Германией. Противоречия Версальского мира все суровее и суровее дают себя чувствовать. Такие искусственные политические организации, которые являются инструментами французской агрессии, как например Малая Антанта, дают глубокую трещину.

Политически Германия выбрала весьма удобный момент для осуществления таможенной унии с Австрией. Как-раз сейчас вследствие мирового хозяйственного кризиса противоречия между отдельными капиталистическими группами весьма обострились. Основные конфликты: Франция—Италия, Англия — Америка, Чехо-Словакия — Венгрия, Италия — Югославия. Германско-австрийское соглашение используется немецкой прессой как аргумент, доказывающий массам, что Германия делает практические шаги к изживанию кризиса, а не только болтает.

Венское соглашение в то же время дает новые элементы для активизации давнишнего состязания между Францией и Англией. Лондон, как известно, пригласил немцев в Чеккерсе на свидание с Макдональдом. Сначала это свидание было предложено сделать до Женева. Потом, когда оно было перенесено на послеженевский период, французы радовались и считали это своей победой. На самом же деле свидание в Чеккерсе тяжелейшим облаком нависает как угроза над Женевой и связывает руки французам, парализует их каждый шаг. Для европейского общественного мнения ясно, что вопрос будет разрешен практически в Чеккерсе. Возможно даже, что это свидание сделает ненужным и перенесение вопроса в гаагский трибунал. Во всяком случае немцы выбрали самый лучший для себя момент. Сейчас в Европе налицо имеются факторы, ослабляющие французское влияние.

Какой же возможен выход после трех сошествий: женева, в Чеккерсе и возможно в Гааге. Можно предвидеть три пути. Путь первый — Франция вместе с Лондоном и Америкой предложит немцам некоторые компенсации в репарационном вопросе. Компенсации могли бы быть такие: мараторий платежей, изменение плана Юнга в сторону, благоприятную для Германии. Компенсации могли бы идти еще дальше, а именно отказ от восточного Локарно, что означает предоставление немцам свободы в отношении Польского коридора.

Этими компенсациями можно купить компромиссные решения с немцами. Компромисс мог бы заключаться в том, что немцы не отказываются от таможенного соглашения, но принимают однако бриановский план и соответственно ему изменяют первоначальный план таможенного союза, приравливая его к принципу наибольшего благоприятствования, или чтобы по крайней мере он не нарушал его.

Путь второй — Франция и Англия при молчаливом согласии Италии открыто и резко угрожают Германии воздействием на нее силой. Тогда Германия безоговорочно отказывается от плана таможенного соглашения. Экономические взаимоотношения между государствами возвращаются к такому состоянию, какими они были до венского соглашения.

Путь третий — Женева не выносит никакого определенного решения. Дело переносится в Гаагу. Гаага не может вынести единодушного решения, а на свидании в Чеккерсе англичане поддерживают немцев. Тогда Берлин и Вена оказываются победителями.

Если дело разовьется по второму пути, то за Францией останется гегемония в Европе и еще усилятся. Политика будет в высшей степени независимой от экономических тенденций или, вернее говоря, проблемы хозяйственные будут решаться под углом зрения военно-политических нужд. Начало этому положено несомненно недавно состоявшейся конференцией Малой Антанты, на которой были затронуты и военные вопросы и которая вопреки своим хозяйственным интересам выступила под знаком французской борьбы против немецкого соглашения. Франции тем легче будет подчинять решения экономических проблем своим военно-политическим потребностям, что она располагает к тому финансовыми возможностями. Мы видим, что уже теперь она поспешила дать заем Чехо-Словакии в размере 50 миллионов долларов. С министром финансов Франции югославы в Париже под видом переговоров о старом турецком долге на самом деле вели разговоры о займе. Решение экономических вопросов под углом зрения военно-политических надобностей прекрасно усвоил и министр Чехо-Словакии Бенеш. Стоит обратиться к его экспозе и к его ответам по этому поводу, чтобы увидеть, что главное место в его политике занимает сплочение членов Малой Антанты и Польши против того государства, с которым все эти страны связаны теснейшими хозяйственными узами, — против Германии. Все эти тенденции после победы Бриана развились бы с необычайной силой. Само собой разумеется, что Франция не удовлетворилась бы отказом немцев от таможенного соглашения. Она немедленно начала бы контрнаступление, сводящееся к еще большему источению Германии, к еще более настойчивому требованию, чтобы Германия переориентировалась полностью на Запад и заняла бы ярко ан-

тисоветскую линию. Те смутные угрозы, которые иногда слышатся в устах президента Французской республики Думера и в выступлениях Бриана, получили бы более ясную и более конкретную форму, и тогда можно смело считать, что подготовка войны против СССР пошла бы ускоренным темпом. Нужно было бы считать, что кончилась Европа послевоенная и началась Европа предвоенная. От войны ничто не способно удержать Францию: ни экономический кризис, ни неурегулированность отношений с Италией, ни даже глухое, молчаливое, но упорное состязание с Англией. Австро-германское соглашение воочию показало Франции, что Версальский мир себя исчерпал, что сохранять его одними оборонительными средствами уже нельзя, ибо австро-германское соглашение есть первый серьезный шаг немцев против Версальского мира. А Версальский мир для Франции все. Поэтому она так ревностно прислушивается ко всяким слухам и разговорам о возможности ревизии Версальского договора. Этот договор дал Франции то, о чем она никогда раньше не могла и мечтать. Поэтому его надо сохранить во что бы то ни стало. А так как сохранить его оборонительными средствами уже нельзя, то приходится хотя бы во имя сохранения его самой перейти к агрессивности, в наступление. Для Франции (при осуществлении первого пути) наступил бы такой момент, когда все равно так или иначе Версальский мир подвергается риску, тогда наступление неизбежно. Это и будет такой момент, когда Франции придется действовать вопреки положению вещей.

Если осуществится третий путь и победителями останутся немцы с их венским соглашением, это будет означать закат французского влияния в Европе и выступление на арену новой силы — Германии. Эта сила как крупнокапиталистическая несомненно поведет к консолидации капиталистических сил. Собственно говоря, даже и самое австро-германское соглашение, помимо того значения, которое приписано ему выше, имеет еще и другое, а именно: крупные капиталистические объединения Германии при таможенном соглашении имеют возможность поглотить наиболее крупные промышленные центры Австрии и создать таким образом более крупные капиталистические тресты. Аншлюс таможенный с точки зрения внутреннего развития немецкой индустрии означает аншлюс промышленных трестов и синдикатов. А это есть не что иное, как тот процесс монополизации производства, который, как указывал Ленин в своей книге об империализме, является характерным для последнего периода капитализма. Эта же крупно-промышленная монополизация, к которой как-раз наиболее склонна германская промышленность, несомненно ляжет тяжелым бременем на среднего и мелкого буржуа Германии и Австрии. Этот процесс

укрупнения капиталистических трестов, процесс монополизации не может не повлиять на все европейское капиталистическое хозяйство в сторону его еще большей консолидации. Централизация и дальнейшая монополизация производства с неизбежностью законов природы увеличивают пропасть между рабочим классом и капиталистами, увеличивают с невероятной силой эксплуатацию рабочего класса. Капитализм принимает наиболее обнаженные, наиболее тягостные для общества формы.

О первом пути мы говорить не будем. Поскольку он является путем компромисса, конкретное направление его сейчас не может быть прощупано с точностью.

Есть впрочем еще и четвертый путь, но он скорее теоретический, чем практический, а именно: несмотря на угрозу со стороны Франции, может быть, вопреки ее ультиматуму, Германия останется твердо на своей позиции. Тогда война явится совершенно неизбежной, а предисловием к ней будет попытка экономической блокады Германии. Но этот путь кажется нам мало вероятным. Наиболее вероятным представляется нам путь первый, компромиссный. Каковы бы ни были его конкретные формы, можно заранее сказать, что в общем положение в Европе останется таким же, каким оно было до австро-германского соглашения. То же самое будет и соотношение сил между различными государствами Европы. Следовательно, и наша международная политика должна направляться по тем же линиям, по каким она направлялась до сих пор.

При втором пути, т.е. при победе Франции, СССР несомненно должен будет активизировать свою политику в Европе. Помимо разоблачений истинных целей французского капитализма, СССР будет перед задачей практически мешать этой политике. Уже теперь авторы французских газетных статей чрезвычайно часто пишут о большевистском империализме. Мысли их часто вращаются вокруг вопросов Красной армии, вообще военной опасности и проч. Если раньше на такие темы писали по преимуществу молодцы из «Аксенн франсез», то теперь пишет радикал Дальбес. Сам Бриан принял совершенно откровенную антисоветскую позицию и блестяще доказал ее, когда ухитрился извратить постановление СССР на пан-европейское совещание в Женеву. Стремление того же Бриана объединить аграрные страны, ввести преференциальные тарифы, все эти, казалось бы, мирные экономические предприятия и проекты на самом деле заключают в себе цюху скрытое антисоветское жало. Углы всех этих вопросов заостряются непременно против СССР.

Вместе с тем мы должны чрезвычайно внимательно отнестись и к возможности немецкой победы, которая, как мы пытались показать выше, не сулит нам ничего доброго. наоборот, означает усиление капита-

лизма. Вместе с этим усилением совершенно неизбежна политическая переориентировка Германии. Тут мы должны будем учесть возможность такого положения, когда Германия будет не в орбите французской политики, но самостоятельно займет антисоветскую линию. Корни ее антисоветизма будут несколько отличны от французского. Как наша соседка и как работающая весьма широко на нашем рынке германская индустрия с наибольшей опаской, чем какая-либо другая, будет поглядывать на развитие нашей пятилетки. Она как самая развитая индустрия прежде всего будет предусматривать возможность конкуренции между социалистической и капиталистической системами. Ее критика, ее атаки против нашей пятилетки несомненно будут более энергичными и сильными, чем теперь. Достаточно просмотреть корреспонденции о нас в «Фоссише цейтунг» или в венских газетах Бассехиса, чтобы предвидеть, какую кампанию может развить германская индустрия, усилившись

в форме германо-австрийских трестов и сделавшись более или менее независимой от французского влияния. Эта возможность нами должна быть реально учитываема. Само собой разумеется, что никакое австро-германское соглашение неспособно в какой бы то ни было форме даже ослабить кризис, но тем тяжелее будет для общества хозяйничание монополизированного крупнопромышленного капитала. При победе немцев, при осуществлении австро-немецкой таможенной и промышленной унии в условиях все более обостряющегося кризиса общество придет к решительному столкновению труда с капиталом более быстрыми шагами, чем это было бы при компромиссе. Во всяком случае мы должны считаться с тем, что Европа послевоенная окончательно сошла со сцены и что мы присутствуем при приближении развязки борьбы двух экономических и политических систем — социализма и капитализма.

## Книжное обозрение

1. ГЕННАДИЙ ФИШ „Дело за мной“. И. Поступальского.—2. Л. ОСТРОУМОВ „Фабрика разговоров“. Т. Николаевой.—3. Д. ОСЬКИИ „Записки прапорщика“. Б. Акибала.—4. Вл. ЛИДИН „Путина“. Д. Фибиха.—5. П. ОЙУНСКИЙ „Красный шаман“. А. Смирнова-Кутачевского.—6. В. Г. КОРОЛЕНКО—Письма к П. С. Ивановской. Н. Приишников.

Геннадий Фиш.—«Дело за мной». Стихи ЛАПП. ГИХЛ. М.—Л. 1931. Стр. 72. Ц. в пер. 1 р. 15 к.

Чтобы преодолеть свой «средний» поэтический голос, Г. Фишу необходимо решиться на какой-то активный творческий акт, под углом классового мировоззрения критически усвоить и индивидуально использовать достижения самых передовых пролетарских и попутнических, а также и некоторых буржуазных (урбанистических) поэтов. Покамест эти решительные шаги Г. Фишем не сделаны, и от иных его стихотворений впечатление получается все еще двойственное. Однако же и при медленности своих «темпов» Г. Фиш в третьем сборнике пробился к основному. «Разведка», по существу, была книгой попутнической. В «Контрольных цифрах» мелкобуржуазные влияния были видны вочию. «Дело за мной» определяет Г. Фиша, как поэта, уже обладающего отдельными отличительными признаками поэта реконструктивного периода.

Подобная формулировка не означает, что «Дело за мной»—книга произведений, пролетарских от строки до строки. Нельзя, скажем, считать естественными для пролетпоэта «Стихи, о кровле» при всей их внешней «рабочести». Восхвалять свою кровлю, свое «сухое место» и со стороны «благодарить» запальщиков, забойщиков, литухов и т. д., это — отчетливо мешанское понимание взаимоотношений пролетарской интеллигенции и производственниками. Не так уж выдержанно и заключительное стихотворение «Революции», где преобладает прославление дисциплины, призываемой поэтом извне, в форме только «приказа». Но эти срывы не характерны для сборника. Г. Фиш достиг классовой обоснованности в ряде вещей не декларативных. «На уральских заводах для прогульщиков и лодырей существуют особые кассы» — и

отсюда например вырастают органические стихи («Касса»). Вступительное «Дело за мной», «Вношу предложение», «Религиозный разговор», «В Нижнем», «Встреча» и некоторые другие стихотворения также знаменуют достижение поэтом равновесия. Ориентируясь на поэзию производственную, некоторые стихи Г. Фиша имеют прямое отношение к лозунгу об усвоении поэтами и писателями техники. В отдельных случаях пределы даже расширены. «Коробка скоростей» (звено строящегося автозавода) приводит к аналогии с Кювье («Кювье взял кость, по ней построил скелет и мир восстановил.. я вместо допотопной кости беру коробку скоростей»); местами интересно и прочно закреплены в слове процессы металлургического производства. А в «Бурении» дан уже просто хороший образец современной углубленной поэзии.

...Порою и стихотворенье  
В тиши алмазное буренье.  
Сквозь толщу встреченных пород  
Оно ведет  
Свой ход  
вперед.

Поэт,  
безумствуй и пиши.  
В работе бейся год от года;  
Стих в скажинах другой души  
Откроет  
и разворошит  
Золотоносные породы.

Из путевых (скорее «этнографических», чем «географических») записей поэта о Урале или Севере отметим как свежее стихотворение «Праздник в Башкирии».

«В ежедневной и будничной тряске проверяю себя каждый час, как работаю я на участке, где работу дает мне мой класс. Результаты этого самоконтроля сказываются. Но такая проверка должна быть всесторонней. «Бурение» показало, что Г. Фиш способен строить стихотворения устойчивые (хотя и здесь неловкость: почему непременно нужно «безумствовать?»). Тем неизвинительнее в небольшом сборни-

ке, где каждое слово должно быть взвешено, явная недоработанность кое-каких стихотворений и стихов. Есть неуклюжие фразы («в цехах подымается звон, чтоб каждой профессии был чемпион... чтоб шли разговоры и прення жарки о качестве песни, о качестве сварки»), фонетически скверные строки, старенькие рифмочки (вплоть до курьеза — «век-навек»), эпигонские метрические штампы, сомнительные метафоры («дождям предписано дождить в осеннем пире»)... Внимательной надо «проверить себя».

*И. Поступальский.*

**Лев Остроумов. — «Фабрика разговоров».** Роман. Изд. «Федерация». 1931 г. Стр. 250. Ц. 1 р. 50 к.

Фабрика разговоров — это телефонная станция. Впервые в советской литературе революционный 1917 год пропущен сквозь строй штепселей, соединительных шнуров и телефонных «барышень». Тема звучит ново, заинтересовывает читателя. Но взял этот незатронутый писателями участок, Остроумов обрек себя на ряд больших трудностей, преодолеть которых ему не удалось. Что представляют собой обитательницы телефонной станции дореволюционного периода? В основном это была инертная женская масса с мешанскими предрасудками, стремлением к своему маленькому «женскому» счастью. Не случайно наклеивает на них автор ярлычки «болонок» и «курочек».

Но вот в этот мирок врывается 1917-й, который должен был внести в заглухлую атмосферу телефонной станции свежую струю революции. Как изображает это Лев Остроумов?

Ответ на стр. 123: «зала рыдала, визжала, дико хохотала, корчилась в судорогах... В зале бушевала неистовая стихия женского надрывного плача, воплей, стонов, топота каблучков». Это — революция, забастовка! Остроумов однако совершил крупную ошибку. Колоритно подав «фабрику разговоров» во всеоружии ее технических средств и особенностей, писатель не сумел использовать ее социального своеобразия, не сумел сознательно дифференцировать служащую массу станции, скрыв ее потенциальную революционную силу.

На авансцену почему-то выдвинута телефонистка Настенька со всеми особенностями ее мешанской идеологии, подсahаренной фантастической пошленьких мечтаний. Но «курочка» Настенька — цель слишком мелкая. На такую «дичь» не стоило бы тратить внимания. Автор между тем чувствует ответственность за 1917 год. Он пытается создать вокруг телефонной станции небольшое окружение, заполненное событиями революционного года (разложение белых войск, их отступление, победа красных). Бегло и довольно слабо показана деятельность большевиков, более сильно — разложение в стане белых. Но Остроумов не ограничивается показом победного прихода большевиков. Он приделывает к своему ро-

ману еще одну концовку: дает схематический профиль телефонной станции в период социализации и ударничества. Основываясь на авторской характеристике, приходишь к выводу, что армия «курочек» не могла превратиться в армию ударниц. Концовка оказывается фальшивой, надуманной, органически не связанной с романом.

Несколько слов о языковом оформлении романа. С одной стороны, автор создает хорошие образы, с другой стороны, он пользуется пошлейшей фразеологией и эффектами дешевого романтизма. «Нежные руки, завороченные чарами Октября... На седых вершинах Кавказа — переплеск кипящих потоков, стозвонные струны женских голосов. Не легендарные ли горные девы прорисуют здесь будущее... Мицкун в блестящих кожаной куртки, словно в кольчуге из красной меди, сказочным витязем стоял на тумбе»...

Это позерство, сюсюканье, ставка на дешевую эстетику, беззащитное пользование насквозь прогнившим лексиконом бульварщины — совершенно нетерпимы в литературе.

*Г. Николаева.*

**Д. Оськин — «Записки прапорщика».** Изд. «Федерация». М. 1931. Стр. 350. Ц. 2 р. Черепл. 25 к.

В 1929 году, в том же издательстве Оськин выпустил «Записки солдата». Герой их — рядовой Оленин, рассказывающий о своей жизни в царской казарме и на фронте.

Новая книга Оськина, являясь продолжением предыдущей, описывает, также от первого лица, пребывание Оленина на Юго-Западном и Румынском фронтах с начала 1916 до начала 1918 года. Оленин уже больше не солдат, а прапорщик, произведенный в этот чин за боевые заслуги.

Июньское наступление, тарнопольский прорыв, братание, организация полковых комитетов, о ношении солдат и офицества к революции, создание и работа исполкома совета крестьянских депутатов Румынского фронта, — вот те вехи, по которым движется повествование.

Описывается в нем и всероссийский крестьянский съезд (май 1917), на который Оленин был делегирован 3-й дивизией, и выступление на съезде Ленина. Это довольно вялое описание интересно тем, как встречали, слушали и провожали массы Ленина, уже тогда чувствовавшие в нем своего настоящего вождя. На том же съезде выступал и Вандервельде, выступление которого в конце-концов кончилось большим конфузом и для него, и для председателя съезда с.р. Авксентьева. «Одно ясно, — сказал кто-то из делегатов, — что и Авксентьев, и Вандервельде — одинаковые сволочи» (стр. 151).

В «Записках» дан целый ряд беглых портретов: Керенского — на фронте перед наступлением и на «демократическом совещании», Крыленко — на полковом митинге

Чернова — на крестьянском съезде, Спиридоновой и Свердлова — в Смольном.

В книге немало характерных для той эпохи фактов, например рассказ о том, как матрос с «Авроры» — Климов, получив от Ленина мандат, один разогнал кишиневский эсеровский совет, выпустил из тюрьмы большевиков и установил в Кишиневе советскую власть (!).

Сам Оленин показан еще колеблющимся беспартийным. Он всецело на стороне солдат и пользуется у них большим доверием, тяготеет к левым эсерам, но в конце-концов приходит к большевикам, неожиданно получает рекомендацию Свердлова и направляется Кагановичем в провинцию в качестве организатора Красной армии в Тульской и Кадужской губерниях.

То, о чем пишет Оськин, в основном уже известно по той литературе, которая накопилась в течение четырнадцати лет после Февральской революции. Относительная ценность его книги в том, что она является записками очевидца и участника описываемых событий, хранящего в своей памяти некоторые, не лишённые интереса факты.

Книга слишком растянута. Автор стремится к тому, чтобы перенести на бумагу все, что сохранила его память. Между тем из сырого и обильного материала надо было отобрать только наиболее яркое и характерное.

*Борис Аңбал*

**Вл. Лидин.** — «Путина». Очерки. Изд. «Федерация». (Библиока «Социалистического строительства»). 1930. Стр. 79. Ц. 60 к.

Очерки об астраханских промыслах, о море, рыбаках, серебряном рыбном изобилии.

Романтика лова, ночных рыбацких баркасов — конечно вещь соблазнительная, но автор ею не увлекся, отдал только должное и главный упор сделал на том новом, чем отличается наш социалистический поход за рыбой от прежнего купеческого улова.

Путина — прежде всего строго организованная, тщательно продуманная, почти военная операция. «Здесь на промыслах напоминало многое мне знакомые видения фронта. Хлебопекарни, снабжение, приказы и донесения — и глухое готовящееся наступление, для преодоления которого нужны базы снабжения, и люди, люди...»

Полчищами, миллионными косяками идет рыба метать икру. Против нее брошены баркасы, сети, тысячи рыбаков и рабочих. Страда, поход, фронт... «Я слушал эти ночные разговоры и думал, когда, в какую пору общее дело стало личным делом людей, когда общий труд и общее устремление так поглощали людей с их именами, семьями, привычками и склонностями одиночек?..»

..Это не только поход за пищей для Советской страны, это одновременно пере-

устройство жизни и быта по-новому, ломка веков купеческой наживы и самодурства, иная, социалистическая культура, бросаемая в подлунные дебри.

Клубы, радио, читальни в рыбацких поселках. Механизация промыслов. Вчерашние работницы-резалки, ставшие ныне студентками-ихтиологичками, изучающими неисчислимые рыбные богатства Каспия. Калмыки, пришедшие «о ковыльных кочевой Тамерлана», теперь — в комсомоле, читающие «беседы по рыбному хозяйству», организующие в калмыцких рабочих казармах красные уголки. Таково живое содержание книги В. Лидина.

*Д. Фибил.*

**П. А. Ойунский.** — «Красный шаман» (Кысыл Ойун). В четырех действиях с прологом. Перевод с якутского, Акционерное издательство «Якутгосиздат». Стр. 55. Ц. 75 к.

Вместе с Октябрем, с самоопределением наций, мощным экономическим и культурным подъемом народностей Союза идет литературная волна. Мы видим повсеместное оживление и успехи нацлитератур, в том числе и народов, можно сказать, впервые выступающих публично со своим творчеством. «Кысыл Ойун» — произведение популярного якутского местного поэта Ойунского. О творческом мире якутов русский читатель знает по богатому сборнику Худякова — «Верхоянский сборник» и по этнографическим описаниям Серошевского. Судя по ним, нельзя было согласиться с распространенным приговором, что «Якутия — страна только заживо погребенных». «Кысыл Ойун» надо приветствовать как интересный опыт местного современного творчества. Произведение — нечто в роде драматической поэмы в стихах. В центре шаман, Кысыл Ойун. В прологе дана как бы его исповедь. Он — защитник угнетенных, враг эксплуататоров. «Густь всех трясуций мой напев восстанет призраком свободы, лучистым, бурным, как гроза, и у рабочего народа пусть вспыхнут пламенем глаза»... В первых сценах показаны его боевое выступление, заклятье против людей «среднего мира», против Орас-бая. Этот Орас-бай хочет отдать дочь за князя небесного Орулоса (в жертву). К этому подговаривает его другой шаман. Свадебный пир. Патетические призывы, заклятья. Гром и огонь. Падает бубен Кысыл Ойуна. Свадьба расстраивается. А в конце шаман объявляет себя безбожником, сжигает бубен, чучело орла и др. атрибуты шаманства. Сюжет таким образом очень смутный, нераскрытый, немотивированный. Основная идея автора — упразднение шаманства, антирелигиозная. Но фактически как-раз обратное: шаманское окружение, настроение, образы господствуют. Живут и действуют духи, заканчивает все дух огня Хатан Тимеиря, все насыщено экстазом. Автор, не смотря на усилия, не преодолел якутской

веры. Мы видим лишь подновленное шаманство, одетое в советский костюм «красного шамана». Попытки показать отдельных их представителей, как идеологов пролетариата, защитников бедноты сказались и здесь, и в этом — слабая и опасная сторона произведения, особенно в местных условиях. Ойунскому нужно бороться с этим мелкобуржуазным национализмом.

В предисловии автор пытается освободиться от упреков в мистицизме, уже не раз им слышанных, и даже полемизирует с критиками. Здесь мы видим расхождение идеи и образов произведения, и вовсе для преодоления этого нет нужды отказываться от изучения и использования народной мифологии, фольклора, о чем подчеркнуто резко говорит автор. Поэма написана стихами. Стихотворный склад перевода дан в большинстве удовлетворительно. Думается, перевод лучше бы сделать белыми стихами: стилистическая манера автора сохранилась бы тогда в более естественном виде.

*А. Смирнов-Кутаческий.*

### **В. Г. Короленко. Письма к П. С. Ивановской.**

Предисловие П. С. Ивальной. Редакция и примечания А. Б. Дермапа. Изд-во политкаторжан. М. 1930. Стр. 280. Цепя 2 р.

Адресант писем — свояченица Короленка и известная пародовка, проведшая большую часть своей жизни в каторге, в ссылке, в бегах, под надзором. Письма писались к нелегальному лицу, и неудивительно, что в них гораздо больше умолчан, чем высказываний.

Все же в письмах рассеяно немало метких признаний и ценных сообщений писателя о самом себе, которые, будучи собраны в один фокус, придадут рецензируемой публикации значение довольно выпуклой автохарактеристики.

Очень многие черты облика Короленка, как они зафиксированы в переписке, выгодно выделяют человеческо-писательскую личность Короленка на фоне прошлого и как бы выносят его фигуру в полосу «наибольшего благоприствования» со стороны современности.

«Я не принадлежу к числу людей, склонных брюзжать на жизнь» — пишет он в 1890 г. «Я не осуждаю нынешнее поколение, как это делают теперь очень многие» — пишет он в том же письме по поводу начинавшейся тогда борьбы народников - «отцов» и марксистов - «детей». «Плохой» народник, он признается в 1898 году: «У меня (очень давно) нет преклонения перед «народной мудростью», того цельного представления о «народе» единого и цельного, которое было в 70-х годах

и которое даже в диких и темных народных глупостях хотело видеть проявления чего-то глубокого и нам непонятного». В том же году, сообщая своему другу об успехах марксизма среди молодежи, Короленко заявляет, что он «лично далеко не безусловный враг этого направления» и с большой для того времени проникательностью различает два марксизма: «...мне кажется, что у марксизма есть две стороны: одна, которой суждено распусться лишь в будущем, а пока остается в виде незначительной, скорее символической струйки... Другая, более широкая, несет с собой примирение с господствующим в действительности течением, и очень многие прежде всего усваивают защиту капитализма». Автор письма не употребляет терминов «революционный» и «нелегальный» марксизм, но по сути дела он говорит именно об этих разновидностях марксизма, и вторая из них охарактеризована так, что симпатии информатора были очевидно не на ее стороне.

Что касается народничества, то характерно, что в 1916 г. Короленко прямо называет время своей молодости «периодом еще идеалистической революции» (стр. 203).

Короленко был все-таки реалист, в нем было слишком достаточно здравого смысла и чувства действительности, чтобы оставаться в длительном плену каких-либо утопий и иллюзий.

Очень любопытны высказывания Короленка о войне 1914—18 гг., которую он называет «печальной, ужасной и преступной необходимостью». «От этой войны, — пишет он в 1915 г. из Франции, где его застали события, — порой начинаешь получать отвращение к человеку. Некоторые известия ушибают, как обухом. Тон французской прессы отвратителен, — куда хуже нашей. Здесь «серьезные» газеты пишут порой (и даже часто), как наши «Земщины»... И чем и когда это кончится?»

Отечественные социал-патриоты противны ему не менее французских: «Кстати, попадается ли Вам «День» со статьями Ропшина? Мне здесь попадались выдержки. Совестно читать, — так это фальшиво и неискренно...» (135).

К Февральскому перевороту Короленко отнесся очень сдержанно и вдумчиво: «Вообще — падение изумительное, — даже без особого шума. А вот — обойдется ли без шума и дальше, — это вопрос» (254). Вообще нужно сказать, что по трезвой ясности мысли, по отсутствию многих либерально-народнических предрассудков Короленко больше, чем кто-либо другой из его лагеря, был способен к принятию Октября. Этого принятия однако, как известно, не произошло.

*Н. Прянишник в.*

**Г. И. Крумин.**

**А. В. Луначарский.**

**А. Г. Малышкин.**